

A close-up portrait of a man with a grey beard and glasses, wearing a dark jacket over a white t-shirt. The background is a solid orange color.

ЗИНОВИЙ САГАЛОВ

Тамбурмажор

КНИГА ПРОЗЫ

ЗИНОВИЙ Сагалов

тамбурмажор

книга прозы



ImWerdenVerlag
München 2014

УДК 821.161.1

С 13

Сагалов З. В. Тамбурмажор. Книга прозы. Мюнхен.
ImWerdenVerlag. 2014

Зиновий Сагалов — член Союза писателей Украины и России и Международной федерации русских писателей. Автор более 20 пьес, поставленных и идущих в театрах России, Украины, Израиля, Германии.

В предлагаемой читателю книге собрана проза писателя — роман, две повести и рассказы, написанные в последние годы.

© Сагалов З. В. (текст), 2014

© Тафель З. М. (худ. оформление), 2014

© ImWerden, 2014

<http://imwerden.de>

ISBN 978-1-304-95530-2

Пертурбация

1.

Часто, прокинувшись посреди безмолвия душной ночи, Нафталий Петрович оглядывал мысленным растревоженным оком хилые внутренности собственного организма. Прислушивался к ним.

Вспугнутое сердчишко билось вроде бы ровно, но он-то, не обманешь, чувствовал, что сбоит. Нестарое ведь еще, а вот, поди же ты, изнашивалось, как подошва об асфальт. Нет того удалого чечеточного ритмеца, отпущенного ему природой в забывчивой молодости. А ведь стучал тогда моторчик, как навеки заведенный господней рукой. И марш-бросок на 20 км был ему нипочем, и эстафета 4x100, и шутки с гирями в общаге. Конь с яйцами, короче.

К Нафталию и кликуху такую прилепили, еще со студенчества, насчет коня. Но в присутствии девчачьих соромливых ушек смягчали, обзывали по крайности только «жеребцом». С многозначительным умолчанием.

Так было... А сейчас, извините. Лежит, в потолок уставясь, негожие потные мысли, как в поганой кинухе, кадр за кадром напозают друг на дружку. Сперва вроде все спокойненько, сознание еще меж сном и явью мутит. А как придет пробуждение, вмиг к горлу ком подступит, навалится тяжким весом на хриплую грудку, придушит — и вот-вот кончишься за секунду. Как скажут потом на лавочке у подъезда всеведующие платочки-косыночки, «легкой смертью отошел, царствие ему небесное, во сне, не мучавшись».

А он не во сне вовсе, поймите, в полном сознании своих умственных сил, хоть не кричит, не зовет на помощь. Ибо крикнуть не можешь в сей момент, не выпихнешь жалобный

воплъ этот из нутра. И не надо, к лучшему даже эта немота. В эту роковую минуту замри, Нафталий, не трепыхай, не шелохни судьбу. Чтоб мимо идущая, с косою которая, не приглядела бы тебя. Сама по себе тягость эта откатиться должна — тогда вот и раздышаться можно помаленьку.

Но беспокойный рассветный час не уходит, нет. За сердцем и другие органы тоже на поверку торопятся. А там кругом беспокой — то поджелудка под дых дернет, то кишкворот в брюхе замутит, то кольнет пронзительно, то хряснет где-то. Одним словом, возраст, никуда не денешься, *глобальная пертурбация*, как выражается сосед по этажу, ученый мужик и друг первейший Борис Борисович Медовой.

Ни Верка, жена Нафталия Петровича, ни дочка-распутница, ни внучок Игорь, безобразник окаянный, его внутреннего чрезвычайного состояния понять не могли. И даже, если правду признать, не хотели. Отмахивались от него, как от докучливой мусорной мухи. Он им как людям близким — про судороги, скажем, в правом коленном суставе: мол, что делать, кому показаться, а они? Верка цитатой бахнет из Вольтера там или Бодлера, ученая ведь, стерва. Про мнительность изречение наведет, которая всем якобы болезням причина. Доча тут же к мамкиной университетской премудрости и свою едкую щепотку пакости подбросит: «Сходи-ка ты, папик, кефирчику купи и воздухом заодно подышишь, тебе край как полезно». А у самой полная глотка вони табачной, аж из глаз намазюканных прет. Палит, гадюка, не только свое здоровье, бог с ним, но и алименты, и пенсию родительскую на дым переводит.

Потопчется Нафталий Петрович в таком враждебном окружении, хлебнет остывшего чайку с лечебной ромашковой заваркой, плюнет мысленно на домочадцев своих — и к другу. А он тут, рядышком, на той же лестничной площадке. Единственный, кто душу Нафталия Петровича не только понимать понимает, а и облегчить может — Б. Б. Медовой.

— Мы с тобой, Борисович, не только дверь в дверь проживаем, но и душа в душу, — неизменно говаривал Нафталий Петрович, с улыбочкой проваливаясь в гостевое глубокое кре-

сло с кручеными крендельными подлокотниками. — Ведь перст судьбы, не иначе.

При сих словах он мечтательно возводил очи, как бы вступительно к долгой и обстоятельной беседе. И в ту самую минуту действительно виделся ему в замысловатом альфрейном убранстве потолка властный золоченый перст. Коим угрозило помотал в нужную минуту Господь перед самым зампредом Фрунзенского райисполкома. И тот, склонив свою некротимую и неподкупную лысину, тут же выписал ордерки на квартиры 123 и 124 Борису Борисовичу и Нафталию Петровичу. Вроде бы просто игра случая — соседями оказаться. А на самом деле — судьба.

Роднее Борисовича не было на свете человеческой души. Каждодневно, неторопливыми и нескончаемыми часами, журчал не пересыхая негромкий ручеек их незамутненных бесед. Иногда почти замирал, лениво выбравшись на ясную солнечную отмель; едва даже не пересыхал вовсе. Но, бывало, как сорвется в стремнину тихая дотоле беседа — будто вздыбит белогривый кипень над плавным потоком, напрягутся голоса, засверкают помолодевшие очи — не ссора, помилуй Бог, а просто задело, значит, за живое, воспламенило чистые души обоих друзей, помышляющих только об одном — добраться до истины, как бы глубоко она не залегала.

Случалось, среди дня, отяжелев немолодыми уже мозгами от споров — разговоров, заумствовавшись друг с другом, они тут же весело и легко трапезничали. Борисович хлебосольно застилал журнальный столик старинной дамастовой скатертью благородного слоновой кости отлива. Штуковину эту немецкой ткаческой работы привез в сорок пятом, со всеми прочими трофейными изытиями из побежденной страны Германии, его отец, гвардии сержант Борис Гаврилович Медовой. В узорчатых переливах скатерти явственно проглядывалось затейливое переплетение золотых шелковых букв *B* и *R* незнакомого готического начертания. Первую Борисовичу хотелось трактовать не иначе как «барон», и Нафталий Петрович соглашался с ним. Тогда вторая, по идее, обозначала некую того барона неизвестную немецкую фамилию. Может быть,

Ромберг. Или, скажем, Редель. «Врать не буду, знать не знаю, но то, что отец изъял контрибуцию эту из замка на скале, это как дважды два».

С загадочным вензелем обычное угощение выглядывало как светский раут в возвышенном альпийском замке. Борисович приносил из кухни десертные тарелочки с изображенными на них осенними листьями, искусно перемежая их на даматовом столе с треугольничками цветных салфеток и нержавеющей ножей и вилок. Иногда для пущего торжества, чтоб закурило в одинарке ароматом воска, зажигались свечи.

На кухню Борисович никогда не звал, ибо терпеть не мог кушать поспехом, в кухонной угарной тесноте. Совестливый и непритязательный Нафталий Петрович всегда испытывал крайнюю неловкость от вынужденной безучастности своей и от сознания, что друг старается ради него.

Каждый раз, при появлении Борисовича из кухонной двери, Нафталий Петрович неловко вскакивал с кресла, ахал, всплескивал в ладоши, пытался схватить хоть блюдо, хоть стакан, чтобы чем-то да помочь хозяину и поучаствовать в приготовлении застолья. И дружески, но от искренности сердца корил Борисовича за обилие выставяемой еды, а также за столь помпезные ради него одного церемонии.

— Да мы бы в кухне, по-скоренькому... А ты, право, вон как разогнался...

— Спасибочки! С горшками и сковородками? — почти криком взвизывался со всей искренней принципиальностью Борисович. — А сбоку еще ведерко поставим со вчерашней гнилью? Да? И как ты можешь такое предлагать? Ни с тобой, учти, ни в одиночестве я в кухне не едок! Жрачка там, Нафталий. Унижение человеческого духа. Дальше только корыто с помоями на пять поросячьих рыл!

Такая непонятливость между соседями возникала, правда, лишь в ознакомительном начале их дружбы. После трех-четырёх трапез на даматовой скатерти Нафталий Петрович стал на самом деле ощущать особую прелесть ломтика обычного сыра, наколотого им на сервизной с багряными листиками тарелочке, или лесную свежесть земляничного варенья, ко-

торое он доставал затейливой керамической ложкой из гжелевой розетки и намазывал неспеша на булочку с маслом.

Как не вспомнить было при этом домашнее веркино едово-самоедово. На краешке облупленной клеенки, кухонный стол с выпирающей тумбой — колени поставить некуда, тут шкворчит, там шипит, в супе непременно волосина — ее, а чья же, хорошо если одна, котлеты подгорели, ничего страшного, ножом обчисти, а то ты не знаешь, где горчица, ах, дым ему, видите ли, мешает, подумаешь, цаца великая, форточку не смей открывать, у меня горло, а завтра лекция, да, да, лекция, кому-то же надо бабки вымолачивать, если мужика в доме нет.

Особенно лютовать стала *Доцентша*, как про себя обзывал ее Нафталий Петрович, с того дня, когда он, заранее робея и вжав повинную голову в плечи, объявил, что ради оздоровления своего болезненного организма вынужден перейти на вегетарианский режим питания.

Верка просто застыла, онемев. Щеки ее беззвучно раздувались и опадали, как у злющей голодной жабы, нацелившей на комара липкий стреляющий язык. Нафталий Петрович, не будь промах, тут же воспользовался столбняковым затишьем супруги. И быстро-быстро, по-пулеметному, стал тарыхтеть премудрыми медицинскими словечками, фамилиями прославленных профессоров, которые единодушно-де предписывают ему исключить из рациона мясное и перейти на молочно-растительную диету. Как можно скорее. Даже сегодня, сию вот минуту. Дабы спасти тем самым себя от скорой и неминуемой гибели и не оставить внезапно свою дорогую семью без мужа, отца и дедушки.

И тут веркин жабий рот, растянувшись до невозможности, распахнулся и выпустил из себя жуткое не то рыдание, не то рычание, а потом стал с собачьим бешенством лаять короткими воплями. Да, да, лай был собачий, уверял потом друга Нафталий Петрович, а рот оставался жабым, и слова, вырываясь из него, были обильно смочены желчной ядовитой слюной. Они плюхались об Нафталия Петровича мокрыми смачными плевками. И в них он был и паразитом, и вегетариан-

цем-засранцем, и божьим одуванчиком липовым, и графом Толстым говняным, и козлом недорезанным, и торбу с овсом ему на голову напялить бы, и валяй в конюшню — там тебе место, и найди чокнутую, чтоб тебе рисовые котлетки парить, и пасись на лужайке с крупным рогатым, и кушать не проси, и репу соси, и тля, мля, бля...

Такой вот был нескончаемый лай, после чего *Доцентша*, устав раздуваться гневом и выпустив пар, уместилась под зеленый абажур настольной лампы, называемой в доме *академической*, и стала продолжать вести умственную, начатую с утра работу: «Сын своего времени, Шарль Бодлер, — писала она стройными упрямыми буквами, — был преисполнен разочарования и равнодушия к идеям прогресса и относился скептически к окружающей среде...»

А Нафталий Петрович сварил себе в алюминиевой кастрюльке с обгоревшей пластмассовой ручкой овсяную кашку из хлопьев «Геркулес» и, выставив вбок острые коленки, поел ее тут же на кухонной тумбе с большим от отчаяния аппетитом и сознанием отсроченной хоть на мгновение смерти.

Доцентше с этого дня было на него наплевать.

2.

Справедливости ради, следует все же сказать, что никто из медиков, к которым ввиду частых недомоганий обращался Нафталий Петрович, к вегетарианскому образу жизни его не призывал. Ни в районной поликлинике бесплатно, ни за доллары в лечебном центре «Гиппократ». Не было вообще разговора о том, чтобы дальнейшую жизнь ему продолжать без мяса.

Выходит, что честнейший на земле человек Нафталий Петрович наврал своей жене, да как же такое могло случиться? Но не следует торопиться с этими поспешными выводами. Все дело было в том, что не мог он открыть насмешливому и остроязвительному уму своей супруги подлинную причину, побудившую его к столь неожиданному и решительному

шагу. Ибо, как хотите, но выглядела та причина бесовски неправдоподобно.

А дело обстояло так. Накануне того ультимативного заявления случилось Нафталию Петровичу побывать на дальнем Соловецком рынке.

Не любил он, знаете, не уважал базарной крикливой толкотни, плевков с матом и непременной грязищи. И поехал туда лишь по принуждению, с исключительной надобностью купить, как то предписала *Доцентша*, голубой масляной краски для штакетника на садовом участке. И надо же — бродя, призадумался об отвлеченных предметах, не связанных, как назло, с покраской штакетника. И беспомощно заблудился в bestолковой бесчисленности торговых рядов. Тык туда, тык сюда, свернул не за тем, пожалуй, ларьком что надо и вышел вдруг к неожиданной реке. Никогда вроде бы он тут не бывал да и не знал, кстати, про ее протекание вблизи базара. На голлом берегу одиноко стояло несколько длинных столов с продажными продуктами. На одном мясо, на другом горками фрукты-овощи, а на третьем лежал, привольно раскинувшись на брезентовом замызганном полотнище, огромный цыганского типа курчавый мужчина с горящим на солнце ястребиным неморгающим глазом. Ни покупателей, ни продавцов поблизости не было.

Из-под наехавшего на ухо картуза мужчина наблюдательно глядел на возникшего случайного человека. Повернуться, уйти было как-то неловко: зачем, дескать, приперся сюда? Да и атаманский взгляд черноволосого не отпускал.

Нафталий Петрович поневоле приблизился к мясному прилавку, пошел вдоль него мелкими тревожными шажками, как бы приглядываясь к товару, но ни разу не посмев дотронуться до него. Мимо убойных кусков бывших животных с острыми перерубами костей. Мимо печальных свиных рыл с хитрым предсмертным прищуром. Мимо шматов оплывшей, подернутой сизой пленкой печени, ребер и сердец, выложенных на нескончаемой окровавленной клеенке.

Чтобы быстрее миновать этот проклятый утробный стол, он прибавил шаг, чуть даже не бежал, весь уже на нервах, гля-

дя не на мясо, а только вперед, в дальнюю перспективу. А стол и не думал кончаться, тянулся и уходил вдаль, теряясь недостижимым своим краем в жарких пыльных лучах заходящего за речкой солнца. Это было как мираж, и Нафталий Петрович забеспокоился не на шутку, ибо не было никакой возможности выбраться отсюда. «Надо, наверное, что-то купить, — глупо подумалось ему, — и тогда этот кошмар прекратится».

Он принудил себя остановиться. Осторожно, двумя робкими пальцами потянул лежащий с краю кусок мягкой окровавленной плоти. Подержал его, разглядывая, на ладони. И приблизил, по обычной своей привычке, к носу.

— Ну что, нюхарь гребаный! — вдруг хрипло раздалось за его спиной. — Как мясо?

Нафталий Петрович боязливо вздрогнул («Вот оно, началось!») и обернулся на голос. Черноволосый лежал не где-то далеко, как казалось ему, пробежавшему, по меньшей мере, несколько десятков метров вдоль прилавка, а совсем рядом, на соседнем столе, на том же брезенте. Только теперь чуть приподнявшись и опершись на локоть, но по-прежнему устремив на Нафталия Петровича неморгающий острый глаз.

— Утром забили, — добавил чернявый, мерзко оскалясь. — Свежак.

— Точно, утром, — подтвердила невесть откуда выросшая за прилавком женщина, солнечно рыжая, с веснушчатым длинным лицом и растрепанными на лбу волосами.

А мясо, действительно, было свежим. «Возьму для котлет, а краску куплю в следующее воскресенье» — решил Нафталий Петрович. Хозяйственно вынул кошелек с кнопкой, достал из него полсотни и протянул женщине.

— Пятнашкой звали, — тихо промолвила она, и в ее кротких удивительно больших и выпуклых оливковых глазах, как-то совсем не сочетавшихся с рыжиной волос, блеснула слезливая росинка.

— Кого, кого Пятнашкой? — не понял Нафталий Петрович хрипло.

— Да вот ее, лошадушку нашу, бедолагу, — ответила женщина, указывая на мясную плоть. — Которую вы сегодня, жрать, извините, будете. И пальчики ею облизывать.

И она хохотнула нервно, будто всхлипнула.

Нафталия Петровича передернуло и даже шатнуло, мясо выпало из неловких рук — так поразили его эти слова. Сделалось нехорошо в душе, он заплющил глаза, и во тьме на миг предстала перед ним бедолага Пятнашка. Подняв заднюю ногу, она зализывала глубокую, до самой кости рану.

А чернявый уже стоял на столе, раскачиваясь во весь свой верзильно чудовищный рост. Угрожающе могучий, в малиновой, застегнутой на перламутровые пуговицы рубашке, он поигрывал длинным, как в цирке, кнутом. Лицо его было перекошено от ярости.

— Ты что, курва рыжая, покупателей моих гонишь? Пшшла вон! — крикнул он злобно на женщину и с отяжкой щелкнул кнутом по столу.

Нафталий Петрович услышал за спиной высокое судорожное тремоло, похожее на ржанье обиженной кобылицы — так представилось ему. Но не обернулся, так как чернявый уже навис над ним. Темное лицо его было мерзко улыбочивым, почти добродушным.

— А за котлеты спасибо скажешь. Только в духовочке их пропарь, смак!

Нафталий Петрович, содрогнувшись от его слов, торопливо поднял упавший кусок, положил на стол и хотел было сказать рыжей, чтобы вернула деньги.

Обернулся, но той уже рядом не было.

А чернявый, лихо спрыгнув со стола, приблизился к Нафталию Петровичу.

— Ну что, хлипак?! Понюхал да поворотил, соплями обмочил! А теперь что? Дядя купит, да?

Отбросив кнут, он схватил бедного Нафталия Петровича за отвороты пиджака и стал трясти так, будто хотел, как муку из мешка, вытряхнуть из него весь остаток его и без того слабой души. Дергаясь в его железных лапах и закрыв от страха

глаза, Нафталий Петрович слышал страшные, похожие на колдовские заклинания слова:

— Ты, сучий сын, все равно от мяса помрешь. Цыга твою судьбу черной кровью пометил. Запомни!

И он с силой швырнул Нафталия Петровича на землю.

Прямо к ногам невесть откуда взявшейся тут лошади. Покачивая над ним золотисто-рыжей гривой, она мелко и со-страдательно ржала.

Больше Нафталий Петрович ничего не видел и не слышал, как бы провалился в топкое болото беспамятства. А когда открыл в робости один глаз, потом другой, ни столов, ни чернявого Цыги с кнутом, ни рыжей сердобольной лошадки — никого рядом не было.

Нафталий Петрович лежал, тихонько поскуливая, у самой реки, в начинающихся сумерках заходящего за высокими кле-нами красного закатного солнца. Затылок и шея гудели тупой свинцовой болью. Было ли то, что произошло с ним, на самом деле, или примерещилось здесь, у речки, где он, возможно, прилег отдохнуть, Нафталий Петрович не мог с твердостью ответить.

Вернувшись домой и выслушав от *Доцентши* порцию злобной жабьей ругани за некупленную голубую краску для дачного штакетника, он с мужеством обреченного отодвинул от себя ароматные в распаре сардельки, сославшись на внезапное желудочное недомогание, и утолил голод вчерашними оладьями. А наутро огласил уже известный нам вегетарианский ультиматум.

Вместе с Борисовичем они выбрали тактику и стратегию новой травоядно-растительной жизни. Борисович, лично не присоединившись к вегетарианству, в целом одобрительно относился к нему как к лечебному фактору.

Он тут же пробежался по букинистическим лавкам и раздобыл толстенный том в ржавом переплете «Рецепты вегетарианской пищи». Друзья раскрыли его, склонив свои седые головы, и уже из предисловия с удовлетворением узнали, что слово *vegitus* означает «крепкий, бодрый, полный сил», — то, что надо сейчас Нафталию Петровичу. И каждый, кто

отказался от мясоедства, автоматически оказывался в одной славной когорте с гениями всех стран и народов — Платоном, Эйнштейном, Эдисоном и Махатмой Ганди, не говоря уже о Толстом, ругательно помянутом душой *Доцентшей*.

Состоять в этом мысленном списке лучших умов человечества было очень почетно для собственного самосознания. Не говоря уже про ту оздоровительную пользу, которую должен принести отказ от мясоедения кишкам Нафталия Петровича, его страдающей поджелудке и сердечно-сосудистой системе.

Однако новая жизнь без мяса потребовала полнейшего отречения от сложившегося уклада.

По утрам Нафталий Петрович тер теперь до бесчувствия в пальцах морковь, добавлял к ней тертых же яблок и поглощал эту сочную смесь, мучительно стараясь не думать о яичнице с колбасой, которую он обычно готовил себе на завтрак. Так начинался день.

Обедать он приловчился за углом, в дешевой вегетарианской столовке клуба железнодорожников. Гороховый или рисовый супчик на первое, потом овощное рагу или тушеная свеколка на постном масле. Поел — не поел, не поймешь. Но ничего, терпимо. Зато ведь благо здоровью. А запивал он обед полюбившимся ему сапетоном — киселем из ягод бузины.

Вечером дело обстояло похуже. И *Доцентша*, и Виктория, дочка, собравшись на кухне, обхохатывались, глядя, как он нестигаемыми своими пальцами перебирает на завтра перловку или гречу, а внучок Игорь наставительно говорил:

— Ты, дедушка, от овсяной каши скоро лошадкой станешь. Вот поезду тогда на тебе! И — го — го!

А обе стервы сладострастно перемигивались за его спиной, показывали пальцем на голову и ждали, когда же он чухнет, наконец, на весь вечер к своему другу Борисовичу.

3.

Как уже догадался, наверное, читатель, оба сердечных друга находились в ранней пенсионной поре. Совсем недавно освободила их мать-держава для вольной и якобы беспечной

жизни. Но вот организмы обоих совсем по-разному прино-
ровлялись к безработной обыденности каждого божьего дня.

Нафталий Петрович, который вместе с черными нарукав-
никами скинул повседневную лямку бухгалтерской бумажной
ответственности, тут же иссяк духом. Захирел, как мы видели,
затравил себя гнусными бессонными подозрениями. О здоро-
вье, о никчемности прожитой жизни. Об одиночестве. О не-
минуемом человеческом исходе в никуда.

Борисович же, напротив, был по-прежнему румян, остро-
глаз и принимал обретенную новую жизнь как долгожданный
подарок. И выходит, жил этой заслуженной дыхательной
жизнью еще лучше, чем до нее.

Спозаранку, влитый в оранжевую футболку и треники
с белой нашивкой *PUMA*, выбегал он из подъезда и мчался по
Шоссе Революционеров до городского парка, ловко огибая
лотки с помидорами и спешащих на работу увлеченных тру-
довым порывом граждан.

Основной пробег приходился на парковые аллеи. Здесь,
пересекая разгоряченным от скорости лицом длинные утрен-
ние тени тополей, он бежал мимо окутанных пылью подме-
тальщиц, мимо пузатых поливальных машин с надравшими-
ся уже несмотря на утренний час водителями, мимо пестрых
клумб, над которыми возрождали свои поникшие за ночь го-
ловки разнообразные цветы. Бежал, ничего не видя вокруг —
с одной только мысленной установкой — как бы избыть из
своего организма побольше пота, а с ним и враждебного для
человеческого здоровья шлака.

Не раз и не два склонял он своего ближайшего друга и со-
седа Нафталия Петровича добавить к вегетарианству совмест-
ную утреннюю оздоровительную пробежку. Однажды-таки,
уже ближе к осени, заколебался хилый на характер Нафталий
Петрович. И дал согласие попробовать. Не столько ради выве-
дения утробного шлака из внутренностей, а чтобы не томить-
ся одному среди враждебных обитателей своей 124-й опусты-
ленной квартиры.

Выставив на лице бодрую улыбочку, выскочили оба прия-
теля из вонючего подъезда на солнечный приветливый про-

стор раннего сентябрьского утра, перемигнулись друг с дружкой и резво, но не быстро побежали. Нафталий Петрович, естественно, впереди, как ведомый и наблюдаемый, а Борисович следом за ним, чтобы держать новичка в поле своего опытного и заботливого зрения.

Нафталий Петрович бежал ровно, даже легко. Ноги его, поочередно взлетая, мелькали белыми носками, заправленными, правда, не в стильные адидасовские кроссовки, как у Борисовича, а в затоптанные временем сандайки. Иногда Нафталий Петрович оборачивался на друга, поднимал поверх вязаной шерстяной шапочки успокаивающую руку, что должно было означать нормальное протекание оздоровительной операции. И Борисович, радуясь и торжествуя, махал ему в ответ, восхищенно предвкушая, как в конце пробежки скажет Нафталию Петровичу: «Да ты же классный бегун!» и похлопает его по мокрой спине, отдавшей вместе с потом толику ненавистного шлага.

Но перед самым поворотом на Кировскую, у «Гастронома №1», случилось непредвиденное. Борисович увидел, как вдруг резко тормознул Нафталий Петрович, по-птичьи, как бы крыльями, взмахнул всплеснувшими руками и рухнул на асфальт. Словно подкосило его.

Борисович тут же, изо всех своих дружеских сил, рванулся вперед, раскидывая встречных людей без разбору и сбивая по дороге лотки с огурцами и яблоками.

Вокруг лежащего на асфальте Нафталия Петровича уже плотно стояло человеческое любопытное окружение. Сочувствующее, охающее и вздыхающее. И неистово, на всю улицу, ржала, выбрыкиваясь из упряжи, невысокая пегая лошаденка с рыжими подпалинами на боках. Она была привязана к фонарному столбу, подле которого по неизвестной пока причине пал Нафталий Петрович.

Борисович сходу, вихляя натренированными плечами и задом, протаранился сквозь плотное кольцо праздных людей. Он испытывал смертельное волнение и свою личную ответственность за жизнь друга. Нафталий Петрович, к великому облегчению его, был жив, при сознании — это было глав-

ным. Его бледное от страха лицо виновато и растерянно мигало. В уголках посиневших губ подрагивала слабая улыбка, которой он как бы просил столпившихся любопытных людей извинить его за случившееся.

— А где, где она? Где лошадка? — слабо спросили его губы у опустившегося на колени Борисовича. Но тот не обратил на эти слова никакого внимания и бережно, тихонечко просунул под голову Нафталия Петровича ладонь. Бывший медбрат, отдавший четверть века службе скорой помощи, он опасался наихудшего. Слава Богу, затылочная кость, *os occipitale*, не пострадала от падения, следов крови на пальцах Борисовича не оказалось. По счастливой случайности упал Нафталий Петрович боком — правая скула и висок, которыми он проехался по асфальту, были ободраны, замызганы грязью, локоть весь залит кровью, но все это были пустяки. Перелома основания черепа, чего так бдительно опасался Борисович, не было.

Повиснув на оранжевом плече друга, Нафталий Петрович кое-как дохромал до такси. Через пятнадцать минут он уже легонько постанывал на широкой тахте, всецело отдавшись умелым медицинским рукам бывшего медбрата.

Не суетясь, мурлыча для обоюдного успокоения, тот приводил в порядок пострадавшие от падения органы. Сперва ваткой, смоченной пергидролью, убил вирусы и вредные бактерии, могущие прилипнуть большим числом к кровоточащим ранам. Затем перевязал сбитый до крови локоть, наложил тугий жгут на щиколотку, ледяным компрессом обвязал лоб. И только тогда попросил Нафталия Петровича рассказать, что же все-таки произошло возле «Гастронома № 1».

Нафталий Петрович, казалось, только и ждал этого вопроса. Широко и счастливо улыбаясь, он сказал, что неожиданно, ну просто лицом к лицу, столкнулся с первой любовью своих неповторимых студенческих лет, с Райкой Свибловой.

Кустистые брови Борисовича прыгнули изумленно и разлетелись в стороны.

— Ты про лошадку спрашивал. Я думал, она тебя вспугнула.

Нафталий Петович заулыбался:

— Вспугнула... Эх, ты, Борисович... Я же ей в ноги кинулся... Сам... Обожди, расскажу все по порядку.

И, хитро подмигнув, Нафталий Петрович побежал в свою квартиру.

4.

Фотографии своей обидно куцой добрачной вольницы Нафталий Петрович содержал — так приказано было *Доцентшей* — не в семейном альбоме под золотым тиснением, а отдельно, как бы полулегально, в старом ободранном чемоданчике с железными ржавыми уголками. «Скажи еще спасибо, что я не ревнивая, а то бы повыкидывала всех твоих блядей на помойку» — милостиво разрешила она.

Этот дерматиновый чемоданчик был приобретен когда-то в городе Днепропетровске, куда юный Нафталий ездил со школьной волейбольной командой на финал республиканского кубка. С тех пор, принесся тогда первое спортивное счастье, чемоданчик находился при своем хозяине всегда, выполняя различные бытовые надобности. Как *спортивный* — с кедами и футболкой. Как *банный* в дохрущевские времена коммуналки и немытия всей страны. Как *колхозный* с картишками и бутылкой «Солнцедара». Как *командировочный* с журналом «Огонек» и пакетиком презервативов в потайном кнопочном кармане. Пока его не сменил, наконец, новый, выделанный под крокодилову кожу, венгерский кейс, подаренный сослуживцами по случаю полувекowego юбилея своего любимого главного бухгалтера.

Косым враждебным оком проводила *Доцентша* этот задрипаный холостяцкий чемоданчик, зачем-то потревоженный сегодня с антресольной полочки. Единственное пространство неподконтрольной жизни Нафталия Петровича, к которому она была напоказ безразлична, а на самом деле нет-нет, а приглядывала за ним. Сегодня этот чемоданчик шевелен был на своем привычном месте, сдвинут и опущен вниз, затем раскрыт руками дорогого мужа — всего лишь на одну минутку. И тут же, поспешно, был унесен по какому-то се-

кретному делу в соседнюю 123-ю квартиру. С тайным, как она предполагала, умыслом.

При этом вид Нафталия Петровича, с забинтованным лбом, припадающего на правую ногу, вызывал у матерой разведчицы особые подозрения. Но задать вопрос этому ничтожеству значило бы унижить свое ученое достоинство. Оставалось только завязать узелок памяти и дожидаться последующих, могущих произойти событий.

Бабья чувственная интуиция не подвела *Доцентшу* и на этот раз. Примерно минут через сорок в квартире снова появился Нафталий Петрович. Но как?! Без обычной своей неслышности и смиренной безропотности, к чему был как собака домашней породы раз навсегда приучен. А просто ворвался. Вопиюще грохнул дверью на весь подъезд. С чемоданчиком в трясущихся руках. С гласом вопиющего в пустыне. И с перекошенным до неузнаваемости лицом.

«Припадочный!» — фыркнула на него *Доцентша* с брезгливым удовлетворением и, уйдя к себе, уселась под зеленой лампой своей учености. Академический свет ее, как мы уже знаем, не только благоприятствовал интеллектуальной деятельности, но и был сигналом к установлению благоговеиной и трепетной тишины в квартире.

Справедливости ради следует сказать, что на этот раз нить ее тонких филологических размышлений была прервана и безвозвратно потеряна. Озарившая было *Доцентшу* гипотеза о развратно-чувственных представлениях в феодальной Франции, разоблаченных Вольтером в поэме «Орлеанская девственница», так и осталась не вылитой на чистые листы бумаги.

Промаявшись около часа и бессильно рассвирепев, она свернула, как чье-то провинившееся ухо, выключатель, погасила академическую лампу и пошла на розыски виновника своей творческой заминки. Нафталий Петрович сидел в прихожей возле вешалки, дерматиновый чемоданчик, с которым он ходил к Борисовичу, валялся у его ног. Свяжав мысленно «Орлеанскую девственницу» и чемоданчик, *Доцентша* мстительно размахнулась и нанесла по дрожащей щеке мужа удар из ар-

сенала кикбоксинга. Нафталий Петрович еще ниже опустил голову. Ему уже все было нипочем.

Что же, на самом деле, произошло в квартире № 123?

С предвкушением великой тайны, которую он тотчас откроет другу, Нафталий Петрович явился к нему час назад и вытряхнул на журнальный столик бесчисленное количество старых фотографических карточек. Быстро-быстро перебирая их, он раскладывал на малые и большие кучки, что-то при этом подшептывая себе под нос, но пока еще без комментариев для сидящего рядом в полном недоумении Борисовича.

Снимки были любительские, сохранившие благодаря случайному щелчку «Фотогора» или «Смены 8М» неповторимые кадры ушедшей навсегда жизни. Первомайскую разболтанную колонну с портретами вождей в пьяных студенческих руках. Или памятный кадр с озером, закрывшим стыдливými камышами девчонок, натягивающих на свои обнаженные прелести черные, почти до колен, плавательные трусы. Или торжественную присягу на верность тогда еще любимой и единой Родине с целованием знамени во дворе райвоенкомата. И многое другое.

Ворох большей частью выцветших, порывевших, с затекшими фиксажными кляксами и потерявших былой глянец бумажек. Некоторые снимки были с модной тогда фигурной обрезкой, разного формата, вплоть до совсем крошечных, паспортных. Разложенные торопливыми руками Нафталия Петровича, кучки то и дело распадались, фото падали на пол. Он явно что-то искал. Борисович, теряя терпение, тупо наблюдал за этими бестолковыми действиями друга. Казалось, все это его раздражало, он не произносил ни единого слова.

Почти на всех фотографиях непременно присутствовало одно и то же лицо. На редкость маловыразительное и плоское. Будто кто-то, стоящий за фотографом, нарочно в момент снимка обдавал это лицо ярким, не дающим теней светом. Ни выпуклостей носа, ни глазных впадин, ни скул — только ровный, обструганный рубанком как днище бочки, лик.

Сотни размноженных Нафталиев Петровичей, уныло похожих друг на друга своей одинаковостью, отличались, разве, только тем, что на одних снимках, совсем ранних, была вскинута к виску худящая пионерская рука, а на других — в руке этой, уже мужественно окрепшей, застыла пивная кружка с выплеснутым набок чубчиком пены. Или, скажем, блатную кепчонку-восьмиклинку, примелькавшуюся на старых фотографиях смешной пуговкой, сменила зеленая (некоторые снимки были уже в цвете), из солидного велюра шляпа с широкими полями.

Отобрав несколько фотоснимков, Нафталий Петрович разложил их карточным веером на тахте. И теперь, выжидательно скрестив на груди руки, глядел на Борисовича.

Тот молчал.

— Раиса, — пояснил Нафталий Петрович, обмякнув от самоудовольствия и улыбаясь. — Та самая, которую я встретил. Только она теперь другая.

Он как бы призывал друга разделить его радость, бурно разлившуюся по обычно молчаливому и сдержанному лицу. Ждал, что тот незамедлительно возликует, изойдет фонтаном нелепых, но душевных восклицаний, восторженных объятий, скупых мужских поцелуев со слезой и без. Похвалит, наконец, эту неизвестную ему Раису, если не за красоту, так хотя бы за обаяние и симпатию.

Но Борисович упорно молчал.

Ничего не понимая, Нафталий Петрович произнес ее имя вторично, и, расплывшись улыбкой еще шире, продолжал с восторгом и небывалым доселе красноречием:

— Это мы с ней на чертовом колесе, видишь. Высотища, люди сверху как мурашки, а ей, Райке, хоть бы чего. Хохотуша страшная. За это и любил. И за челку рыжую. А вот мы в пионерлагере, в Бутовке. Вожатыми записались. Чтоб вместе быть. Эх, костры ночные, соловьи хмельные! Она меня Нафтуткой называла. Смешно, а мне нравилось... А на третьем курсе послали их в Орловскую область, на практику. На конезавод имени Буденного. Она на ветеринара училась, в зооветтехникуме. Ну вот... На месяц уехала, а расстались, Борисо-

вич, на всю жизнь. Она там замуж вышла, нашла кого-то... Рачка моя... А мне вот Верку судьба подсунула. Папашка веркин партийной шишкой был, надавили на меня — кто ж на такой жабе добровольно женится? Вроде от меня нагуляла. А Виктория, дочка, ты же видел...Ничего от моей личности общего. Родилась овца от заезжего молодца. А Райка уехала отсюда. Когда, куда, ищи-свищи... И так почти четверть века, Борисович. А тут — гоп-стоп! Бегу с тобой — и ошалел вдруг. Передо мной она! Моя Раюшка! Рыжей челкой мотнула и, как в те годы: «Нафту-у-улька,здра-а-австуй!» Можешь представить, что за радость была мне ее снова увидеть и даже упасть перед ней.

И Нафталий Петрович поведал другу, что его золотисто — солнечная девочка имела совсем не такой вид, как раньше, в дни их любовного студенческого увлечения, и как ее образ сохранился на фотоснимках из архивного чемоданчика.

Собственно говоря, не было ни девочки, ни постаревшей за эти годы женщины, что было бы вполне объяснимо. На углу Кировской он столкнулся с пегой, впряженной в телегу лошаденкой с рыжей, разбросанной по лбу челкой. Привязанная к фонарному столбу, она дернулась, увидя его, вздыбилась высоко поднятыми передними ногами, и радостно заржала хохочущим звонким смехом:

— Здравствуй, На-а-а-фту-улька!

Этот голос мог принадлежать только одному человеческому существу в пространстве всего мира — Раисе Свибловой, и поэтому, как пулей двадцатилетней давности, был пронзен бегущий Нафталий Петрович навывлет, всплеснул от поразившей его радости руками-крыльями и рухнул на асфальт.

Нафталий Петрович глядел на друга, выискивая хоть искорку радости на его лице. Но оно, обычно живое и подвижное, всегда участливое и внимательное, оставалось на удивление холодным и даже суровым. Вдруг неожиданно Борисович выпрямился статно, подошел к книжному шкафу, широко распахнул обе дверцы и достал с верхней полки большую коричневую фотографию в паспарту. Она стояла за трехтомни-

ком Лермонтова, и Нафталий Петрович никогда ранее ее не видел.

Борисович сперва подержал снимок в руках, будто разду-мывая, а потом протянул гостю. И отошел к окну.

Нафталий Петрович ничего не понимал. В его руках была обычная свадебная фотография с надписью белой гуашью «*Совет вам да любовь!*» и датой бракосочетания — **16 июля 1976 года**.

С бокалами шампанского, среди цветов и охватившего всех запечатленных беспредельного умиления и восторга, стояли новобрачные. Лица их, любовно обращенные друг на друга, светились улыбками радости.

Вглядевшись, Нафталий Петрович тотчас со всем ужасом признал их. Новобрачными были Борис Борисович Медовой и Раиса Васильевна Свиблова.

И из его нутра, из дикой утробной глубины, вырвался неистовый, повисший на одной протяжной ноте нескончае-мый крик летящей в бездонную пропасть подстреленной пти-цы.

5.

Все дальнейшее могло бы не случиться, не достань Борисович той роковой загговской фотокарточки.

Оставался бы он по-прежнему ближайшим соседом и наипервейшим другом одинокого во всем мире Нафталия Петровича. И прославляли бы они оба тот перст судьбы, который разместил их жилые квадратные метры в непосредственной близости на одном этаже, и трапезничали бы они среди дневных мудреных бесед, как и раньше, на дамастовой парадной скатерти, и бегали бы дружно и весело каждое господне утро, изгоняя из организмов зловредные шлаки по Шоссе Революционеров до городского парка и обратно.

Но теперь с дружбой было решительно покончено. Нестерпимые думы отчаяния обжигали Нафталия Петровича изнутри. День за днем и ночь за ночью они точили и без того слабый и колеблющийся его мозг. И вызвали наконец чувство

полного и бесповоротного отторжения от лжедруга Борисовича. Делить с ним, даже в мыслях, свою рыжую солнечную любовь Раечку Свиблову он не мог.

Выходя на лестничную клетку с мусорным ведром или возвращаясь домой с кульком вегетарианских субпродуктов, Нафталий Петрович круто, несмотря на риск свернуть шейные позвонки, отводил свой глубоко оскорбленный взор от чернокожей, когда-то дружественной двери квартиры № 123, убеждая себя при этом, что таковой рядом вообще нет и никогда не существовало.

Изддержки личной жизни в связи с этим расколом были для природного одиночества Нафталия Петровича немислимо тягостны. Во-первых, утрачено надежное, недосигаемое для *Доцентши*, политическое убежище. Во-вторых, обоюдная сердечность и доброта не выдержали, значит, проверки временем, оказались мнимыми и кажущимися.

Маршрут его утренней пробежки также был скорректирован с учетом прерванных взаимоотношений. Нафталий Петрович бежал сначала через городской парк, а потом сворачивал на Шоссе Революционеров. А Борисович пробегал два квартала по улице маршала Рыбалко, пересекал Шоссе Революционеров и только после этого попадал в городской парк. Встречаясь иногда на Кировской, оба бегуна делали вид, что не знакомы друг с другом.

Неоднократно, в разное время дня, Нафталий Петрович теперь околачивался, закрыв глаза черными очками, возле «Гастронома № 1». То купит «Столичный» батон, то пакет ряженки, то постоит с пивком за уставленным кружками мокрым столом. Приглядывался к покупателям, надеясь встретить ее. Ждал.

Дважды подъезжала телега забрать из магазина пустые вино-водочные бутылки. Нафталий Петрович с замиранием сердца тотчас кидался к лошадам. Один раз то была бурая, с примесью черного волоса в хвосте и гриве. Вторая, через день, — низенькая, мышастая, цвета золы, бока в белых крупных яблоках. Пока грузчики, матерно переругиваясь, выноси-

ли гремящие бутылками ящики, Нафталий Петрович знакомился с лошадами, угощал их кусочками пиленого сахара. Он, конечно, сразу же догадался, что его Раюшки среди них нет. Но надеялся все же, что многократно произнесенное ее имя вызовет какую-нибудь реакцию.

— Рая... Раисочка... Раенька... Я Нафтик... Рая... Рая... — шептал он как можно чувствительнее, следя за лошадами.

Бурая только прыдала ушами, испуганно пятилась от него и фыркала. А мышастая, отряхиваясь от копошащихся на ней мух, шустро и бесцеремонно тыкалась голодной мордой в сумку Нафталия Петровича.

Такие вот чудеса происходили теперь с нашим героем. Принадлежа к людям здравомыслящим и степенным, он ни за что не поверил бы в истинность подобной невероятной встречи, расскажи ему об этом кто-нибудь из друзей. Встретил бы едким смехом, назвал бы нелепицей, театром абсурда, сюрсом, галиматъей, несуразицей и многими другими словами, слышанными от умных людей. Но это случилось ведь с ним самим, а он пребывал в здравом уме и твердой памяти.

Понять и помочь ему мог только Борисович. Наверняка он располагал какими-то более поздними данными о Раечке Свибловой. Но мог ли Нафталий Петрович теперь обратиться к нему, если он постоянно видел перед собой воображаемые развратные картины их любовных утех. Их ночные ненасытные ласки, наподобие тех, недозволенных, которые показывали ему пацаны в тайных замусоленных журнальчиках и которые были не изведаны им самим.

Приходил он домой бессловесно удрученный, с бессильно поникшими руками. *Доцентша*, воодушевленная его очевидным слабодушием, измывалась, когда и как ей заблагорассудится. Допекала едким ругательным словом, заимствованным из туалетов филфака. Даже устраивала особо показательные пыточные забавы. Телячьи отбивные, к примеру, идейно не воспринимаемые сейчас организмом Нафталия Петровича, кидались на сковородку непременно к его приходу, и запах жареной корочки вызывал у него, естественное слюноотделение и головную, долго не проходящую слабость.

Истязала его *Доцентша* и за непокрашенный до сих пор штакетник на дачном участке. Но в данном случае справедливейший и добросовестнейший Нафталий Петрович не мог не признать ее правоты, и в ближайшее воскресенье отправился за краской на Соловецкий рынок. Чтобы снова, как в прошлый раз, не сбиться с пути и не попасть к Цыге, он каждые несколько шагов, толкаемый и пинаемый встречными-поперечными, переспрашивал, где продаются краски. Пока, наконец, не очутился в душливом столпотворенье всевозможных красителей, олиф, грунтовок, ацетонов и клеев.

Видя его нетвердое знание искомого предмета, разноголодые, с запаренными солнечным жаром лицами, лихие базарные торговки накинулись на него, тыча под нос железные, едко воняющие банки. Встревали и доброхоты-покупатели:

— МС не бери, отшелушится за зиму...

— Эмаль? Для штакетника? Не смешите. Облезет, точно. Мне весь забор ошкуривать пришлось.

Между сторонниками эмалевых и масляных красок разгорелся нешуточный бой. Не ради славы, как говорится, а ради жизни на чужом для них дачном участке. Незнакомые люди, светясь добрыми участливыми глазами, то и дело хватали его под локотки, отгоняя прочь своих противников. Словами убеждения, а то и применяя недозволенный силовой прием, они вели его то к одному столу, то к другому. Когда же Нафталий Петрович, убежденный маслянистами, согласен был уже купить выбранную для него банку, ее тут же вырывали у него из рук сторонники эмалевой покраски и со словами «Только через наш труп» тащили его к другому столу. Казалось, эти поиски истины будут длиться бесконечно, во всяком случае, до окончания базарного воскресного дня. Оставалось только уповать на случай.

И таковой не замедлил представиться: Нафталий Петрович заблудился. Без всякого намерения улизнуть от доброжелательных граждан, без всякой задней коварной мысли скрыться от них, своих благодетелей. Ведь мы уже знаем, что ориентировка на местности, как, впрочем, и во всем жизненном пространстве, не была сильной чертой его натуры.

Как-то мигом потерял он из виду все скопище своих новообретенных друзей. И убежденных сторонников масляной покраски, и закоренелых эмальщиков. Потолкавшись в студенистой колеблющейся толпотне, с мокрыми от непросыхающих базарных луж ногами, он вдруг неожиданно вынырнул у стеклянного куба с разноцветными буквами: «РАДУГА». Уже само название говорило о том, что это был необходимый ему павильон красок.

По совету кинувшегося к нему продавца Нафталий Петрович купил двухкилограммовую банку эмалевой краски «ПФ — 115» фирмы ТЕКС салатного цвета, начисто забыв, что *Доцентша* заказывала голубую. И, поблагодарив мальчика за пожелание «*Долгой жизни вашему штакетнику!*», стал пробиваться через толпу к остановке трамвая. На душе было облегченно и светло. Хотя чуточку угрызала совесть, что, заблудившись, он не смог попрощаться с новыми знакомцами, уделившими ему столько времени и внимания. И совсем бескорыстно.

6.

Блаженная улыбка однако не долго пребывала на облегченном от забот лице Нафталия Петровича. Едва отойдя от павильона, он, сперва даже не веря себе, но затем со все нарастающим ужасом обнаружил, что на запястье левой руки, под рукавом пальто, отсутствуют его часы... Были утром, это он точно помнил — без часов он вообще не выходил из квартиры. Пару раз по дороге сюда, в трамвае, даже поглядывал на них, боясь опоздать. И вот...

Скорее всего, их спер кто-то в облепившей его толчее советчиков. Маслянист или эмальщик, теперь уже безразлично. И тех, и других он обзывал поочередно гадами и ворюгами.

Часы «Восток» служили ему добрый десяток лет, не допуская даже минутного сбоя в определении временных координат. И он привык к ним, естественно. Но главная пакость судьбы состояла в том, что этот «Восток», купленный, кстати, на Западе, в Польше, был подарен Нафталию Петровичу его партийным тестем к годовщине их с Веркой свадьбы. И отсут-

ствие часов сразу было бы замечено зорким взором *Доцентши* и непременно вызвало бы торнадо или другие подобные ему атмосферные турбулентности в квартире № 124.

Надо было немедленно что-то предпринимать. И минут через десять, действуя сообразительно и без промедления, как любой человек в тревожной пожарной обстановке или в уличном рукопашном бою, Нафталий Петрович пробился через базарную толпищу на иную территорию, где продавались часы. Банку с краской он приспособил как могучий таран, от которого шарахались люди, уступая ему дорогу.

Здесь, в другом уже царстве, на все лады пели-распевались звонкоголосые будильники. Величаво и отрешенно, как буддийские монахи, раскачивались маятники кабинетных часов. С дикими вскриками то и дело выбрасывались из своих окошечек железные расписные кукушки. Он подошел к лоткам, где, сплетясь ремешками, лежало то, что сейчас больше всего на свете интересовало Нафталия Петровича: старые «полеты», «победы», «салюты», «славы» и прочие колокольно звонкие марки того восторженного и праздничного времени. Ныне затертого и забытого.

Поискал молча глазами, поковырялся пальцами. Пожал плечами. И уже готов был отойти...

— Может, «Восток» ищете, мужчина?

Нафталий Петрович судорожно вздрогнул и обернулся на голос.

С льняным чубчиком из-под кепчонки с пуговкой на него глядело ухмылистое пацанье лицо.

— «Восток», — нерешительно подтвердил Нафталий Петрович. — А ты почему знаешь?

— Дык сперли-то «Восток». — Чистопольские, да? — не отвечая, деловито вел допрос ушлый пацан.

— Наверное...

— Секунды как? Сбоку? Или на весь циферблат?

— Сбоку, сбоку.

— Корпус какой был? Нержавейка? Или под золото?

— Ну, золото. Может, объяснишь, к чему эти вопросы?

— Вопросыки, вопросыки, всегда клюют за носики.

Пацан захохотал, оскалив крупные лошадиные зубы. Сейчас его лицо показалось Нафталию Петровичу знакомым. Будто виденным в зеркале.

— Таких, как вам треба, тут нету. Они ж коллекционные. Но если захочем, так выворотим усе да наскочим. Поняли?

Пацан вытащил из бокового кармана курточки ветхую записную книжку и, вырвав листок, написал размашисто, крупными цифрами **2403**.

Показал пальцем налево:

— Там, дядя, магазинчик мебельный, за ним овощной склад будет. Покажешь бумажку сторожихе. Дальше все будет, как она скажет. Понятно?

— Понятно. А если спросит, от кого.

— От Нафтिका скажи.

— Что, что? — оторопел Нафталий Петрович.

— Нафтик меня зовут. Нафталий. Имя такое есть. Не слышал?

И, весело заржав, дернул задиристо голову и тут же исчез.

Пережевывая случившееся, Нафталий Петрович побрел в указанном направлении. Голова нашего героя от природы была устроена таким образом, что более одного загадочного явления он обсуждать сам с собою одновременно не мог. Вторая загадка обычно уже мешала первой, отвлекала ум от ее решения. Получалась уже каша, война на два фронта, погоня за двумя зайцами и прочие высмеянные народной мудростью головоломки.

А в данном случае загадок было целых три. А то даже и все четыре. Откуда пацан узнал, что Нафталию Петровичу нужны часы «Восток»? На лбу, что ли, было написано? Более того, мальчишке было известно, что часы сперли. Сам, что ли, их украл? Тогда, идя с его шифрованной записочкой к какой-то сторожихе, явно его подельнице, Нафталий Петрович рискует вляпаться в уголовщину. Наверняка.

Но самое фантастическое было все же не в этом. За шестьдесят с лишним лет своей жизни Нафталий Петрович не обнаружил вокруг себя ни одной человеческой души с именем

«Нафталий». Ни на предприятии, где он трудился, ни в садовом товариществе, ни даже у классиков русской литературы, великих словоблудов по части имен. Оно было уникальным, придуманным для своего первенца буровым мастером Петром Балясниковым по случаю открытия Ромашкинского месторождения нефти. «Нафты», как называл ее на украинский лад отец.

И вдруг, боже! Выяснилось, что совсем он не уникальный Нафтик! И нечем далее гордиться! Это изысканное имя носит, оказывается, еще один человек планеты и, главное, совсем не выдающийся. Не греческий негоциант, не арабский шейх, не знатный среднеазиатский писатель, не вождь индейцев майя. А самый что ни на есть пропащий тип — ворюга, карманник, шпана базарная, сперший к тому же часы у своего тезки.

Пережевывая таким образом одну за другой все мысли, Нафталий Петрович пришел к выводу, что дальнейший путь ведет его напрямик в воровскую малину. И следует немедленно, наплевав на подарочные часы тестя, сворачивать к трамвайной остановке. Пока не поздно.

Но в этот момент, оглядевшись, он обнаружил себя возле вывески с надписью «Овощной склад». И со свойственной ему непоследовательностью принял диаметрально противоположное решение — рискнуть и все же разыскать сторожиху, чтобы забрать тестев подарок. Тем более, что в створе складских ворот, выкрашенных зеленой краской, уже появилась какая-то женщина. Огромная, как потревоженная и вставшая на дыбы медведица.

— Ты или не ты? — мощно крикнула она издали

И вонзилась в него исподлобья.

— Я, — ответил не колеблясь Нафталий Петрович на этот почти гамлетовский вопрос и протянул медведице записку. — Конечно, я. Тут написано.

— Тут про модель написано, часиков твоих, а не про тебя, — сказала наставительно старуха, разобравшись с помощью очков в тексте записки. — Нафталия почерок, вижу.

— Скажите, любезная, откуда имя такое? Чудное...

— Мать назвала, не я. Может, в честь ангела. Гавриил, Михаил, Рафаил, Уриил... А этот Нафтаниил. А может другая причина. Разберемся, двигай за мной.

— Куда?

— Не закудыкивай. Часики отдам. И еще кой-чего расскажу.

Она зашлась сильным не то смехом, не то простуженным вековым кашлем прямо в лицо Нафталию Петровичу.

— А вы сюда принести не можете?

— Никак нельзя, сердечный.

— Прошу вас, женщина, я очень тороплюсь.

— Приказано так. Идем.

Он тяжело вздохнул и с тяжелым сердцем пошел вслед за старухой.

ЭПИЛОГ

Уголовное дело по обвинению Цыганкова Арсения Ильича в убийстве особо жестоким способом Нафталия Петровича Баясникова рассматривалось в суде Старомосковского района.

Сторожиха Соловецкого овощного склада Зиновия Петровна Гольц, привлеченная в качестве свидетеля, показала под присягой:

«Покойного Баясникова Н. П. я видела только один раз в жизни, а именно 24 октября 1990 года на Соловецком рынке. Это было воскресенье, примерно четверть или половина второго. Он подошел к воротам склада, который за мебельным магазином, так ему было сказано, в руках у него была банка с краской, и я его повела к себе в подсобку. Сначала не хотел туда спускаться, подсобка моя в подвале располагается, лампы нет, темно. А он боялся, видно. Потом пошел все-таки.. Ну вот... Там отдала я ему часы, которые вроде бы у него сперли на рынке, а мы вроде бы нашли. На самом деле это был

умысел, подманка, чтобы завлечь его для разговора. Он поси-дел немного, утомил сердечко, видит — не убивают, не ре-жут, попил даже чайку с печеньем. А от колбаски ливерной отказался, сославшись, что мясное не употребляет ради сохра-нения здоровья. Тут я ему и объявила, что действую по лично-му поручению его хорошей знакомой Раисы Васильевны Сви-бловой. Как услышал он, бедный, это имя, так и подскочил от радости, вознесся просто. Схватил мои руки, трясет, чуть не плачет: «Где она, где Рая?!»

Имейте терпение, говорю. Она вас любит, тоже хочет встретиться, но в настоящее время это невозможно. Расскажу вам почему. Все по порядку, в жизненной последовательности всех событий. Расстались вы с Раисой Васильевной в день отъ-езда ее на студенческую практику. Работать ей пришлось на конезаводе имени Буденного в Орловской области. С раннего утра до вечерней зари она подле лошадок. Любила их и дела-ла все от души. И моет, и скребет, и песенки им распевает. А выведет их на луг, на Руслана своего как взлетит — арабчик у нее вороной был, любимый, шести или семи лет, и давай на нем друзьям своим акробатику показывать.

А тут, значит, приезжает на этот конезавод руководитель знаменитого на весь Советский Союз конного аттракциона Арсений Цыганков, нынче вот на скамейке подсудимых. Ото-брал для цирка лошадей и не только... Раечку Свиблову тоже сманил, бросила она свой техникум и помчалась за ним к цир-ковой славе. Я тогда у него гротеск-наездницей работала, мадмуазель Зиновия мое имя афишное, может, слышали? Почти все номера на меня ставились. Сперва даже в ее сторо-ну и глазом не косила, не считала ее соперницей. Стройнень-кая — да, высокая — да, но где, думаю, твоя артистичность, шарм? Да попробуй еще овладей цирковой наукой.

А Цыга, шеф наш, от нее не отходит... «Кто, кто?» — пере-спросил тут меня Нафталий Петрович, и я увидела, гражда-нин судья, в его глазах ужасный страх. Да Цыганков Арсений, говорю ему. Мы его так промеж себя называли, Цыгой. Как он ее мучал, ирод, учебой своей: и кричит, и шамбарьером чуть ли не по ногам, ежели что не получается. До седьмого пота, до

слез горючих девчонку гонял. Но, представьте себе, добился своего, выучил. Он ведь сам классный джигит был, от природы.

Освоила Раечка и испанский шаг, и пируэт на галопе, даже парфорсную езду с барьерами. И все так грациозно, с улыбкой, прямо-таки летает на лошадях — очарование да и только. Восхищалась я ею, пусть не покажется вам это странным. И только когда она заменила меня в па-де-де, и они с Цыгой понеслись, обнявшись, на двух лошадях, я поняла, что не нужна. Что для меня огни манежа погасли. Так оно вскоре и произошло. Моя Сильва сделала неудачный каскад, я упала на барьер, открытый перелом бедра, все. Это было мое последнее выступление. После больницы я уже на арену не вышла. Щетки, скребницы, совки с навозом... Короче, рабочая по уходу за животными.

«Вы, конечно, затаили обиду на Раю? Но не ее ведь вина, правда?» — беспокожно сказал Нафталий Петрович. Хороший он был человек, душевный. Царствие ему небесное. Представьте себе, отвечаю, мы с ней подружились даже. Я многому ее научила, помогала ей. Причем тут она? Судьба, значит, такая. Как-то она рассказала мне о вас, впервые назвала ваше имя. «Я виновата перед Нафтиком, мы ведь любили друг друга, думали пожениться... Подлая, подлая я...» Такие слова я частенько от нее слышала.

Жили они с Цыгой гражданским браком, детей не заводили, у него где-то под Астраханью было еще две или три семьи, а там куча детей. Цыга был жестоким, но мозговитым мужиком. Думаю, он даже знаком был с черной магией. Окончательно убедилась я в этом, когда Рая по секрету мне сказала однажды, что он хочет ставить новый аттракцион, в котором лошадь в женщину превращается и наоборот. Такая вот фантастика пришла к нему в голову. Точно, думаю, без шаманства тут не обойтись. Выписывает он, значит, из Индии или из Непала, не знаю точно, уroda какого-то допотопного в чалме и зеленом долгополом халате и начинают они по ночам маркобесием заниматься. Арену кольцом факельных огней окружили, дурман-туман клубами вьется, барабаны гремят, тени

адские пляшут, ничего толком не разобрать. И вдруг, будто из-под земли, выбрасывается на манеж тройка, а за ней, стоя на двух лошадях и держа в руке длинные поводья, мчится богиня Эпона, покровительница лошадей. Вся в белом, золотой высокий шлем сверкает драгоценными камнями. Один круг, другой, третий... И вдруг — музыка туш, все меркнет. И богиня на наших глазах превращается в лошадь.

«Постойте, постойте, — вскрикнул вдруг Нафталий Петрович. — Я ведь это представление видел. В Саратове, кажется... Ну да, я там был в командировке, ревизовал мебельную фабрику. Директор мне пропуск достал в цирк, я в первом ряду сидел. И все это чудо своими глазами видел. Так это Рая была? Рая?!»

А больше ничего не припомните, спрашиваю его и глубоко так в глаза заглядываю. «А что вы имеете в виду, мадмуазель Зиновия?» — забеспокоился, заерзал на стуле Нафталий Петрович.

А мне все Раиса рассказала. Когда закончилось представление, и артисты на парад-алле вышли — с цветами, лентами, воздушными шарами — она тебя увидела. В первом ряду. И остолбенела — там, на манеже. А в кулисах мне на плечо упала. «Он! Он! Нафтик! — кричит, сама не своя. — Прошу тебя, Зиновия, узнай его адрес». Узнала. Гостиница «Волга». № 1127. И вечером она пошла... К тебе.

«Нет, это не могла быть она, нет!» — прошептал Нафталий Петрович. — Размазюканная, в черных очках... Нет, вы все врете!» Он вскочил со стула, зашагал по комнате туда-сюда.

— Ты Нафтика видел? — сказала я ему. — И в честь кого ему такое имя дали, ты теперь понял?

Он схватил меня за обе руки. Стиснул до боли. Покаянись, говорит, старая ведьма, что не врешь.

Святая правда, говорю, Богом клянусь. Она мне все-все рассказала. В примерку позвала меня на следующий день, лицо страшное, от слез опухшее, сигарету за сигаретой смалит, глаза красные. Что делать, Зиновия? А в примерках у нас стенки фанерные. Кто-то ушко приложил, Цыге донес. Вызвал он

Раю к себе. Не бил, не кричал. Глазом прожег ее насквозь и сказал только: «Конякой останешься, тварь. Навечно». И уродец этот, который при нем, колдун непальский, закричал, смехом зашелся. Страшно ей стало, ведь Цыга на ветер слов не бросает. И в тот же день, с одним чемоданчиком, убежала она от него.

«Я все понял, — сказал тогда Нафталий Петрович и обхватил голову руками. — Он сделал свое черное дело. Рыжая лошадка возле гастронома... Она сказала мне: «Здравствуй, Нафтаулька». Негодяй! Я убью его! Рая! Раечка!» С этими словами он бросился вон из комнаты. Больше я его, гражданин судья, не видела и ничего о его смерти не знаю».

Из показаний Бориса Борисовича Медового:

«С Нафталием Петровичем Балясниковым мы были соседями и добрыми друзьями. До тех пор, пока он не упал во время нашего оздоровительного бега. Несмотря на то, что я оказал ему медицинскую помощь, падение, видимо, вызвало какие-то необратимые изменения в его психике. Сожалею, что я не настоял на энцефалограмме и других исследованиях головного мозга. Потому что в поведении его явно обозначались синдромы психопатологического расстройства (навязчивые видения, нечеткость сознания, спутанность памяти и т. д.). Я понял, что он нуждается в психотерапевтическом лечении. И чтобы проверить адекватность его мышления, во время его рассказа о девушке, которую он любил в юности и якобы встретил, показал ему свою свадебную фотографию. И он узнал свою знакомую в моей невесте, подтвердив тем самым мои наихудшие подозрения. В связи с последовавшей за этим ссорой мы больше не общались и я, к сожалению, не смог инициировать его медицинское обследование и лечение.

Последний раз я видел Нафталия Петровича в воскресенье 24 октября 1990 года. Он прибежал ко мне, крайне взволнованный, в руках у него была банка с краской, он выкрикивал какие-то непонятные фразы, обрывал их на полуслове, это был какой-то ужасный бред, полное безумие. Он кричал, что моя

жена, а его девушка превращена в лошадь, что у него есть сын от этой женщины, который носит его имя, что надо немедленно нам обоим разыскать ее и того, кто якобы заколдовал эту женщину. И тогда мне ничего не оставалось больше, гражданин судья, как позвонить в психиатрическую больницу и вызвать машину. Чтобы удержать его в квартире, я сказал, что мы сейчас поедem разыскивать этого человека. Минут через двадцать пришла специализированная скорая. Санитары скрутили ему руки, он ведь сопротивлялся, и увезли. Дважды я навещал его в больнице, где ему проводилось соответствующее лечение. Его состояние явно улучшилось, он вроде бы успокоился, но выглядел замкнутым и слушал меня молча. А 16 ноября, когда я пришел в отделение, мне сказали, что накануне ночью ему удалось бежать и что его ищут по всему городу. Больше я ничего о нем сообщить не могу».

Подсудимый Цыганков Арсений Ильич показал:

«Я этого типа, Нафталия, не убивал. Придурок он, мозги вылетели. По собственной дурасти и откинул копыта. Возле моего дома это случилось. 16 ноября, часа в три, примерно. Я на балкон вышел, а он внизу. В халате больничном, снегом весь запорошен. На улице метет, ветер со снегом, вот-вот буря начнется. А он кричит что-то, кулак мне показывает. А у меня на балконе туша конская висела. Согым называется. Я, господин судья, раньше в цирке работал, а теперь мясным товаром торгую. Кониной в основном. У меня по всему городу заказчиков полно. Согым этот только вчера привез с фермы, уже и клиента нашел на всю тушу. Ну что мне с этим говорить, с чокнутым? Ушел я с балкона. А через минут десять — крик и вроде грохнуло что-то. Выскочил я, а сагым этот слетел с балкона — ветром, что ли сорвало — и прибил этого дурачка на смерть. Прямо на него упал, к асфальту припечатал. Бросился я вниз. Лежат они оба, и Нафталий этот, и коняка моя, ну точно как обнимаются. Еле удалось расцепить. Не пропадать же мясу. Так что вины моей нет, господин судья. Сагым сам слетел с балкона — ветер страшный был, оборвал

трос. Вашего Нафталия я пальцем не тронул. Однажды, на рынке, не буду врать, цеплялся он к моей лошадке, и я сказал ему, что он от мяса помрет. Но это шутка была. Шутка».

Решением Старомосковского районного суда Арсений Цыганков был оправдан в связи с отсутствием события преступления.

Нафталия Петровича Баясникова похоронили на Успенском кладбище в одной оградке с его мамой и бабушкой.

Борис Борисович разыскал мальчика Нафталия и усыновил его.

Новый муж *Доцентши*, зубной техник, покрасил штaketник на дачном участке в салатный цвет и даже исправил замок в садовом туалете.

Финита ля комедия

1.

Сбежала, да? Ключи — соседке, а сама... Эх, Ленка, Ленка, забубенная душа... Какой была, такой и осталась. Хоть бы записку оставила... Что же вам здесь не понравилось, фрау Ястремская из Дюссельдорфа? Чем не угодила вам сестра Зина, которую вы даже видеть не пожелали? Убрала квартиру, стол, вижу, приготовила, старалась, вроде. И что же? Снова муха це-це укусила? Снова эти ребусы — загадки?.. Ну, разве нормальный гомо сапиенс отмочил бы такое? Не повидавшись, не объяснившись — бац дверью и точка. Нет, увольте — этот театр абсурда не для меня. Ушла и катись, скатертью дорожка!

Да, позвонить... Тамара Львовна? Это я, ага, уже дома. Как Миша? Лучше? А температура? Все равно, Тамарочка, полоскать горлышко надо. Лучше фурациллином. Что? Я ему покапризничаяю. Дайте-ка ему трубочку. Алло, Мика! Ты что обещал маме? Про «не хочу» я и слышать не хочу. А стишок выучил? Готов? Ну, давай, сынок. Внимание! Мотор! ...Не «золотая», Мишенька, а «златая»... «Златая цепь на дубе том». Нет, Пушкин не ошибся. Так в старину говорили. Ну, дальше... Что? «Леший» — тот, кто в лесу живет. Так... Молоточек, дальше учи. Скоро приеду в Керчь и заберу тебя. Маме тоже без тебя скучно. Твоего друга Сережу еще не видела. Хорошо, сынок, передам... Целую тебя, лягушоночек. Пока!

2.

Алло, «Интурист»? Администратор? У вас не остановилась случайно Елена Ястремская из Германии? Нет?.. А как мне туда позвонить? Спасибо. Гостиница «Космос»? Будьте лю-

безны, Елена Ястремская у вас не проживает? Из Дюссельдорфа. Нет? Ну, извините... Что? Нет, вы не ошиблись. Я Зинаида Ястремская. Спасибо, спасибо на добром слове. Как за что? За память. Простите, как вас зовут? Оксаночка, миленькая, вы не представляете, как меня тронули ваши слова. Этот фильм так давно прошел, а вот вы до сих пор... Спасибо... Нет, Оксаночка, сейчас не снимаюсь. Что вы, что вы! И зовут, и звонят! Отбиваюсь... А из принципа... Миленькая, да разве не ясно — почему? Вы что, телик не смотрите? Что же вы спрашиваете? Секс, чернуха, мордобитие... Куда же мне вписаться? Я ведь романтик, Оксана, да, да... А сейчас... Да заикнись я на экране про любовь — они же заржут — те, кто в зале. Копытами затопчут. Им только ниже аппендицита подавай... Вот и затворилась в монастыре, который сама себе выстроила. Так и живу... Правда, сейчас в интересную картину тянут — может, дам согласие, не знаю. История, Киевская Русь, княгиня Ольга. Не людишки, Оксаночка, а люди, че-ло-ве-ки. Не ловчат, не грызутся, а высокими чувствами одержимы. Древность, а как волнует. Знаете, чем дальше от нашей так называемой перестройки, тем лучше. Честнее, чище... Нет, еще не дала окончательный ответ, раздумываю. Спасибо, Оксаночка. Очень рада нашему заочному знакомству... Хорошо, я вам отвечу. И фото вышлю, обязательно. Ну, разумеется, с автографом. До свидания... Минуточку! Вдруг Елена поселится у вас, это сестра моя... Так вы сразу же позвоните, миленькая, не сочтите за труд. Спасибо, спасибо...

3.

Ну так... Сапоги однако жмут. Снять, расслабиться... А-а... Тут и коньячок! Очень кстати, ты, сестричка, постаралась. Ну что же, за встречу после долгой-долгой разлуки. А ты, наверно, мило выглядишь, малышка. Рада за тебя. Прическа прелесть, очень тебе, ха-ха, к лицу... И вся благоухаешь! Одуреть!.. Шанель номер пять? Или семь? А, восемь с половиной! Да, да, понимаю, все дело в этой чертовой половинке. Послушай, голуба... Поговорим с тобой хоть виртуально. Хоть помнишь,

кто тебе эту райскую житуху устроил в богатющей импортной стране?.. Спасибо, спасибо, родная... Нет, какие к черту нервы! Это я так... Хорошо сидим, правда, Ленка? Еще по капелюшке, да? Хорошо!.. Детство вспомнили, юность, зрелые годы. Помнишь, как ты... А я, помнишь? А ты? Ха-ха-ха! А я? Ха-ха-ха! Ой, умора! Ой, наговорились-натрепались! Ой, не могу! Ха-ха-ха!..

Уродина! Клиническая психопатка! Была и осталась ею! Лечу на встречу, а она... Все изгадила, перекрутила... Ну где мне тебя искать, дура? Где? В морги, что ли, звонить? Или посла германского из постели вытаскивать? Так, мол, и так, потерялась подданная вашей страны фрау Елена Ястремская. Яволь, ушла и не вернулась. Куда? Зачем? А у нее все просто — шиза в темячко стукнула и тю-тю!..

Вот идут люди по тротуару. Дождь прошел, вокруг лужи. Кто стороной обойдет, кто перескочит — по-разному. А вот, глядите, чьи-то ноги по лужам колошматят: брызги разлетаются, а человеку все нипочем. Летит напролом, море по колено, безумной мухой укушен, чокнутый. Юрий Юрьевич говорил: таких в мире сорок миллионов. Скрытых, явных, со сдвигом в общем... Им на свою жизнь наплевать. Инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Вперед, по лужам! Ни мечты, ни честолюбия! Тебе ведь почти сорок, девочка. А чего ты добилась? Помню, в детстве: «Леночка, кем ты хочешь стать?» — «Паликмахелом». Если бы... Из комсомола перперли, аспирантуру бросила. Санитарка, машинистка, а что дальше? Посмотрите налево, посмотрите направо — экскурсовод с мегафончиком. А годы все идут, идут... Мама ее сильнее любила, чем меня. А почему? Убогих, увечных всегда ведь жалко. «Не ругай Лену, Зинуля, — говорила мама, — девочка себя ищет». Как же, доискалась. Нашла свой путь — прямо в следственный изолятор. А горел бы огонечек внутри, не листовки бы разбрасывала, а делом занималась, делом! Тысячи карточек написала по своим муравьям, а как до диссертации дошло,

до дела — пшик ярким пламенем, и точка, сгорела. Студентики, диссидентики — это все от нищеты духовной...

4.

А у меня на это времени не было. Вкальвала по-черному. Два года в тюзле отпахала. В голове Офелия и Дездемона, а на сцене прыгай та гавкай. Без просвета. Ну что делать? А тут вдруг Сережа Старостин в театр приходит, кинорежиссер известный. С сыночком своим. А мы «Айболита» играли. Десять мартышек на сцене — скачут, кувыркаются. А Сережа в театральную программку заглянул, а там маленькими буквочками: «Третья мартышка — 3. Ястремская» ... Передал через помрежа визитку, а в ней приписка, пару слов: «Четвертый павильон, тогда-то и тогда-то. Приходите, жду». И утвердили меня на Катьку-трактористку. Фильм — на весь Союз! От Бреста до Камчатки! И пошло-поехало. То в одну картину зовут, то в другую. В театре, естественно, на дыбы: или мы, или кино!.. И ушла третья мартышечка, лапкой помахала, адью! И началась жизнь кочевая. Гостиницы с тараканами, палатки, автобусы в непролазной грязи, бесконечные аэропорты, вокзалы,.. Но и другое было! Как сдвинем у костра алюминиевые кружки — и осветители, и актеры, и ассистенты, все киношное наше братство, и гитара, и песня, и звездочки ресничками мигают, и все на свете трын-трава, кроме этой вот минуты... «Есть только миг между прошлым и будущим...»

Ну и фильмы выходили — один за другим. Заслуженная, народная. Потом лауреат... Да разве в этом дело? Люди любили меня. А если честно сказать, обожали. Не рецензии, не звания — вот что дорого: по улице идешь, а тебе все улыбаются — узнают... А вот Ленке, сестричке, мое кино не нравилось. Губочки свои скривит, бывало: пропаганда, мол, то да се. И диссидентики, дружки ее, тоже скептички хихикали в молчалки свои косматые. А я плевать хотела на этих придурков бородастых! Не для них выламывалась — для людей! А люди мое кино любили. Пели песни, которые я пела. Звала их в Уренгой, на БАМ, к черту на кулички. И они ехали, бросали

родные края и мчались искать свое счастье. И когда передвижка привозила в таежную глушь мою новую картину, праздник это был. Забывали они про свои вагончики и бараки, про голодуху и нечеловеческий свой труд, про обмороженные пальцы. Жить я им помогала. Хоть на миг забыться, выключиться из этой сучьей жизни — без водки, без анаши, одной только силой искусства!

5.

День за днем крутилось мое кино — фантастический калейдоскоп! Приготовились, Зинуля! Внимание! Мотор! И я уже не я, не Зина Ястремская. У меня уже другое лицо, другая жизнь....Я доктор Вера, эпидемиолог, прилетела в горный аул спасать людей от холеры. Кружит вертолет, не может сесть — шквалы ветра заносят его на скалы. Ревет мотор, топливо на исходе. Что будем делать, спрашивает пилот. «Выбрасывайте трап!» — орет ему докторша. То есть я. Пилот машет головой: я, мол, за вашу жизнь в ответе. — «А я приказываю вам!» — кричит докторша, голос ее срывается, она чуть не плачет... Казиханов, оператор, такой крупняк поймал — натуральные слезы, без дураков! «Гениально! — завопил Виктор Кириллович, второй режиссер. — Вивьен Ли и на пятом дубле такого бы не сотворила». А я уже на трапе, чемоданчик в руке, трепыхаюсь между скал. Не дублер, не каскадер, а я, Зина Ястремская, мамина доця, которая, мышку завидев, на табуретку вскакивала, — раскачиваюсь сейчас над бездной, дико страшно, а ветродуи снизу гудят, платьице мое трепещет на прелестных ножках — чуть-чуть, чтобы только коленочки видны были, не так как нынче — аж до самого пупа! А внизу уже горные жители ловят меня на руки, лопочут что-то на своем братском языке — без кинжалов, представьте себе, без автоматов Калашникова и без установок «Град». Таким оно было, мое кино!..

Или — внимание, мотор! Я Джессика Стивенс, журналистка. А на самом деле матерая разведчица, приехавшая в Советский Союз по заданию ЦРУ. И надо мне выйти на очень засе-
кренного молодого ученого-атомщика Костью. А я красоты

обалденной. Сейчас бы сказали: секс-бомба. А тогда про такие бомбы еще не знали. Мордашку мне гримеры сотворили — ну, мимо не пройдешь! Настоящая леди, но со следами порока, как и положено разведчицам международного класса. Одели меня, конечно, по высшему разряду, чтобы зритель не сомневался, что я оттуда, из-за бугра. Вплоть до трусишек — все в валютке закупили. Лишь бы запал на меня, прожженную, молодой и неискушенный в любви талантливый ученый. Ну вот, охочусь я за ним, за этим засекреченным Костьей. И, наконец, прикалываю его. В ресторане. Там его шеф, почтенный академик, отмечает в кругу друзей не знаю уж какое многолетие. Я тут как тут, за соседним столиком. Направляю свой вражеский взгляд на Костю. Не видит. Пьет, жует. О'кей, Костя, ты еще не знаешь силу моих шпионских глаз! И снова — лазерный луч на соседний столик. Вижу — вилку положил, шейер вертит, не по себе. «Костя! — мысленно зомбирую его, — я здесь, дарлинг. Люк эт ми». Сработал лазер. Увидел меня мой Костя, стусебался от красоты моей. В судака заливного уткнулся, бедный, ни жив, ни мертв. Потом робко-робко голову поднимает — и на меня — зырк. Тут я уже губки свои обольстительные включаю... Хоп! Понял. Ответил. Полный фужер коньяка налил. Опрокинул! О, сейчас начнет действовать! Еще один лазерный пучок. И улыбка — откровенная, сулящая. Встал из-за стола, урра! А режимный отдел? А допуски? Все из башки вылетело. Идет по проходу, качается, все ближе и ближе... А вдруг не решится, вдруг мимо пройдет? Упустить шанс? Ни в коем разе! Надо помочь молодому гению. Вынимаю из сумочки платочек и — случайно роняю на пол. Ах! Отработанный шпионский прием. Костя нагибается, я тоже. «Руки их встречаются», — как образно написано у Гарика в сценарии. И вот он уже мой... «Костя, ай лав ю»... Понял меня, с английским у него все о'кей. «Джессика, ай лав ю вери, вери мач», — шепчет он мне. И сам того не понимает, что попался. Запутался мальчишечка в моей цээррушной паутине, все до единой боеголовки мне в постели выдал. «Косточка, ай лав ю» — «Джессика, ай лав ю вери, вери мач»...

Долго бились над финалом. Кто-то из них должен погибнуть. Только вот кто — Джессика или Костя? Худсовет решил большинством голосов убить Костю. Он предатель, он не должен жить. Гарик вклеил в сценарий потрясающий эпизод — смерть Кости под вагоном метро на станции «Площадь Революции». Критики были в восторге: смерть на рельсах — это, если вдуматься, сильнее, чем у Толстого в «Анне Карениной»: там любовный треугольник, чисто семейное дело, а у нас судьба социалистического Отечества. Людишки в кинотеатрах ревели. Человечный был фильм, с душой, успех был колоссальный...

6.

Еще коньячку... Прошлое замелькало, кадры далекие пошли... Помню, после фильма, мама мне однажды говорит: «Звонил тебе Павел Андреевич, просил срочно зайти». Созвонилась, иду в Большой дом. Павел Андреевич вторым работал, по идеологии. Доктор философских наук, умница, эрудит, очень приятный мужчина. Дружки мои в кавычках черную сплетню пустили про нас: будто я его подружка интимная, будто он меня повсюду двигает. Мура собачья, не хочу даже думать об этом! Пришла, целует ручку, садись, садись, Зинуленька, давненько тебя не видел. Про фильм спрашивает, то да се... Прекрасная работа, говорит, рад за тебя. Достает из сейфа бутылочку, налил мне, себе. Ликер французский. Он кроме ликера ничего не пил. Пригубила я, божественный! Из роз, до сих пор на губах... Вдруг начал про сестру спрашивать. Где работает, дружны ли мы с ней. На кой черт ему Ленка, думаю. А он ящик стола открывает и кладет передо мной фото. Боже, да ведь это она, сестричка моя! У памятника, среди толпы. С плакатиком на шее: «Свободу политзаключенным!». Эту фотографию, говорит, мне из органов передали. Участники этой политической демонстрации привлечены к ответственности. А сестра твоя пока на свободе. «Ты поняла, почему?». Пожала плечами. «Да потому что она сестра знаменитой Зинаиды Ястремской. Которую мы все любим и кото-

рой гордимся. Вот почему». Закурили, молчим. А что я сказать могу, что? Все во мне бурлит, ходуном ходит. Паразитка ты, Ленка, вот, оказывается, чем голова забита. Не только себя гробишь, но и меня уже достала, да? «Вот что, Зина, трогать ее пока не будут, я лично команду дал. Но ты должна с сестрой поговорить. Поймет — хорошо. Заупрямится — пусть на себя пеняет».

Все поняла. Примчалась домой, полезла на антресоли — скумекала, где весь самиздат хранился. Бердяев какой-то, Грушевский, Ницше, Солженицын, конечно, еще какие-то враги народа — полный набор... Листаю, искренне уразуметь хочу, чем это сестричка моя голову себе забивает. Читаю, мозги выворачиваю — не могу врубиться в мракобесь эту. А ведь не дура беспросветная — и диамат грызла, и истмат. Приходит Ленка. Увидела свою макулатуру — как тигрица бросилась: «Отдай! Как ты посмела!» — «На! И чтобы этой мерзости в нашем доме не было!». Накричались до хрипоты, потом всю ночь кофе на кухне пили, шептались, чтобы маму не разбудить. «Ты, Ленка, понимаешь, чем это пахнет?» — говорю ей спокойно, чтобы до сознания дошло. А она про друзей мне своих рассказывает — какие они все замечательные, умные, честные. Что придет, мол, время и гордиться ими будут, когда все рухнет. «Что рухнет, Ленка?» — «Все, Зинуля, все. Как карточный домик рассыплется, увидишь. Ведь только страхом все держится». — «Вот что, сестричка, да будет тебе известно, что органы тебя уже под колпаком держат. Вот-вот за решетку упрячут. Дети неразумные, с кем вы тягаться решили? Придумали себе забаву — шифры, явки, листовки. Прекрати это, Ленка. Если себя не жаль, то хоть обо мне с мамой подумай». Назавтра унесла свой самиздат, я на съемки укатила, на все лето. Приезжаю... Боже! Мама в больнице с гипертонией, а Ленка... Ленка в тюрьме. Что делать? Мама в слезах. «Зинуля, доченька, ты старшая, спасай Ленку». Всегда и всюду я. Кому путевки, кому машину, кому место на кладбище... Нарисовала мордашку, пошла к следователю. Встречает меня в вестибюле бравый майор Кияшко. Заикается от смущения, за локоток взял, в кабинет к себе ведет. Я ему про Ленку, а он мне про

мою красоту, аж задыхается. Я про то, что по глупости она вляпалась, что вытащить надо ее из дерьма этого, а он ладонь свою мне на ручку кладет и глазки щурит. Пришлось осадить майора — у меня этот взглядик ледяной давно отработан. Присмирел следователь Кияшко, к делу перешел. Не понимает, говорит, ваша сестра Елена, что ей грозит. Не хочет признать свою вину, помочь следствию. Замордуют ее в лагерях, а жаль. Я, говорит, ее к раскаянию подталкиваю, а она мне за это бац-бац по мордасам. «Как?» — «Да вот так. В морду мне, извините... Пощечину мне влепила, еле втроем с ней управились». «Вот психопатка, — говорю. — У нее эти бзики еще в детстве были». «В детстве? — вдруг вскрикнул майор. — Что же вы молчали, дорогая моя?». Вскочил и ко мне, на самое ушко: «Надо провести психэкспертизу и признать ее неменяемой. Поняли? Нев-ме-ня-е-мой! И тогда — в больницу! Все же не лесоповал, правильно? Года через три выйдет — и полный порядок. Судимости нет, прописка сохраняется, поняли? Только я вам ничо не говорил. Действуйте!»

Начала перебирать знакомых — и в ЦК есть свои люди, и в министерствах, и на базах всяких. А психиатров — хоть убей, ни одного!.. Вдруг вспомнила. Снимали мы картину на Памире. А рядом ребята в палатке жили, альпинисты, из Ленинграда. Перезнакомились, конечно. Один из них, кажется, психиатром был... Юра... Юрий Юрьевич... Фамилию вот никак не могла вспомнить. Рыскала по всем книжечкам — нашла! Он мне на прощание телефон записал. Звоню. Три года прошло, а не забыл. Был завотделением, а сейчас главврач психбольницы. То, что нужно! «Юрий Юрьевич, родненький, спасайте!» — «Зиночка, что стряслось?» — «Это не телефонный разговор. Приезжайте, умоляю вас!». Прилетел. Все, что надо, сделал. Подписал, оформил, взял Ленку к себе. Конечно, психушка не санаторий «Кавказская Ривьера», но ведь лучше, чем Колыма. Выйдешь, думаю, в ножки поклонись старшей сестре... И вот — поклонилась, даже повидаться не пожелала. Самый большой враг — это сестра Зина.

7.

Стоп, кто это звонит? Не Ленка ли? Алло, слушаю! Да, да... Ах, это вы, Андреас? Нет, вашей женушки нет дома. Леночка ушла... Да, да, вег!.. Наверное, придет поздно. Что ей передать? Нет, у нее все в порядке. Хорошо, ауфвидерзеен... Ой, балда я, балда! Где этот номер, ах, вот. Гостиница «Космос»? Оксаночка, это вы? Миленькая, я вам не ту фамилию назвала. Забыла, что она теперь не Ястремская, а фрау Освальд. Да, по мужу... Елена... Нет, Хелене Освальд. Хорошо, я жду. Что? Есть? Ну вот видите... Номер 403, записала. А как туда звонить? Минуточку. Спасибо, Оксаночка, спасибо... Так, собрались! Мотор!.. Алло, Лена... Ты меня слышишь? Это я, Зина. Что ты молчишь? Жила у меня, все нормально было, что случилось? Ты что, не хочешь встретиться? Уедешь, не повидавшись? Скажи, я в чем-то виновата перед тобой? Ну что молчишь, мы ведь сестры, господи, ну самые же родные, Ленка...

8.

Зачем же трубку бросила, вот дрянь. Да нет, это хорошо: как реву не слышит. Да, да, самыми настоящими слезищами... Тебе тяжело, а мне, думаешь, легче? Привыкли на все лады: Зина счастливая, Зина знаменитая... Не отказываюсь — была. Но ведь все в прошлом, если говорить честно. Фильмы, фестивали — теперь все мимо. Была актриса Зина Ястремская — и нет ее. Будто и не было никогда. За семь лет ни одна собака со студии не позвонила. Забыли, вычеркнули, живую похоронили. Не нужна, типаж не тот, отзвенело, мол, Ястремочка, твое застойное времечко... А я вот выпью за него коньячку. Ах, хорошо пошел... За фильмы мои, которые в железных коробках сейчас пылятся. А там девочки мои родные, песни их звонкие. Смоют их скоро, на утиль сдадут, на серебро. Не нужно, говорят, теперь такое кино. Лакированное, стерилизованное, пастеризованное, профильтрованное — уж не знают, каким бы словечком похлеще душу лягнуть... Получила как-то приглашение на фестиваль. Не то из Казани, не то из

Рязани. Какой-то клуб друзей кино разыскал меня. Держу я этот билетик в руках, сердце прыг-прыг, ну до слез! Помнят, значит, меня люди. Не вешай носа, Зинуля. Мчусь туда — в Казань или Рязань эту. И получаю там обухом по затылку. Пригласили меня эти умники, как оказалось, на фестиваль тоталитарного кино. То-та-ли-тар-но-го! То, что при Гитлере снималось, при Муссолини, в Испании при диктатуре и попеременно с ними несколько моих картин. Здорово сообразили друзья кино? Смотрите, люди, вот Эльза из «гитлерюгенд», вот китайская девушка Линь, которая настучала на своего брата, а это наша соотечественница, комсомолка Катька. Все они одного поля ягоды, это идеологическая зараза, хуже СПИДа. Сколько, мол, честных душ было отравлено этой пропагандистской ложью! Такой вот милый фестивальчик, значит. Гады, с кем же вы мою Катьку сравнили? Кинулась я собирать вещи. А они еще просят, умники эти, чтобы я на конференции слово сказала, как я теперь, в эпоху гласности и плюрализма, отношусь к своим глупым идейным фильмам. Вот чего придумали! Чтобы я публично отреклась от Катьки своей, от Комиссарши, от доктора Веры, от всех-всех! Уехать, думаю, немедленно уехать! А потом, ночью, решила: в кусты прятаться? Да ни за что! И вышла я перед залом. И слово сказала в тишине гробовой. Примерно так: «Один мой знакомый, партийный секретарь, теперь брокером стал на бирже. А профессор, который всю жизнь плановое хозяйство проповедовал, сейчас к рынку призывает. Вы и от меня ждете, что я на сто восемьдесят поверну? Зря ждете. Девочкам своим я изменять не собираюсь. Глупые они? Значит, и время такое было. Верили в светлое будущее? И я с ними верила. Что было, то было. А отрекаться от них не буду. Не ждите!». Аплодисментами проводили меня. А я всю ночь в поезде проревела. Ну чем виновата я? Или Катька? Или комиссарша Тоня? Чем виноваты девочки мои, что жить не жили, любить не любили, что трактора и гектары им всю красоту земли и неба заслонили? Почему вместо слов человеческих я жвачку резиновую жевала? Популярная тоталитарная актриса! Ха-ха-ха!

Ушла жизнь, уже сорок с хвостиком, кругом пустота и мрак — все, конец... Ольга, княгинюшка, последняя моя надежда, огонечек в кромешной ночи. Вымолила эту кинопробу. Не роль еще, а лишь возможность показать себя. Народная, прославленная, а унижалась, как девчонка за первую рольку. Пришла на студию — боже, сколько же лет я здесь не была! В одном павильоне молоденькие телки с торчащими сиськами, в другом ребята крутые в камуфляже, стрельба. Суетятся ассистенты, бегают осветители, операторы — как когда-то вокруг меня. Полным ходом живет другое кино, не мое. Вошла в павильон, где назначена проба. Шесть претенденток, я старше всех, Лина Резниченко — фаворитка директора, тоже надо учесть. Шансов — мизер. Боже, дай мне силы пробиться, я должна получить эту роль, должна! Провал — это смерть!

Почудилось или на самом деле? Будто колокол... А, тут церквушечка есть рядом. Маленькая такая, неприметная... Только ведь склад там дровяной, неужто она заговорила?.. А славно, славно на душе, когда колокола играют... Кается княгиня, грешница великая, и мне велит душу облегчить. А почему мне? В чем таком страшном я виновата? В чем? Ленку сумасшедшей сделала? Так ради нее же... И все? Нет, Зина, не годится так. Выкладываться — так до доньшка. От всей копти души очистить, отскоблить. А коньячок поможет... Давай, давай вспоминать, милая, как все было. Шаг за шагом, без зигзагов — напрямую. Вот взяла ты ленкин самиздат с антре-солей, да? Вот Ленка пришла. Вот вы сидите на кухне, кофе пьете. О чем ты думала в ту ночь, беседуя с ней? Только честно. Вспомни... Ну что же, если честно... Поняла я тогда... впервые ощутила, что мы только по крови сестры, а по всему прочему... Ну нет нам мира под одной крышей. Либо я, либо она. Стыдно признаться, но тогда, в ту минуту, думала так. За ее диссидентиками ощутила силу. Не игру, как раньше считала, не бирюльки. Силу, которая нас отшвырнет и установит свои порядки. И если им, диссидентикам, хорошо и привольно будет, значит мы насмарку. И другого быть не может...

И все, Зина? Да нет...Пошли дальше... Мы только что сдали «Сентиментальный романс». Фильм удался. Его выдвинули на Каннский фестиваль. Я была на седьмом небе. Дворец кино, набережная Круазетт! Сколько мне доводилось читать об этом, а теперь... Увидеть и умереть! Марчелло за дружеским коктейлем, Софи Лорен, Ален Делон, Габен!.. И я, Зинка Ястремская, третья мартышечка в недалеком прошлом, среди звезд мирового кино! Балдеж, умопомрачение — и вдруг... Арестовали Ленку, шьют политическое дело, тень падает на меня... Не тень даже, а жирное черное пятно. Снова звонок из Большого дома, снова Павел Андреевич. Без улыбочки, без ликера, строго и коротко: «Ты же понимаешь, что я не могу направить за рубеж сестру политзаключенной. Я тебя предупредил, Зина». И Марчелло, и набережная Круазетт — все враз померкло. Гадина же ты, Ленка, думаю. Я строю, ты ломаешь. Ведь не только на фестиваль — на пушечный выстрел к студии не подпустят. Все, гражданская смерть. Даже фильмы под замок спрячут. Уж я-то их порядочки знаю!.. Шаг за шагом карабкалась я по отвесной скале. Где за камень цепляюсь, где за куст ухвачусь. Выше, еще выше... Ступенечка за ступенечкой, сантиметрик за сантиметриком. С боем пробивалась — где талантом, где лестью, где трудом нечеловеческим, где постелью... Да, черт побери, и постелью расплачивалась, и абортами, от которых я стала бесплодной сукой! Да! И все это забыть? Псу под хвост ради забав моей дорогой сестрички? Ради ее бородастых диссидентиков? Ну уж нет, не на такую напали! Ее место в сумасшедшем доме. Не преступница — просто чокнутая она. А раз так — ни тени, ни пятнышка на мне нет и быть не может. Разве я виновата, что сестричка заболела? Нервный стресс, надо полечиться, и все будет в порядке.

И вышло солнышко из-за туч, осветило Лазурный берег в далеком городке Канне, Дворец кино, набережную Круазетт...

Так было. Ради себя, ради своей славы пихнула Ленку в психушку. Не отрицаю. Но ведь и для нее выхода не было. Лагерь, лесоповал — что ей еще светило? С ее сердцем верная гибель... Мама только ничего не могла понять: «Зинуля, доченька, ну разве наша Ленка психическая? Кто выдумал это? Искалечат ее в психушке. Езжай, вырви ее оттуда». Тогда впервые полетела в Ленинград, к Юрию Юрьевичу. Поверьте мне, говорит он, я держу ее здесь не ради вас. Она действительно больна. У нее сформировалась типичная параноидальная структура. Инакомыслие — это ведь не диагноз КГБ. Это сдвиг в психике, обусловленный болезнью мозга. Она продолжает жить в нереальном, выдуманном мире: свергает режим, борется за правду. Возвратить ее в нормальное общество пока невозможно... И переводит разговор на другое: «Расскажите-ка, Зиночка, о фестивале». — «А чего рассказывать? Провалился наш «Сентиментальный романс», вы же читали. Приз за операторскую работу, больше ничего не заработали». — «Не беда, Зиночка, даже само участие в этом фестивале престижно. Увидите, это только начало». — Будем надеяться, говорю. И снова о Ленке. «Я хочу повидаться с сестрой, Юрий Юрьевич». — «Ни в коем случае. Можете только посмотреть на нее во время прогулки, из моего окна».

Стою, гляжу. В двенадцать их выводят во двор — десятка три женщин в драных халатах. Нечесанные, страшные. Ходят по кругу, в землю смотрят. А двое руками машут, как крыльшками. Улететь, что ли, хотят? А где же Ленка, спрашиваю. — «Как, вы не узнали ее? Вон, у стены, в небо смотрит». — «Это Лена? Наша Лена??» — «Ну, конечно». — «Мне кажется, что она...» «Вы не ошиблись, Зина, она на седьмом месяце беременности». — «Что же будет, Юрий Юрьевич, разве ей можно?». Пожал плечами. «Лишить ее права быть матерью мы не можем. Посмотрим, посоветуемся. Я вам сообщу». Ленка, бедная наша Ленка... Плачу, себя сдерживать не могу. Юрий Юрьевич быстро шторму задернул, от окна меня отвел, таблетку дал, чтобы в себя пришла. «Не волнуйтесь, Зина, я лично

буду наблюдать за ней. Все будет хорошо. А вот вам отвлекаться надо. Ваш эмоциональный мир очень нежен и раним. Его надо беречь».

11.

Назавтра он повез меня на Финский залив — там у него яхта стояла, «Афродита», покачивалась на тихой волне. Поставил паруса, мы ушли в глубину моря, в туман и тишину — сказка! То были два разных человека — Юрий Юрьевич, профессор психиатрии, в белой шапочке, среди своих идиотиков и шизофреников, и этот синеглазый гигант Юра с коричневыми мускулами, «белокурая бестия», как я стала называть его потом. С того дня, среди свинцовых вод залива, он вошел в мою жизнь — да так, как раньше никто. Словно мечом рассек на две части: до него — и сейчас, с ним. Сколько мне тогда было? Дай Бог памяти... Ну да, тридцать два... Так вот, жила я до этих тридцати двух, не зная и не ведая, что я женщина. Не депутат, не актриса народная, не борец за мир во всем мире, а женщина, баба, у которой и грудь, и ягодицы, и губы — все, все сотворено Богом для любви. Нет, конечно, не была я принцессой Недотрогой. Были, естественно, мужики — много ли, мало — неважно, все мои. И сауны с шампанским были, и охотничьи домики, и семью ради меня бросали, и в петлю лезли — Боже, чего только не было! А вот такого, как с Юрой, никогда! Будто с цепи я сорвалась. Как собака, каталась и визжала от счастья у ног хозяина. Мы были созданы друг для друга. Само Небо соединило нас... Небо? А если бы с Ленкой ничего не случилось? Ведь и Юры тогда не было бы в моей жизни. Никогда, никогда! Да разве можно в такое поверить? Зачем же тогда жить?

12.

Вернулась из Питера на неделю позже, чем обещала. На студии переполох. Меня искали, нужно было срочно проводить собрание, очередной раз пригвоздить к позорному стол-

бу ренегата Сахарова — я ведь была парторгом студии. Ушла в густой сумеречный туман «Афродита». Загулявшую собаку посадили на цепь, защелкнули ошейник, шипы сдавили горло. Я думала только о встрече с Юрой. Но из-за мамы никуда уехать не могла. Каждую ночь вызывала «скорую», мама угасала с каждым днем. 16 августа ее не стало. Без Ленки, без мамы, одна в этой пустой квартире... Впервые черная немочь, депрессия овладели мною. Отказалась от съемок, сутками не вставала с дивана, не отвечала на телефонные звонки... Меня, как и Лену, спас Юра. Приехал, сел рядом, взял мою руку в свои сильные добрые клешни, молча и глубоко заглянул в меня, в самое нутро, своим небесно-синим взглядом... Юра... У него была интересная философия. Сам ее придумал. «Скалоизм» — так он ее называл. Человек, считал он, должен быть скалой — неприступным камнем, о который разбиваются волны житейского моря. Не поддаваться! Радоваться солнцу и каждому дню! Ведь жизнь человека случайна: ты мог родиться, а мог никогда не появиться на свет. Это подарок, который дан тебе свыше. Наслаждайся этой игрушкой, другого подарка ты уже не получишь... Он был режиссером наших встреч — сладких, мучительных, безумных ночей. Стоило нам очутиться наедине — то ли в купе, то ли в какой-то заброшенной хижине, в лесу — безразлично где, как мы, повинувшись какой-то неведомой, необоримой силе, впивались друг в друга... Изредка, как молния в звездном небе, пронзала мысль о Ленке. Юра избегал говорить о ней. «Все идет нормально, надеюсь на лучшее». — «Политических стали выпускать, Юра. Может, и Лену...» — «Она не политическая, Зина, она больная, ей у меня лучше». — «Ты просто боишься, Юра, что, если она выйдет, я тебя брошу». — «Нет, Зина, хуже всех будет тебе и Мише. А меня ты не бросишь никогда». Мы поссорились.

13.

А, звоночек! Ленка? Одумалась, зайка? Слушаю... Кто-кто? А, это ты, Сереженька?.. Так поздно, а ты... Нет, Миша еще не приехал. Что? Какой пистолет? Ты у нас

оставил? Хорошо, я поищу. Ах, его уже нашли? Да, да, вот он... Тетя нашла? Которая здесь жила? Ты сказал ей про Мишу? И что... она ответила? Что оставит пистолет? И больше ничего? И сразу ушла? Понятно... Нет, нет, я слушаю, Сережа... Что ты, зайчик, уже поздно, давай на завтра. Хорошо? Договорились? Ну, до свидания.

Так, так, вот и открылся ларчик... Надо звонить. Где ее номер? Ага... 780-20-54. Алло, Лена... Только не клади трубку, выслушай. Это важно, это... Я знала, что так случится. Рано или поздно ты должна была узнать об этом... Восемь лет он был моим сыном, Мика, а теперь... «Финита ля комедия, погашены огни...» Он твой, твой... Можешь меня ненавидеть — у тебя на это полное право... Он в Керчи. Я оставлю тебе его адрес... Нет, Лена, я тороплюсь. Ну, мало ли куда? Может, на съемки, может, к черту на кулички. Так надо. Надо! Все, Лена, все... А меня прости, если можешь. И вот что... не забудь: у него с горлышком неважно. Обязательно покажи его лору. Все! Пока!

14.

Финита ля комедия, погашены огни.

Два зрителя последние, два зрителя последние. Два зрителя последние... зачем сидят они?

Смотрю на них я пристально, пытаюсь разглядеть. Какие ж это зрители, какие ж это зрители. Какие ж это зрители? Судьба моя и смерть.

Таблеточки, таблеточки... Куда я их ? А, вот они... Фу, гадость противная, фу! Зато хоть чем-то буду как Мерилин... как Мерилин... Мон... Мон... ро. Где ключ от детской, не забыть бы, вот он... Да заперла. От тебя., Ленка. Там ведь все игрушки его, фотографии. Могла бы догадаться. А теперь — на волю, на волю! Это мы с ним в Ялте. А это ... Да ладно, поглядишь. Уже не надо нам прятаться, Мика. Смейся, лягушоночек, все будет у тебя хорошо. За тобой тетя приедет, я ей адрес оставила... Да что я говорю: не тетя, а мама твоя. Да, да, ты должен называть ее мамочкой, а меня тетей. Тетя Зина, вот так,. Поменялись местами: тетя стала мамой, а мама — тетей. Смеш-

но, правда?.. Я не могу, сыночек, приехать за тобой, нет... Видишь, говорю «сыночек», как раньше, — сама путаюсь. А я на съемки еду, Мика. Далеко, мой мальчик. Очень далеко. А мамочку свою ты люби, как меня. Хорошо? Мы ей записочку сейчас напишем.

Жаль, Леноч, что не увиделись. А, может, и к лучшему. Каюсь, не хотела его отдавать. Своим хотела сделать. Сперва на время его взяла, пока ты из больницы выйдешь. Кутеночка такого, махонького... Потом «мамой» стал называть. Ну что было делать? Объяснить, что не мама? У всех есть, а у него нет? Мама, сынок, мама... А потом все заслонил собой. На любое преступление ради него пошла бы. Ты еще в психушке сидела, к выписке тебя стали готовить, про ребенка, конечно, молчок, погиб при родах, асфиксия. Я уж тут постаралась, визу тебе выбила. И когда ручкой махнула ты из вагона, только тогда успокоилась душа и стал он моим, навсегда моим. Приду, бывало, со студии — издерганная, злющая, а только его увижу — все мигом отлетит. Спасал он меня все эти годы. А тут ведь как раз все рушиться стало: страна, партия, все развалилось... А Юра... Юра мой на Шхельде погиб, с детской высотки сорвался — новичка спасал. Ну как бы я без Миши выжила? Поплавочек мой! Люби его, Ленка. Две матери — как бы мы жили, правда?

15.

Слушаю... Да, это я, Олег Петрович. Не узнала... Утвердили? Меня? На роль Ольги? О да, конечно! Я поняла. Завтра, в десять утра... четвертый... павильон. Да, записала... Спасибо... Олег Петрович! До свида... До свида...

Четвертый павильон... Четвертый... А тут звезды и море. Волны. Где ты, Юра? Дай руку... Я падаю... Чтврт павльон... чтвртпавльон...

Обвиняется в убийстве

Господин генеральный прокурор, я обращаюсь к Вам, ибо Вы последняя надежда моей отчаявшейся души добиться справедливости в нашей стране.

Я обвиняю господина Франца Кафку в убийстве моего единственного брата Грегора Замза. (Кстати, заметьте, что на самом деле этот так называемый «Франц» лишь ловко прикрывается нашим национальным именем. А по-настоящему зовут его Аншл. Да, да, Аншл... Именно это еврейское имя он получил в синагоге, когда, как все еврейские мальчики, проходил этот иудейский обряд. По-ихнему, это «брит-мила» называется. (Миленькое словцо, не правда ли, для этого дикарского обряда...). Не удивляйтесь, господин прокурор, уж я постаралась глубоко разобраться во всем, что представляет собой этот проходимец и авантюрист. Бумажечка к бумажечке, все подшито, пронумеровано.

Мы, семья Замза, и дед мой, и отец, отличались особой аккуратностью и тщательностью в ведении дел. И в том, что пять лет тому назад фирма, основанная еще нашим прадедушкой, прогорела, виноват не мой горячо любимый папочка. Нет, его доверчивостью воспользовались жулики и мошенники. Тоже, господин прокурор, тех же кровей, из того же самого аспидного паучьего племени. Разорили дотла, и он, бедненький, вынужден был лишиться себя жизни... А ведь ему было всего пятьдесят три года.

Сильный был мужчина, скажу вам, ухватистый, ему жить бы и жить. Однажды, помню, привел он нас с Грегором на ярмарку. Народу везде полно, не протолкнуться. А он раскидывает лудишек локтями, разбрасывает направо, налево — нам дорогу расчищает. Подходим мы, значит, к карусели. Детвора крутится на всяких там лошадаках и верблюдиках. Музыка гре-

мит, веселье. Мы с Грегором стоим, очереди своей дожидаемся. Вдруг папочка наш подходит к хозяину и что-то ему говорит. И на крышу карусели палкой своей показывает. Сперва спокойно говорил, вразумлял его. А потом, вижу, лицо кровью налилось, кулачищем своим перед хозяйским носом машет. Кричит, а что — не пойму. И вдруг — хватить за перила этой карусели, поднатужился весь и — поверите? Остановил крутилку эту на всем ходу. Со всеми лошадаками, слонами и прочими зверями. Машина ревет, тыр-тыр-тыр... Пых-пых-пых... А ничего не выходит, попробуй-ка, сдвинь нашего папочку! Хоть на сантиметр! Черта с два! Дети повыскакивали, ревут, никто ничего понять не может. А вот когда хозяин полез на крышу и установил там флаг нашей страны, с орлом, всем тогда стало ясно. Окружили люди отца, «ура» ему кричат, в ладоши бьют, пивом угощают. И помчались мы с Грегором на карусели уже под нашим германским флагом. Такой он был, родитель наш покойный.

Ну вот... Заехала я чуточку в сторону. Но это тоже вам знать надобно, господин прокурор. Потому что этот Кафка грязью облил нашего папочку. Будто он своего сына Грегора, брата моего, люто наказывал за малейшую провинность. И Грегор якобы его боялся, даже будто прятался от него в подвале. Ничего подобного, подлючая клевета. Ежели и применял родитель наш наказание, то всегда справедливо, по делу. Мальчишек сызмальства надо в ежовых рукавицах держать, а то повырастают, как же... Видели же, небось, на улицах. И курят, и пьют почем зря, и сквернословят. А Грегор у нас такой воспитанный был, послушный, скромный. Для себя лично никогда ничего не попросит. А почему? Так отец выучил. Помню, братик мой еще маленьким был, его даже, кажется, в школу не водили. Вот как-то проснулся он среди ночи. Может, приснилось что, не знаю. Только реветь зачем? А он криком кричит, воды просит. Ну сами посудите, ночью. Потерпеть будто не мог. Все спят, а он на весь дом: «Водички... водички дайте, пить хочу...» Разбудил отца, представляете, а тот с работы поздно пришел, уставший, естественно, заснул только. Вытащил он Грегора из кровати. Идем, говорит, сынок,

попьешь ты у меня, сколько душе угодно. И прямо в ночной рубашке повел его в сад, туда, где колонка водопроводная. На скамейку усадил и говорит: «Вот тебе ведро, пей до утра, сынок, хоть залейся». И на всю ночь его там оставил. Не бил, видите, боже сохрани, даже голоса не возвысил. А какой урок сыну, на всю жизнь! Жаль, не дал мне Господь детей, строила я бы их по струночке... Так вот, этот негодяй Франц, этот Аншл, называет отца нашего тираном и деспотом. По какому такому праву, скажите, он лезет в наши семейные дела? Его самого отец выгнал из дому, значит, было за что. Я теперь про этого Кафку знаю больше, чем он сам про себя знает.

Похоронили мы, значит, папочку, а маму нашу с тяжелейшей астмой в клинику определили. А вскоре и она, бедненькая, ушла в мир иной. Остались мы с Грегором вдвоем. Ему лет четырнадцать тогда было. Все на мои плечи легло, я ведь старшая. Как выкрутиться, думаю. Чтоб и с голоду не помереть, и образование мальчишке дать. И надумала. Девять комнат у нас было в этом нашем родительском доме на Шарлоттенштрассе сто девятнадцать. И одна мансардочка. Две комнаты я оставила нам с Грегором, а остальные стала сдавать. «Золотой олень» — так я назвала свой пансион. Эмблему и визитную карточку пансиона прилагаю. Красиво, правда?

Наняла кухарку, горничную — дело закрутилось на полную катушку. Гостям у меня нравилось: улица наша Шарлоттенштрассе прямо вся в зелени утопает, цветочки вокруг, озерко рядом с лилиями и кувшинками. Красота дивная! Солидные люди у меня в «Золотом олене» все лето жили, до глубокой осени, а зимой обычно молодежь наезжала: лыжи, каток, охота... Много годочков так пролетело, господин прокурор... Братец мой, Грегор, вырос, окончил с отличием гимназию (он ведь такой способный был!), поступил на воинскую службу, а тут война...

Он в кавалерийском корпусе служил. Крест железный дали за храбрость. А однажды, когда наши газ на французов пускали, нечисть эту всю на наши позиции понесло, обратным ветром. И Грегор мой случайно попал в это ядовитое марево. Несчастный... Нутро ему начисто отравило, глаза

тоже повреждены были. И списали его из армии, комиссовали, короче. Приехал он домой. А то куда же? Есть у него кто, кроме старшей сестры Греты на всем белом свете? Стали вдвоем ломать голову: что дальше делать, чем заняться ему. Мужчина ведь молодой, негоже дома сидеть.

Пошла я к своему давнему знакомому, Генриху Швегеншталлеру. Не хотела, честно говоря, а пришлось. Через себя пошла. «Здравствуй, здравствуй, милая Грета, рад тебя видеть. Входи, входи, дорогая». Слышали? «Дорогая...» Когда-то, в давние годы, я ему крепко даже нравилась. Я ведь в девичестве смазливенькой была, пикантной, щечки с ямочками — не то, что сейчас. Хотя и сейчас не так уж... Так вот, Генрих этот вился вокруг меня, как пчелка вокруг розочки, но женился, подлец, на другой. Выдру взял себе с выпученными глазами, Ульрику Шоллер. Дура непроходимая, но с миллионами. И теперь у него свое дело, да еще какое! «Зюддойчетекстиль»! Слышали, наверное? Фирма на всю Европу! Ну вот, рассказываю дальше. Принимает он меня в своем кабинете, кофе с бенедиктинчиком, пирожные и прочее.

«Послушай, Генрих, говорю, никогда я к тебе не обращалась, первый и последний раз. Прошу тебя, сделай что-нибудь для моего младшего брата Грегора. Был тяжело ранен, сейчас дома сидит, специальности никакой. Пристрой у себя, умоляю. Ты ведь все можешь». Так я к нему обратилась. Гляжу, а у него глазки в жирные щечки закатились и оттуда колючки уже выглядывают. «У меня, Грета, не санаторий и не богоугодное заведение. Каждый работник на моей фирме трудится за десятерых. Я тебе сердечно сочувствую, мне даже жаль твоего брата, он ведь защищал наше Отечество. Но благотворительность — это, извини меня, не по моей части». И вдогонку мне, когда я уже в дверях была: «Если хочешь, могу тебе по старой памяти помочь деньгами или еще чем-то...» Но я уже не слышала его слов... Шла домой, как шавка побитая. Негодяй, какой негодяй! И себя тоже крою на чем свет. За унижение, за то, что на поклон пошла. За то, что вздумала на нашей старой любви сыграть, дура! А ветер и холодный осенний дождь в лицо мне хлещут и все вокруг мерзко, мерзко, мерзко...

А дома брат. Открыл дверь. Молча посмотрел на меня и все понял. Ничего не спросил. А что спрашивать? По мне разве не видно? Вымокшая до ниточки, страшная. Глаза мокрые от дождя и обиды. Принес он мне белье сухое, сварил грог из рома с сахаром, согрелась я, отошла. А через три дня приходит открытка из «Зюддойчетекстиля» на имя Грегора Замза, моего брата, и предлагают ему явиться завтра к одиннадцати часам в кадровый отдел фирмы для переговоров. Ну, что вы на это скажете? Для переговоров! Не пропадает, значит, не уходит в песок первая любовь! Миллионы миллионами, а то, что было, ни за какие деньги никогда не купишь и не продашь!

И взяли мальчика моего на фирму. Стал разъездным агентом, коммивояжером. Не сладкая, прямо скажу, работа. На рассвете, в четыре часа, не позже, подъем. Чтобы на пятичасовой поезд поспеть. В чемоданчике образцы тканей, пряжа. Я с вечера все уложу, бутерброды, термос. И поедет он то в один город, то в другой. Сукна и шелка, трикотаж и нитки господина Швегеншталлера предлагать. Наматывается за целый божий день, а ведь не богатырского здоровья, газ этот фронтовой боком ему выходит. Приедет к вечеру и иной раз даже за стол не садится. Особенно, если заказов не набрал. «Что же я завтра на фирме скажу, — мучает, изводит себя. — Ведь ни одного договора не заключил. Только деньги проездные промотал, сплошные убытки для господина Швегеншталлера. Уж как я их уговариваю, Грета. И улыбнусь, и комплиментик к месту подкину, и сигарой вкусной угощу. А они поначалу будто бы соглашаются, кивают, кивают, а только договор подсунешь, сразу в кусты: нет, нет, господин Замза, мы еще подумать должны, мы вам телеграмму дадим, обязательно. А я уже знаю: не подпишешь сразу — все, облом, продолжения не будет».

Мучительно страдала я за него. Не по душе ему эта работа: угодничать, улыбаться. Говорю ему: «Знаешь что, Грегор, бросай к чертям собачьим эту работу. Не помрем. «Золотой олень» как-нибудь прокормит». А он ни в какую: на твоей шее, сестра, сидеть не буду. Сейчас, говорит, кризис, застой в делах полнейший. Но не вечно же так будет? Господин Швеген-

шталлер, мне по секрету сказали, строит новую фабрику для искусственного шелка. Чтоб конкурентов задавить, поняла? Новинка эта точно пойдет. Заработаю кучу денег и заплачу за тебя, сестренка, чтобы ты по музыке учиться смогла. Это у него мечта такая была сладкая — выучить меня на скрипке играть. Я ведь немножко пикикала, еще с детских лет. Соседка наша, фрау Моника Хубер, старушечка милая, мне ноты объяснила, научила кое-чему. И сама мне играла. А я, помню, сижу и слушаю ее, и кажется мне, что я в лесу волшебном, и каждое деревце, к которому я подхожу, про себя мне что-то рассказывает, душу как бы свою изливает...

Только вот папке нашему не нравилась скрипка, нервы бедила, прямо-таки бесила она его. Спрячет, бывало, смычок, и язык высунет, дразнится. А Грегор найдет эту палочку волшебную и просит: «Сыграй мне, Греточка, а я глазки закрою и послушаю». Смешной он был такой... Какая сейчас, Грегор, скрипка, говорю ему. Опоздали мы с тобой, старух туда не берут. — «Нет, Грета, я ходил, узнавал. Если деньги платишь, возьмут. В любом возрасте». Уж так ему хотелось мне что-то приятное сделать. И чего тут удивляться: ведь я для него и мамой, и папой была, когда оба родителя наших из жизни ушли. Кто бы его, сироту, на ноги поставил да в люди вывел, если бы не я?

Теперь вы понимаете, господин прокурор, каково мне было видеть, как этот самый Кафка день за днем измывался над моим Грегором, ломал его, превращая в дикого урода? А меня, вы слышите, меня назвал убийцей собственного брата. Я — убийца! Вы слышите? Которая жизнь положила за него! Которая отказалась от своего личного счастья! Которая... которая!.

Вы знаете, вначале я была даже расположена к этому Кафке. Я ведь приветливо встречаю каждого гостя. Разве догадывалась я тогда, какую роковую роль сыграет этот так называемый Франц в жизни нашей семьи? А он был вежлив, учтив, ни разу не перебивая, выслушал мой красочный рассказ о нашем пансионе. И в отличие от других моих постояльцев не задал ни одного вопроса. Похоже, что все ему было безразлично:

и табльдот, и программа развлечений, и окружающая природа.

Показала ему недельное меню нашей кухни и выразила уверенность, что он у нас поправится. Он ведь был очень высокий, а худющий — как жердь! Такого тощего, как он, я видела впервые в своей жизни. Чтобы не быть голословной... Рост 182 сантиметра, представляете? А вес, как вы думаете? 50 кило, у меня в десять лет и то больше было... Потом я узнала, в чем дело. Погодите, все расскажу... Показала ему, значит, свободную комнату на первом этаже. «А выше?» — спрашивает. — «Весь второй этаж, к сожалению, занят, господин Кафка. Могу предложить вам только маленькую мансарду. Но она вам, наверное, не подойдет». — «Это почему же? — спросил он удивленно и посмотрел на меня своими неподвижными совиными глазами. — Давайте-ка поглядим». Мансарда у меня обычно пустовала — туда надо было подниматься по узкой и довольно крутой деревянной лестнице.

Идем... На верхней ступеньке он вдруг остановился. Она жалобно скрипнула и прогнулась. «Каждый раз, — сказал он тихо, — я буду разговаривать с теми, кто жил здесь до меня». Я сразу поняла: чужак человек, не от мира сего. Но, конечно же, была довольна, что комната ему подошла и что он снял ее на всю осень, до самого ноября. Такой отпуск у него был по болезни. «Вам здесь понравится, господин Кафка, — говорю ему с самой любезной своей улыбкой. — Поглядите, какая клумба прямо под вашим окном! Вы таких бегоний, уверяю вас, никогда не видели. Цвет шампанского, прелесть, не правда ли? А как сочетаются с голубыми крокусами!» Говорю ему все это, а он, представляете, и ухом не ведет. На диван присел и давай свои баулы-чемоданы распаковывать. Книги, рукописи, тетради... Хоть бы ради приличия к окну подошел, на клумбу глянул... А он знаете, что мне сказал? «Я не интересуюсь цветами, фрау Замза». Вот так. И коротко, и ясно. Ну не буду же я со своими жильцами спорить. Вышла, а сама думаю: как же так, интеллигентный, вроде бы, человек. И одет модно, даже изысканно. Значит, красоту должен понимать. А вот цветы, такое благолепие природы, напрочь не чувствует.

Тогда еще не знала я, что он еврейской нации. А потом, когда я дозналась, мне сказали люди сведущие, что племя это, в древности среди пустынь жившее, украшало свои жилища и могилы предков не цветами, как мы, а камнями. Дикость, правда? И хоть тысячи лет прошло, и живут они с нами, с благородными людьми, рядом, а вот до сей поры, значит, камень этот первобытный в своих душах носят. Если есть у них душа. В чем я лично глубоко сомневаюсь.

Ну вот... Невольно стала я приглядываться к новому жильцу. Выходил он из своей мансарды только к столу. Чем занимался у себя, не знаю. Может, сочинял, может, колдовал белой или черной магией, кто его знает. Часто слышала я, как он кашлял. Хрипло, с натугой, видать, никак не мог остановить приступ. Так и жил у меня в одиночестве, сам по себе. Ни с кем не сдружился, на дам ноль внимания, а те ему, между тем, глазки строят — молодой ведь, интересный, а им, известное дело, и потанцевать, и пофлиртовать охота. Да, вот еще причуда — смех да и только... Уходил он из столовой позже всех. А почему? Оказывается (это я потом выведала у него), ел он по какой-то новейшей методе и каждый кусок пищи тщательно пережевывал. Знаете, сколько? Ровно двенадцать раз, не больше и не меньше. Каждый кусочек! С ума можно сойти! И те люди, которые вначале сидели с ним, полковник фон Гротт и его супруга, просто бесились, глядя на его челюсти. «Мы как с лошадью за одним столом, фрау Грета, пересадите нас, пожалуйста».

Да, странный господин. В первый же день попросил вынести из своей комнаты трюмо, старинное, в золотой раме. «Мне очень надоело собственное лицо, фрау Замза, — пояснил он мне. — Хочу отдохнуть от себя». Поставили мы это зеркало в вестибюле. И что вы думаете? Лицо его, не сойти мне с этого места! — осталось в этом зеркале! Наваждение да и только! Приказываю себе не смотреть туда, когда прохожу мимо. А все же не удержусь, вдруг, думаю, исчез. Ан нет, — глядит на меня, дьявол, своими неподвижными страшными глазами. Изуродовал зеркало рожей своей, а это память о мамочке. Ни выбросить, ни продать.

Со временем все же подружился этот Кафка с одним человеком. Как вы думаете, с кем? С моим дорогим братом Грегором. Однажды... вечером дело было, заходит этот господин Кафка в нашу комнату (до этого, знаете, никогда тут не появлялся). А Грегор за столом сидел. Как всегда обложившись железнодорожными справочниками и картами, и составлял план поездки на завтра. Познакомила я их, а он и говорит брату: «Я знаю, господин Замза, что вы каждый день уезжаете в город. Не будете ли вы так любезны привезти мне оттуда пачку писчей бумаги номер три. В нашей лавке, к сожалению, есть только пятый номер, а я на такой бумаге не пишу». — «Конечно, господин Кафка, я буду рад оказать вам эту пустяшную услугу». И вечером, вернувшись домой, брат отнес ему в мансарду пачку привезенной для него бумаги. Ушел и просидел там до поздней ночи. Уж я нагладила ему образцы, чемодан на завтра уложила, а он все сидит и сидит. Наконец, в одиннадцатом часу является. Накинулась я на него: «Тебе же в четыре утра вставать, горе ты мое неразумное! И выспаться не успеешь, и план поездки не составил». А он весь словно светится: «Ах, сестренка, про какие пустяки ты говоришь! Как интересно мы побеседовали с господином Кафкой! Он столько знает! Видимо, кучу книг прочитал! А всего-навсего, представляешь, страхового агента на асбестовой фабрике». — «Ты себя, Грегор, с этим Кафкой не равняй. Он завтра до обеда дрыхнуть будет, а тебе три города объехать надо да заказы на фабрику привезти, забыл что ли? Ложись-ка побыстрее!» А он по комнате туда-сюда ходит, никак успокоиться не может, все бормочет: «Ой, как любо было, словно в другой стране, неведомой, побывал». И целует меня на радостях и обнимает. Что с ним стряслось, не пойму. Выпил ты что ли, братец, спрашиваю. «Что ты, миленькая, господин Кафка совершенно особый человек. Он отвергает и табак, и алкоголь, и шоколад...» Ага, говорю, и каждый кусок пищи пережевывает ровно двенадцать раз. Знаем уже, знаем!

Словом, господин прокурор, с того самого дня будто неведомая сила стала тянуть брата в мансарду к этому Кафке. Бесило это меня, не скрою. Приедет домой, пообедает второпях.

И без единого слова, заметьте. Молча. Будто нет рядом его сестры Греты. «Как съездил, хоть скажи. Пошел ли бархат синий, как мы с тобой планировали? А фланель?». А он рукой махнет: спасибо, мол, вкусно все было. На часы глядь и — наверх. А придет к ночи от этого Кафки, глаза блестят, будто со свидания с любимой девушкой. О чем же вы столько говорили, спрашиваю. Ой, сестричка, о разном, всего не упомнишь. Учит он меня жить вне жизни. «Это как такое может быть? Вне жизни...» — «Да я еще сам толком не знаю, вот только учусь». — «Чертовщине ты учишься, Грегор. Был бы жив наш папа, он бы этого господина Кафку в шею и с лестницы. Он же тебе мозги вывернуть хочет. Прекрати это, слышишь?». А он, неразумный, и слышать меня не хочет. «Знала бы ты, Грета, какие чудесные рассказы он пишет! Всю ночь напролет за столом сидит. «Днем, при свете солнца, ночные видения, сказал он, становятся обычными вещами — стульями, ботинками, чашками. Лишь ночью я слышу их голоса. И тогда я хочу только одного — писать, неистово писать каждую ночь напролет. И умереть от этого или сойти с ума». Тут окончательно я поняла: чернокнижник и дьявол угнездилися в моем доме. Решила отказать этому Кафке — пусть проваливает отсюда, мне брата спасти надо. Да не тут-то было. «Я, говорит, контракт с вами до ноября подписал. Еще месяц и двенадцать дней могу пользоваться вашим, фрау Замза, гостеприимством». Ну, как вам нравится? «Мне нигде не было так хорошо, как в вашем «Золотом олене». Уедет он, как же, когда не закончил свое черное дело!

Однажды вечером, когда они с Грегором, как обычно, уединились в мансарде, я тихонько, стараясь, чтобы не скрипели ступеньки, поднялась на третий этаж и стала у двери. Знаю, негоже чужие разговоры подслушивать, но что было делать? Ведь не любопытства ради, а только чтобы убереечь душу брата Грегора от дьявольского наваждения. Господи, не осуждай меня... Так вот, стою, слушаю. Сперва господин Кафка тихим голосом, складно, как по писаному, что-то рассказывал. Время от времени останавливался — кашель его сильно душил. Старалась уловить я, о чем речь. Слова вроде все знако-

мые, а смысла никакого. Не понимаю, да и только. Будто на языке тарабарском. А ведь не дубина же я стоеросовая: и книга всегда под подушкой, на сон грядущий, и по классному чтению первой ученицей была. А вот, поди же ты... Поняла только, что какой-то дурак в путешествие отправился. Да не так, как все люди. А разделился надвое. Душа как бы отправилась странствовать, а тело, слышите, осталось в постели! Ну как вам нравится? Смехота! А если вдуматься, то ничего смешного нет, сатанинские это игры. Потом начали они говорить. Тоже все больше Кафка, а брат поддакивал, выпитывал, значит, в себя весь этот дьявольский бред. Потом, слышу, чернокнижник этот говорит: «Давай, Грегор, милый, скажем вместе: «ЖИЗНЬ ОТВРАТИТЕЛЬНА». Только каждое слово произносим одновременно. Ну, давай...»

И они вдвоем, и дьявол этот, и мой брат дурачок, разом крикнули: «Жизнь отвратительна!». У меня сердце зашло — вот, значит, в какие игры они играют! А Кафка уже тихим и вкрадчивым таким голоском продолжает: «Да, милый Грегор, жизнь на самом деле отвратительна, но когда этот приговор произносят вдвоем, взявшись за руки и чувствуя теплую кровь друг друга, она уже не кажется такой ужасной и способна даже окрашиваться в розовый цвет...» — «В розовый? Но ведь вы, господин Кафка, всегда в черном» — говорит мой брат дурачок. А тот отвечает: «В Праге, где я родился и живу, слово Кафка означает «ворона». Так вот, когда я гляжу на себя со стороны, я вижу несуразную черную птицу, которая прыгает среди камней и пытается раскрыть крылья, чтобы взлететь» — «Эх, если бы у меня были крылья!» — размышлял мой брат идиотик. И что, как вы думаете, ответил ему на это господин Дьявол? — «А у вас они есть, милый Грегор. Чудные сильные крылья. Способные поднять вас в воздух. И когда-нибудь, вы увидите, это произойдет». И тогда поняла я — мигом, будто молнией озарило: гибель ждет моего брата. Неотвратимая, неминуемая гибель. Продал он свою душу дьяволу. И теперь не Господь, а тот хозяин его судьбы. Спустилась я вниз, в свою комнату, плачу и молюсь перед ликом Бо-

жым. Словно чуяла, что именно в эту ночь все самое страшное свершится. Так оно и случилось.

Ранним утром — звонок. Господин управляющий сообщает мне, что Грегора нет на работе. Я в шоке. Не может быть, говорю. Уехал, как всегда, пятичасовым. И тут, господин прокурор, замечаю на вешалке пальто Грегора и его чемодан. Положила трубку, иду к брату, дергаю дверь — она заперта. Кричу: «Грегор! Ты дома? Открой немедленно!» Тишина. Прислонилась ухом к двери, слушаю. Пытаюсь понять, что там происходит. Спит еще или уже встал... Какие-то шорохи, скрипы, что-то вроде бы ползает по полу. Кричу опять что есть сил: «Грегор! Ты слышишь меня? Почему ты не поехал на работу? Что за фокусы?! Ты знаешь, кто сейчас звонил? Сам господин управляющий. Лично. На фирме все встревожены. Еще не хватает, чтобы об этом узнал сам господин Швевеншталлер! Тебя же выбросят на улицу, идиот! Забыл, как полгода обивал пороги? Подумаешь, специалист великий! Коммивояжер на палочке! Да таких, как ты, только свистни... Открой, Грегор! Или я это сейчас сделаю сама». Я пыталась вставить ключ в замочную скважину, но его ключ оставался в замке, открыть дверь было невозможно. Я бросилась наверх, в мансарду: «Господин Кафка, помогите, у нас беда!» А что мне оставалось делать? Ведь они вроде бы были друзьями. Кафка спустился, подошел к комнате Грегора. Я снова стала стучать: «Грегор! Отвори!» А Кафка качает головой и говорит: «Не кричите на него, фрау Замза, лучше скажите ему что-нибудь ласковое. Как вы его в детстве называли? Не помните?» — «Грегорчик, миленький, говорю, жучок мой шоколадненький, открой своей сестричке»... И что же вы думаете, господин прокурор? Послышалась какая-то возня, потом вдруг услышала я, как звякнул ключ. Выпал, значит. «Теперь открывайте!» — сказал Кафка. Я легонько толкнула дверь и заглянула в комнату. Что вам сказать, господин генеральный прокурор? На кровати лежало, корчась и корежась, жуткое чудовище. Оно извивалось и шевелило своими многочисленными ножками или присосками. Я крикнула в ужасе: «Грегор!» и грохнулась на пол.

Пришла в сознание от резкого запаха нашатыря: видимо, этому Кафке пришлось основательно повозиться со мной, чтобы привести в чувство. Не думайте только, что делал он все это из добрых побуждений. У дьявола нет сердца. Очнувшись, я увидела перед собой лихорадочно горящие глаза и самодовольную усмешку на его тонких синих губах. Будто он был рад происходящему. И сразу же в мозгу вспыхнуло: это его рук дело, его черная ворожба. А суетится он возле меня, чтобы чистеньким остаться — хитер, подлец! Ох же и хитер! Но и мне, скажу вам, ума не занимать. Задаю этому мерзавцу прямой вопрос: «Где мой брат Грегор?». А он как ни в чем ни бывало: «Там, фрау Замза» — и показывает мне на дверь. — Вы хотите сказать, господин Кафка, что это чудище и есть мой дорогой брат? — «Именно так, фрау Замза». — «Вот что, господин Кафка, я немедленно вызываю полицию и пусть они разбираются, кто и как превратил человека в это отродье?!» — «А тут и без полиции все ясно, фрау Замза. Кем вы давеча назвали своего брата? Забыли? Я вам напомню: **шоколадненьким жучком**. Так вы его звали в детстве, да? Так вот, сегодня, произнеся эти слова во время постигшего его ночного стресса, вы произвели на него сильнейшее магическое воздействие. Под влиянием ваших слов он, так мне думается, возвращается к образу далекого детства, когда он был, очевидно, свободен и счастлив. Грегор неоднократно говорил мне, что хочет исчезнуть с лица земли и начать все сначала — малым ребенком. Его, видимо, тянуло в тот светлый мир, где его ласково называли жучком». — «Какой же он жучок, говорю, это же страшилище какое-то». — А он, этот Кафка, глядит на меня своими неподвижными дьявольскими глазами и говорит: «Думаю, что превращение его еще не закончено. Вы можете, конечно, звонить в полицию, но допрашивать будут исключительно вас». И тут же ушел к себе в мансарду... Что было мне делать, господин прокурор? Я поняла: надо доказать, что все случившееся с моим бедным братом — дело рук этого отвратительного чернокнижника. Нужны факты, и я их во что бы то ни стало должна добыть. Пока же, решила я, надо сделать все, чтобы эта история не вышла из нашего дома.

Первым долгом позвонила управляющему. Да, господин Майер, я все выяснила. С моим братом Грегором произошла беда. Он заболел. Сильный жар, озноб. Не знаю, что с ним, буду вызывать врача... В таком состоянии разве он может подойти к телефону? Да и говорить он не в силах. Хрипит, горло совсем заложено. Если я даже нагнусь над ним, ухо подставляю к самым губам, то и тогда с трудом различаю, что бедняга хочет сказать. Передать ему ваши слова? Конечно, могу. Записываю, господин Майер. И он мне продиктовал: «Не явившись на работу, господин Замза, вы доставили тем самым хозяину фирмы господину Швегеншталлеру несколько минут неоправданного и ненужного волнения... Ваш недисциплинированный поступок может грозить Вам увольнением». Ах, как вы строги, говорю, господин управляющий. Ведь это случилось в первый раз за все три года безупречной службы. Как же можно уволить такого работника, это ведь жестоко, это бесчеловечно... Мой брат выздоровеет, обязательно выздоровеет. Думаю, завтра или послезавтра... В крайнем случае, в начале будущей недели... Говоря так, я, конечно, пыталась обмануть его. Важно было выиграть время.

То, что произошло с Грегором, считала я, либо колдовство, не подвластное человеческому разуму, либо неизвестная науке жуткая болезнь, способная полностью разрушить человеческий организм. День ото дня он все уменьшался и уменьшался в размерах, пока превращение закончилось и он стал обычным жуком. Я звонила врачам. И самым большим светилам и самым ничтожным светлячкам. Они только смеялись: «Мы насекомыми не занимаемся». Да какое же он насекомое, кричу! Он человек!!! Ветеран войны, дважды ранен, лейтенант в отставке! Все без толку. Один, правда, врачешка намекнул мне, что в пойме реки Амазонки у какого там дикого племени были случаи ломки человеческого скелета и его трансформации в другое существо. В голубя, например. Или вот на Галапагосских островах — в черепахе. Ухватила я за эти Галапагосские острова. Голубь на Амазонке — это не наш случай. А вот черепаха, ороговение тканей — это уже близко. Но... Теперь внимательно следите за ходом моих мыслей,

господин прокурор. Разве мой брат Грегор был когда-нибудь на этих чертовых Галапагосских островах? Нет! И еще раз нет! Тогда каким образом он мог подхватить эту порчу? Ответ напрашивается сам собой: его за-ра-зи-ли. Не знаю как. То ли помазали какой-то дрянью, то ли к пище подмешали, то ли впрыснули в вену. И сделать это мог только мой злополучный гость — черный господин Кафка. Будь проклят тот день, когда он появился на пороге моего дома!

Однажды, было это в середине октября, в наш городок приехал на один день бродячий «Юдише театр». Какого черта их занесло сюда, не знаете? Ну, сколько у нас в городке этих евреев? Представление давали в старом амбаре. Ведь этим, с позволения сказать, артистам все равно где трясти пейсами, лишь бы денежки платили. К моему удивлению, пошло и много наших, амбар этот вонючий был забит народом. Как я и предполагала, пошел на это представление и Кафка. Что ж, Грета, сказала я себе: действуй, это твой единственный шанс!

И, взяв ключи, я тут же поднялась в мансарду, куда он никому, даже горничной, не разрешал входить. Скажу вам сразу, господин прокурор, я прихлопнула его с поличным. Все улики были налицо. Среди множества книг, рукописей, тетрадей я нашла то, что искала... На коробке была надпись: «**На случай легочного кровотечения**»... А там шприцы разного размера, ампулы с какой-то отравой, ну йод, вата. Вот чем этот негодяй колол моего бедного Грегорчика, превращая его в страшного жука! Я сфотографировала эти шприцы для полиции (они в приложении к данному письму). После этого приступила к просмотру книг. В основном философия, географические атласы, словари всякие. Книги на самых разных языках, но я уверена, что среди них были наставления по черной магии и шаманству, все названия я тщательно переписала и посылаю вам полный список. Провела я в его комнате немало времени и надо было уже торопиться. Но мне хотелось поворошить и его рукописи. И там было действительно много любопытных вещей. Во-первых, я наткнулась на его заметки о своем детстве, и вот именно оттуда, с трудом разбирая его

мелкий торопливый почерк, узнала, что этот Франц на самом деле никакой не Франц, а самый настоящий еврей по имени Аншл, о чем я уже сообщила вам в самом начале моего письма. Далее... Оказалось, что прадедушка этого Аншла со стороны отца был кошерным резником. Да, да! А предок со стороны матери — известный на всю Австро-Венгрию раввин-талмудист, который занимался всю жизнь... Чем, как вы думаете? Поиском магических тайных формул, дававших возможность, как сказано в этих заметках, творить чудеса. Вот от кого заимствовал свое колдовство его внучек! Я уже собиралась уходить, как вдруг на глаза мне попало несколько исписанных черными чернилами листков. Я стала читать и ахнула. Этот негодяй описывал, смакуя все подробности, то несчастье, которое произошло в моем доме. Рассказ этот назывался «Превращение». Вот что написал этот мерзавец.

«...Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирнотвердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный разнообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились...»

Больше ничего я не успела прочитать. Передо мной в распахнутых дверях стоял, уставясь на меня своими черными, сверкающими яростью глазами, сам господин Кафка. «По какому праву, фрау Замза, вы зашли в мою комнату без моего на то разрешения?» Минуту мы смотрели друг на друга, но я, господин прокурор, выдержала его дьявольский взгляд и спокойно сказала: «Мой брат Грегор, а на самом деле жук, уполз куда-то, господин Кафка. Я ищу его по всему дому. Зашла и к вам, извините». Хитро, а? Придумала я эту удочку заранее и теперь наслаждалась тем, как он кусает в бессилии свои тонкие синие губы, понимая отлично, что я ему нагло вру. Тут схватил его ужасный кашель. Он проглотил какую-то пилюлю и прижал к губам носовой платок, который тут же окрасился кровью. «Зачем же было переворачивать мои вещи?» — ска-

зал он, наконец, тихо. — «Я искала Грегора повсюду, господин Кафка. И, не скрою, нашла немало любопытных вещей, которые наверняка могут заинтересовать полицию. Спокойной ночи!» И с этими словами я гордо вышла из мансарды. Вот так, чернокнижник! Надеюсь, понял, что ты у меня в кулачке? Такие мы, Замзы, знай наших!

Наутро он съехал, оставив мне на тумбочке деньги до конца срока. Не лучшее ли это доказательство его вины? Ведь ему так нравилось у нас, но понял, негодяй, что я загнала его в ловушку. Бежал, даже котелок свой забыл. Все данные, обнаруженные мной в мансарде, я тщательно описала в своем заявлении в полицию. Приложила фото шприцов, перечень книг и прочее. И если бы там сидели умные и патриотически настроенные люди, то мне не пришлось бы беспокоить вас, уважаемый господин генеральный прокурор. Но когда я пришла в полицию через несколько дней, мне сказали, что в действиях господина Кафки нет состава преступления...Вы слышите? А предметы, найденные мной в его комнате, нельзя квалифицировать как улики, поэтому, мол, дело закрывается. Ну, как вам это нравится? Не иначе, как этот Кафка или его богатенькие еврейские родичи отвалили приличную сумму нашим стражам порядка, чтобы отмылить преступника от наказания. Ладно, думаю, на этом моя борьба не кончается.

Когда я сказала Кафке, что Грегор куда-то уполз и я ищу его по всему дому, я не лгала. Держала я его теперь в плетеной корзиночке. Тесно, конечно, и он стал проситься погулять. Я ведь уже научилась понимать его желания. Вижу, плохо ест, без прежнего аппетита. Даже от молочка с хлебом отказывается. Станет на задние лапки и скребет, скребет по стенкам — просится, значит, наружу. Выпустила я его. Вот уж он обрадовался! Усы расправил, бегаёт по полу туда-сюда! А как благодарил за то, что волю ему дала. По-своему, конечно, по-жучачьи. Подошел ко мне и о башмаки мои трется. А я стою и плачу. Жучок мой шоколадненький, братик мой, что с тобой сделали... А вдруг, Бог даст, снова человеком станешь? Пойдешь на фирму, а они тебя и на порог не пустят. Уволили тебя, братец. И скажешь ты тогда: «Зачем же я, Греточка, человеком

стал, мне в корзинке моей лучше было». Так, бывало, разговариваю я с ним, а он так и норовит, шельмец, из корзинки выскочить. И злится, когда я его ругаю. Надуетесь весь, глаза выпучит и щелкает крылышками. Уж так хочется ему по дому прогуляться. И вот однажды не уследила я, а он, чертяка, выбрался незаметно и пошел напрямиком в комнату, где у меня полковник фон Гротт с супругой жили. А почему? Когда-то это была мамина спальня, понимаете? Мама покойная часто брала к себе в постельку маленького Грегора. Вот и вспомнилось жучку. За одеяло зацепился и подполз к самому уху госпожи полковницы фон Гротт. А в ухе у нее сережка была, с бриллиантиком. Он ее лапкой своей жучиной цап-царап... Полковница глаза открыла, как завопит! Господин полковник фон Гротт за пистолет и стрельнул бы, наверное, да руки дрожат, мог бы и жену на тот свет отправить. Короче говоря, крик, скандал, полковница в обмороке. Я прибежала, схватила этого дурака Грегора и прощения прошу за его хулиганский поступок. А господин полковник фон Гротт и слушать не хочет — уже вещи укладывает. «Я, госпожа Замза, наотрез отказываюсь от комнаты ввиду мерзких животных, которые завелись в вашем заведении. И, разумеется, я ни гроша не заплачу и за те дни, что мы здесь прожили. Напротив, я еще подумаю, не предъявить ли вам каких-либо претензий, смею вас заверить, вполне обоснованных. Например, касаясь попытки хищения бриллиантов из ушей моей супруги полковницы фон Гротт». И к вечеру съехали они.

Наказала я брата — под домашний арест, в корзинку, на хлеб и сладкую воду. И ругаю, чихвостю его почем свет стоит. А жильцы мои, между тем, после отъезда полковника фон Гротта тоже раскудахтались. Слухи пошли: дескать, здесь, в пансионе, поселилось страшное чудовище. За табльдотом только о том разговоры. И каждый, заметьте, изощряется в своей фантазии. И огромный этот зверь... (Вы слышите: «зверь» — смехота!), и рог у него на лбу острый, и вещество ядовитое из пасти выпускает. Возбуждены люди, взвинчены — какой там отдых, какие там развлечения! Зазвала я их к себе. Ну, думаю, успокою сейчас ваши нервишки. Показываю на

корзинку, смеюсь: «Вот где ужасное чудовище сидит, сейчас вы на него полюбуетесь». И двумя пальчиками приготовилась извлечь Грегора. Заглянула внутрь — о, ужас: пусто! Блюдечко перевернуто, остатки пищи разбросаны, а его нет. Мигом в мозгу пронеслось: «Грегор, Грегор, что же ты натворил? Сестру свою под удар подставил». А жильцы, видя мою растерянность, обступили меня со всех сторон и чуть ли не с кулаками: «Да вы обманщица, фрау Замза! Где же ваше чудовище, отвечайте! Хватит нас в страхе держать!» Никакое это не чудовище, а обыкновенный жук, пытаюсь я их хоть как-то уговорить. — «Тогда предъявите этого жука, мы хотим его видеть». — Он, говорю, видимо, улетел. — «А если прилетит? И ужалит или укусит или ядовитую слюну выпустит? Кто отвечать будет? Или прикажете нам форточки позакрывать? Под одеялами спрятаться и свечей не зажигать? Нет, фрау Замза, с нас довольно. Мы здесь больше оставаться не намерены. А про то, что творится в вашем «Золотом олене», узнает вся страна, уж будьте спокойны!». Одеваются гости мои, хватают свои вещи и толпой к выходу. Не на шутку я тут струсила. Да что там, просто в ужас пришла: ведь конец пансионату, отбросит копыта мой «Золотой олень»!

За сутки поклялась я жука отыскать... Суток мне не дали, только три часа, до вечера. И я, и кухарка, и горничная, у каждой длиннющая палка с намотанной на конце тряпкой, разбрелись на поиски. Кто в подвале ищет, кто в саду на деревьях, а я по комнатам высматриваю его. Грегор, Грегор! Где ты мой мальчик? Отзовись! Вдруг замечаю... Нет, господин прокурор, не Грегора, нет. Хуже. Следы его подлой деятельности. Господи, что же ты натворил, негодяй!

А увидела я старую отцовскую трость, нашу семейную реликвию. Ее всю источил этот проклятый древоточец, как нарочно! Стою я с этой палкой в руках и плачу. Самое святое, Боже! Память о папочке родном. То, что мы беречь и хранить должны... И тут как молнией страшная мысль пронзила. Да ведь он же не остановится на этом! Сожрет палку, а дальше? На шкафы кинется, на диваны. Кресло мамино изгрызет... А потом? Если... если в наш подвал заберется? Ведь дом наш

на сваях стоит. Понимаете? Подточит одну сваю, другую... и тогда!.. Рухнет все!

Конец, конец «Золотому оленю», да разве только «Оленю» — всей жизни конец. Вы понимаете, господин прокурор, какой ужас меня охватил! Такие как он — если расплодятся, истребят все — и конец нам, благородным людям. И тогда решила я положить конец безобразию этому. Чего бы то ни стоило. Достала свою старую скрипочку, заиграла и маню его. Услыхал он мое пиликанье и — что вы думаете? Выполз откуда-то. Глазищами водит и крылышками машет. Вот они, дескать, те крылья, о которых он мечтал. И тут я — хоп! И словила!

И в тот же час ему праздничный обед устроила. Три части скипидара, одна часть керосина, одна часть нафталина и чайная ложка расплавленного воска. Все, как прописано в моем «Справочнике по домоводству». Во имя всех нас, для благоденствия и процветания нашего народа. Но ведь не он виноват, господин прокурор. Он жертва. А главный преступник черно-книжник и масон Франц Кафка, его совратитель и убийца.

Надеюсь на то, что справедливое возмездие свершится.

Прилагаю при этом:

1. Фотографии Ф. Кафки (анфас, профиль)
 2. Список книг и рукописей, найденных в его вещах
 3. Фотографии шприцев и коробочки «На случай легочного кровотечения»
 4. Визитную карточку пансиона «Золотой олень».
- С наилучшими пожеланиями

Грета Замза

30 июля 1922 года

Р. S. Довожу до Вашего сведения, что пансион «Золотой олень» вновь открыл свои двери после вынужденного небольшого перерыва. Приглашаю на отдых и Вас, господин прокурор. У нас комфорт и покой! Сказочная природа! Волшебное озеро! Романтические прогулки! А вечером каждый день — танцы!

Г. З.

Примечание.

Данное письмо обнаружено в архиве канцелярии прокуратуры земли Бранденбург в 1946 году в деле под № KLZ00073/78B с резолюцией заместителя Главного прокурора: *«Производством прекратить ввиду смерти г-на Ф. Кафки от туберкулеза 3 июня 1924 года».*

Ниже, уже другим почерком:

«Члены семьи означенного выше г-на Ф. Кафки, в соответствии с законами о лицах еврейской национальности, депортированы в г. Аушвиц и г. Терезиенштадт.

14 февраля 1942 г.»

Ковыляя во мгле

Оттолкнувшись от подоконника, он сиганул в ночную холодную синь. Миллионы звезд не завораживали, он их просто не замечал. Лежал лицом вниз, укутавшись от вселенской холодины в толстый овчинный тулуп. Главное для него было внизу — в россыпи электрических огоньков, плывущих под ним в бездонной пустоте. Они прятались от него, беззаботно перемигивались и умышленно прикрываясь щитами крыши и шапками деревьев. Старались всячески сбить с курса.

Значит, догадывались, что сегодня в ночном полете не просто Юлий Адамович Хворостыльский, сам по себе, а весь возглавляемый им городской молодежный театр «Жаворонок», летящий как огромный воздушный корабль мести над этим окаянными неблагодарным, сияющим в мозаике огней городом. И на лице Юлия Адамовича не обычная вымученная улыбочка, к которой приходилось понуждать себя перед сильными мира сего. А зло, по-бойцовски склепанные зубы и ходящие под скулами железные желваки. Ибо хватит угодливости и смехуечков, заездили, замаяли, господа, своими обещанками. Баста, пришел час X. Лечу на выполнение боевого задания. С полным боекомплектом авиабомб.

Первую — на черта лысого, Аркашку Дубосарского. Полтеатра оттяпал, гнида. За бабло, разумеется, и немалое. Мэру в потные ручки аккуратно положил. А тот автографом расчеркнулся где надо. И нет у театра малой сцены, ушло фойе с ампирическими колоннами, памятник истории, между прочим, XVIII век. Считаю, полтеатра отхватил лысый хитрован. Фотографии портретные со стен снимали, а где их вешать, никто не знает. Зрителей теперь тесным ходом из предбанника прямо в зал ведут. Выломали стенку, раздвижные двери с голыми девками на розовых стеклах вставили — и, пожалуйста, рядом

с храмом, коим должен быть театр, светится прыгающими буквами ночной клуб «Четыре совы».

Так, Адамыч, не отвлекайся. Штурвал от себя, пошел на снижение.

К окнам прилипли актеры, пьют восхищенными глазами черноту звездной ночи. С замиранием ждут. Не обычный все же полет. Не к родичам из какого-нибудь Челябинска в какой-нибудь Саранск. Не с ремнями безопасности и стюардессами с аэрофлотскими бутербродиками. Знали все: ночной полет, бомбардировка!

— Вижу цель, — докладывает заслуженный артист Синецкий, он же сегодня штурман. Сухо, по-военному.

— Повесь фонарь, — командует главный.

Вспыхнула за бортом световая авиабомба, озарила миготом крышу Аркашкиного особняка, затаившегося в густой липовой роще.

Самолет-театр вошел в пике. Штурман Синецкий выжидательно положил палец на кнопку.

— Сброс! — скомандовал четко Юлий Адамович, играя спецназовскими желваками.

Фугас крупного калибра сорвался тут же. За ним, с диким свистом, другой.

Взрыв пламени, невероятный грохот внизу, под самым театром, и дым черными густыми клубами. Ударной звуковой волной воздушный корабль шатнуло с борта на борт и чуть в сторону. Едва не попадали артисты, похватавшиеся друг за дружку. Они ликовали:

— Ура! За наши слезы!

— За голубой зал!

— Смерть оккупантам!

Один только Мухин, актер второй категории, уединенно сидел у окна в потрепанном до самых пружин кресле и не принимал участия в общем воинственном возбуждении. Казалось даже, он осуждал происходящее, ибо вызывающе выпячивал томные губки и чмокал ими, листая в отрешении от текущего момента страницы журнала «Следопыт».

А Юлий Адамович, главный режиссер и руководитель полета, развернувшись на семь градусов, набирал высоту и держал курс на северо-запад, уже на другой объект, «Бойлербанк». Громить его тоже было за что. Полтора года обещали его совладельцы, Бойко и Лернер, выдать беспроцентный кредит на ремонт зала, на импортную звуко- и светотехнику. Юлий Адамович старательно и с неугасающей тогда еще улыбочкой водил по театру и одного, и другого мерзавца, показывал примерки с облупленной штукатуркой и ядовито цветущей на стенах плесенью, ржавые колена канализации в душевых, затягивал даже обоих олигархов на чердак, где между стропилами запросто зияло небо.

И Бойко, и Лернер, стряхивая с плечей от Версаччи известковую пыль, синхронно кивали якобы удрученными головами, сердечно как бы сочувствовали обнищавшему театру. Ведь они и сами, как оказалось, Бойко и Лернер, не сразу стали банкирами, а тоже в свое время были детишками. И их, мальчуганов, представьте себе, водили дружным классом на «Снежную королеву» именно сюда, в этот славный театр, и они плакали стыдливими пацаньими слезами над судьбой мальчика по имени Гай или Май, и просто их долг, даже не просите, Юлий Адамович, это, если хотите, их святая обязанность помочь театру «Жаворонок».

Их сладкие и усыпительные речи с прижиманием рук к честной груди не оставляли сомнений. Юлий Адамович расстилал в их кабинетах глянцевые листы проспектов фирмы «Adler», вместе с ними ставил галочки против нужных позиций лазерной светотехники, так необходимой для создания волшебных сказочных чудес. А в результате оказалось, что оба денежных мешка просто водили за нос доверчивого и несведущего в бизнес-играх режиссера Ю. А. Хворостыльского. И за это труппа, посвященная в эти переговоры, единодушно, при одном воздержавшемся, внесла обоих брехунов в черный реестр ночной карательной бомбардировки.

«Бойлербанк» располагался на берегу реки. Из ночных облаков на высоте 2500 метров цель еще не просматривалась. Надо было снижаться. К тому же стало зябко, до костей про-

дирал холод. Стучали зубы и прекратили свою воинственную игру желваки. Стоявший рядом с Юлием Адамовичем ночной сторож Кукушкин, тоже почему-то увязавшийся вместе с театром на бомбежку, то и дело поправлял на главном сползающий тулуп, по-отцовски укутывал его заботливыми стариковскими руками.

Юлий Адамович резко отдал штурвал от себя. Бортовой высотомер замельтешил цифрами: 2000... 1800... 1600... 1300... Вырвались из облаков и в лунном свете сверкнули вниз стальные осколки реки, перехваченные мостом. Главный подозвал штурмана Синецкого.

— Бомбить с умом, — громко, перекрикивая гул мотора, крикнул он. — Отвечаешь головой.

Штурман понимающе кивнул: новый мост, стальной ажурный красавец, связывал обе части города. Бомбить «Бройлербанк» надо было с соблюдением клятвы Гиппократата: «Не навреди!»

В бомбоотсеке оставалась две стокилограммовых малышки. Синецкий доложил главному.

— Одну! — приказал тот и зашел в пике.

Световая бомба вырвала из ночной тьмы гордый фасад банка. Ряды его миглом ослепленных окон, коротко вспыхнув, тихо и покорно угасали в предсмертном сиянии падающего света. Смертельный фугас, мягко сорвавшись с держателей, летел к цели.

Здание рухнуло сразу, обвалилось стенами, объятые дымом и пламенем. Артисты, взобравшись на подоконники, сияли как дети на утреннике, обнимая друг друга. Зрелище завораживало, как извержение Везувия.

Главный рванул штурвал на себя, театр стал набирать высоту. Последняя оставшаяся бомба не отпускала разгоревшиеся сердца.

— На мэра! — в ажиотаже закричал артист Синецкий. Нажимать смертоносную спусковую кнопку было куда интереснее, чем шамкать за царя Гвидона. С энтузиастическим подъемом, прокашлявшись, он запел для воодушевления коллектива. Баритон его гремел на весь театр:

Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы идем на последнем крыле,
Бак пробит, хвост горит,
И машина летит
На честном слове и на одном крыле.

Это была песня американских летчиков, которую разучивали к спектаклю «Волшебник Изумрудного города». Актеры радостно подхватили. Пели, забравшись на стулья, на подоконники. Только актер второй категории Мухин не принимал участия в общем победном хоре. Ирка Лебядина, травести, возмущенно вырвала из его рук журнал «Следопыт», выпалила ядовитой скороговоркой:

— Наша Мушка не в голосе сегодня, да? Журнальчики почитывает, а люди за театр бьются. — И уже с прокурорской непримиримостью:

- Опять против коллектива прещь, товарищ Мухин!
- Гнать его по шеям! — неистово выкрикнул кто-то.
- Скинуть без парашюта!

Народ зашумел, заволновался, обнаружив предателя в своих сплоченных рядах. Обступил в праведном гневе кресло, явно готовясь к рукоприкладству.

Актер же Мухин неспеша встал, поднял с пола журнал «Следопыт», отряхнул от него пыль и сказал:

— Скидывайте. Только у нас сегодня выездной спектакль в Медногорске. А кто, извините, женихов выбирать будет? Вы? Или вы?

И он победно засмеялся тонким заученным смехом купеческой дочери, разборчивой невесты Агафьи Тихоновны из «Женитьбы» Гоголя, поставленной с модерновыми закидонами великим экспериментатором Юлием Адамовичем. И привстал даже на цыпочки. И попку при этом отставил стульчиком, что очень нравилось публике. И всем сразу стало ясно, что выбрасывать за борт исполнителя главной роли, конечно, неразумно.

— Кончайте базар! — крикнул Синицкий, поглаживая спуск нетерпеливыми пальцами. — На мэра так на мэра!

— Не успеем, — огорченным голосом сказала Вера Игнатьевна Кузькина. — Медногорск мы сорвать не можем. Грохнем мэра в следующий раз.

Кузькина служила в театре «Жаворонок» всю свою долгую жизнь, увенчанную в прошлом году ветеранской медалью. И ее веское слово дорогого стоило.

— На приказной доске выездной значится, это точно, — подтвердил ночной сторож Кукушкин, склонившись к уху главного. — «Женитьба», Юлий Адамович. Берите курс на Медногорск.

— На Медногорск! Нельзя срывать! — загомонили актеры. — На Медногорск!

Мысленно главный согласился с труппой. При нынешнем положении не отыграть выездной было бы преступно. Он положил ладонь на штурвал, сжал пальцы, но вдруг ощутил в них только неосызаемую пустоту. Несколько раз он сжимал и разжимал кулак. Рычаги управления, циферблаты приборов исчезли.

«Что за дурь?» — мелькнуло в голове. Замутилась роскошная панорама мигающих земных огней, все затянуло сплошной непроглядной тьмой.

Юлий Адамович, нетвердо опершись одним локтем, потом другим стал переваливаться на спину, чувствуя, что ему помогают в этом чьи-то надежные руки. «А как же театр? Летим без управления?» — с холодным ужасом вдруг пробило его мутное сознание. Но тут же мелькнула спасительная догадка: «На автопилот поставили. Молодцы!» И с облегчением перевернулся, устремив глаза наверх, где по всем правилам должно было быть небо в алмазных чеховских звездах.

Что-то действительно опрокинулось над ним, но это было не небо. Нечто огромное, без звезд, закрывшее собой всю видимость. Напрягши зрение, Юлий Адамович различил седые, подкуренные махоркой усы (они нависали прямо над его ртом), а из черной железной оправы беспокойно глядели на него суетливые глазки. Это было лицом, человеческим лицом, и лицо это было жутко знакомым.

— Ну что? — произнесло оно сильным сдавленным голосом. И когда еще при этом шмыгнуло носом, дернув из стороны в сторону ноздрями, Юлий Адамович осознал, что перед ним сторож Кукушкин, участник ночного бомбардировочного полета. И, следовательно, посадка выполнена благополучно.

— Все живы? — осведомился Юлий Адамович прежде всего.

— Все, все, а куда им деться, — усмехнулся сторож. — Поднимайтесь, Адамыч, я вам подсоблю.

С помощью Кукушкина Юлий Адамович выпростал руки из бараньего тулупа, который был на нем во время ночного полета, ощутив только сейчас его прокисшую вонь, и принял сидячее положение. К своему удивлению, без тулупа он был совершенно голым. «То-то меня там до костей прошибало», — поежился Юлий Адамович. — «Какой же мудила меня готовил к полету?»

— Как самочувствие, Адамыч? — ласково произнес Кукушкин. — Сейчас оденемся, галстучек повяжем, туфельки начистим и — айда, в город Медногорск. Точно? Разрешите поухаживать за вами.

Тут только, вопросительно оглядевшись, Юлий Адамович увидел себя в хаосе недописанных холстов, заляпанных красками листов картона, обрывков тюля и старых декораций. Увидел и искренне поразился. «Какого черта занесло меня сюда? Это же наш декораторский цех», — туго шатались мысли в его уставшей от ночной бомбардировки голове. Сторож Кукушкин тем временем надевал на него парадный костюм, сшитый театральным портным Семой Хаскиным из коричневой шелковистой шерсти, привезенной его племянником из Израиля, и повязал крупным узлом оранжевый в полоску галстук.

— Таперича вы молодцом, Адамыч. Можно и народу показаться, — удовлетворенный своей работой, шмыгнул ноздрями Кукушкин.

— Актеры все явились? — строго вскинув бровь, спросил главный.

— Все собрались, вся «Женитьба». Внизу дожидаются.

— Так... — задумчиво произнес Юлий Адамович. — Синицкого Мишу видел?

— Так точно.

— Мухин?

— Сидит, журнальчик читает, ждет.

— «Следопыт», что ли?

— А Бог его знает, может, и «Следопыт».

— Кузькина Вера? Тоже здесь?

— Все явились. И Виталька водила, и вся монтировка, и Жорка осветитель, тверезый, вроде. Тебя ждут, Адамыч. (В особо доверительные мгновения, чувствуя свою нужность и приближенность к главному, Кукушкин позволял себе, будучи один на один, употреблять товарищеское «ты»). Прознали, Адамыч, что ты здесь ховаешься, рвались сюда, двери издергали, опаздываем, опаздываем кричат, буди главного, а для меня ваш сонный отдых превыше всего.

— А как же все-таки... — произнес Юлий Адамович и сделал конфузливую паузу, не закончив мучавшего его вопроса. Он полагался всецело на догадливость ночного сторожа. При этом, для более точной ориентировки Кукушкина, он прошелся недоумевающим взглядом по обшарпанным стенам декораторского цеха и многозначительно остановил его на своем ночном ложе — оно было составлено из четырех стульев с разложенным на них бараньим тулупом.

Понятливый Кукушкин ответил на произнесенный вопрос.

— Я, я приспособил. А что, здорово? Перенести в кабинет вас я не мог, Адамыч, по причине возраста и хилости своей. Тело-то у вас изрядное. Извините, коли что не так... Расположил здесь. А сон у вас был, скажу вам, прислушавшись, прямо гвардейский. Кричали вы всю ночь, бомбы кидали в кого-то... Или почудилось мне... Возбудил вас, видать, этот самый...

— Кто?

— Да мэр наш городской.

— Ну, ну... — оживился Юлий Адамович. — Давай, не тяни.

— Показывали вы ему театр, что от него осталось. Ну и сюда завели, к художникам. А тут мы с Машкой-буфетчицей по вашему приказанию столик организовали. И оставили с этим городским мэром один на один.

— Ну, чего замолчал? — спросил нетерпеливо Хворостыльский. — Дальше-то что было?

— Поругались вы. Матом он вас, а вы его двойным. За театр, за деньги, за то, что фойе оттяпал для «Совы», чтоб ей сдохнуть! Ну, он за дверь...

— А я что?

— С горя приложились малехо. А потом вырубались начисто. Куда ж, думаю, его, то-есть вас, отправлять в таком недостойном виде. Костюмчик ваш на тремпелек повесил, аккуратно, вы же при полном параде начальство встречали. И расположить пришлось тут, самодельно. А вообще-то надо для будущих дел сюда диванчик или тахтушку старую прикупить. На стулках оно ж не совсем.

В дверь кто-то стукнул — раз, другой.

— Видите, рвется кто-то.... Открыть, Адамыч? А?

Хворостыльский кивнул. Кукушкин отпер замок.

В дверь мощным боком втиснулся Виталий, водила. Уважительно стянул замасленную шоферскую кепчонку:

— В танковых частях полный порядок, Адамыч. Промудохался все утро с двигателем, но теперь, мать честная, хошь на Хряково, хошь на Сраково! Когда прикажете подать?

Хворостыльский привычно глянул на руку, часов не было.

Кукушкин нашарил в тулупе, нашел юбилейные золотые часики главного, старательно протер рукавом циферблат и протянул их Юлию Адамовичу.

Главный думал, держа томительную паузу.

— Через десять минут едем, — сказал он.

Виталька развернулся и вышел. А Юлий Адамович, проводив его беспокойным взглядом, опустил на стул. Пытался надеть часы, но не смог. Силы покинули его. После мучительной ночной бомбежки опять ехать куда-то? Он себя не щадит, живет на разрыв аорты. Этот чертов театр погубит его.

Кукушкин с осознанной тревогой смотрел на главного. Лицо того стало бледным и томным, как бы упавшим в глубокое обморочное состояние. Он сидел, вертя часики в слабой руке. Веки его упали. Он спал.

Что оставалось делать бывшему фронтовику и сознательному члену коллектива театра сторожу Кукушкину? Он начал немедленно действовать. Причем быстро и решительно. И с полным пониманием боевой обстановки.

Загашный шкафчик художников — рраз! Початая поллитровочка — два! Пара обшелушившихся луковиц — три и четыре! Шматок сала — пять! Лист ватмана на табуретку — шесть! Два стакана — семь, восемь! И милости просим! То, что нужно на данный момент. Чтоб собраться, сгруппироваться и ни в коем разе не уронить себя. Только луковицы долой, лишние они — изо рта такого человека вонять не положено!

И ровно через десять минут из декораторского цеха вышел безукоризненно свежий, с треугольным платочком в кармане коричневого шелковистого костюма заслуженный деятель искусств главный режиссер театра «Жаворонок» Юрий Адамович Хворостыльский.

Госпожа Пышечка

Люди несправедливы. Люди неблагодарны. Тому много примеров может привести каждый. Саша Савичев повесился в своей комнате, в общежитии культпросвета. Даже не повесился. Есть в нашем языке слово более точное — удавился. Не висел он, а был найден лежащим на полу, рядом с батареей отопления. К ней был привязан его шейный голубой с черным платок, другой конец которого смертельно впился в сашину шею.

Хоронили его всем театром, набежало много зареванных поклонниц с букетами. Мать, Антонина Ивановна, приехавшая из Астрахани с дочерью Светланой, сашиней сестрой, стояла немая и отрешенная. Без слез на сухом темном лице. Накануне в милиции ей сказали, что суицид, других версий нет. А причина? Двадцать два года, роли одна лучше другой, красавец. В чем причина, не переставала думать она. Милицейские дядьки хмуро пожимали крутыми плечами. Разбираться некогда и не к чему. Покойного не воротить. Может, безответная любовь или карточные долги, кто знает. Дело, мамаша, закрыто. Два билета до Астрахани в кассе брони на Северном вокзале.

Мать и дочь увозили с собой потертую спортивную сумку „PUMA“ с сашиними штотками. По распоряжению главного, в литчасти подобрали его фото из спектаклей, рецензии, тетрадоочки с ролями. Все, что осталось от его короткой артистической жизни.

Накануне Сашу поминали. В фойе были составлены впри-тык несколько столов, разложили бутерброды, принесенные из дому салаты и пирожки. Кутью батюшка не благословил — не положено, покойный наложил на себя руки. («От диавола пришла сия мысль, — сказал он. — Во всяком грехе человек

имеет время покаяться, но самоубийством одновременно умерщвляется и тело, и душа»).

Антонину Ивановну усадили рядом с главным. Со стен фойе на нее смотрели улыбающиеся лица актеров, сашин портрет был как раз напротив. С траурной черной лентой наискось, но еще среди живых. «Самый красивый, — думала Антонина Ивановна. — Дурачок, глупышка, что же ты натворил».

Юлий Адамович, главный режиссер, скорбным баритоном произнес о Саше несколько добрых слов. «Гордость нашего актерского цеха... только-только раскрывался талант... готовили документы на звание... потеря невозполнимая...» И еще о ролях — сыгранных и будущих.

Пили не чокаясь. Говорили неспеша, вспоминали. Антонине Ивановне все было интересно. Два с половиною года театральной сашинной жизни были для нее загадкой. Домой за все время он приезжал дважды — оба раза на несколько дней. На вопросы отмалчивался, шуткой гасил упреки.

— Первый раз я увидела его на вводе, — сказала актриса Гурина. — На «Без вины виноватых». «Вот твой сын Гриша, знакомьтесь» — сказал Юлий Адамович. Я же Отрадину тогда играла. Ну и обалдела от его красоты. Необычный он был какой-то. Волосы, помните, огненно-рыжие, длинные, сейчас мужики с такими не ходят, волнами на плечи падают. И синие глаза к ним, надо же, как природа подобрала, глубокие, морского отлива. Скажу вам честно, замерла я, а тетка уже и тогда в летах я была, роль забыла, спотыкаюсь. Стою, глаза на него тарасу. Тяжело мне было играть с ним, любовалась, как своим сынком. Да простит меня мама.

Слово взял Миша Долматский, признанный красавец и, если по старинке, герой-любовник.

— Сашка купался в славе. Телки забрасывали его цветами, писали записки, дежурили у служебного. Но к бабам, извините, он был равнодушен. Просто никакой. Все книжечки почи- тывал.

Юлий Адамович дал слово пожилому актеру с обрюзгшим испитым лицом, Рогульскому. Главный называл каждого по фамилии — понятно, что он делал это для матери.

— От природы Сашок нежный был, ласковый, — сказал тот. — Мы с ним в «Королевстве Тру-ля-ля» играли. Я короля, он Принца. А потом Юлий Адамович дал ему Принцессу. Его первая женская роль. Сначала Сашок тушевался, а потом ничего, сам увлекся. Удачная была ролюшка. Малышня до конца не могла поверить, что он не девка.

— Мне кажется, — задумчиво сказал художник театра Руслан Соболев, — что женские роли ему удавались лучше. Больше органики, как это не парадоксально. Вспомните, с каким озорством он сделал Агафью Тихоновну в «Женитьбе». Или «Пышку».

— Эта Пышка и стубила его, — задумчиво произнесла Рита Савельева-Панкратова. — Не его была роль и не надо было братья.

— Ты бы, конечно, сыграла гениально, — с сарказмом сказал Руслан. — Одним жирком потрясла бы зрителей.

— А ты раскрой Мопассана и прочитай, какой она была, эта Пышка. Сдобная булочка, а не сорок шесть в бедрах.

Юлий Адамович постукал вилкой по стакану:

— Товарищи, у нас все-таки не производственное собрание. Мы, сдается, собрались по другому поводу. Пышку Саша играл блистательно. Не мне вам говорить. Большинство из вас было в Руане, на фестивале. Видели, что творилось в зале. А этих «Пышек» во Франции чуть ли не в каждом театре. И вот, пожалуйста, приезжает российская глубинка и показывает господам французам совсем другую Пышку — современную, страстную, обворожительно красивую, с нервом и страстью. А не допотопную толстуху из руанского публичного дома. Прости меня, Рита.

Антонина Ивановна сидела молча, опустив глаза, уйдя в свое горе. Волосы ее, начинающие уже седеть, были прикрыты темным платком — он то и дело сползал на лоб, она его поправляла.

Говорили, как и положено, только хорошее. Добрая душа был ее Саша. Кому-то занял до зарплаты, кого-то угостил в кафе. У кого-то крестным был. Вот только компаний больших не переваривал. Это еще с детства, она это знала.

Хороший и добрый. А ведь петлю просто так не накинешь. Была же причина. Милицейским дядькам возиться неохота, отмахнулись. Но и в театре на поминках не обронил никто такого, за что можно было бы зацепиться. Чтобы понять.

Уезжали на следующий день. На вокзале к отходящему уже поезду подошел средних лет мужчина, модно небритый, в дорогом джинсовом костюме, с небольшой барсеткой на ремешке. Поклонился, выразил соболезнование. Потом вынул из барсетки конверт, протянул его матери. С улыбкой, как давно знакомому человеку. Она отступила от неожиданности, спрятала руки за спину.

— Берите, берите, — сказал человек, продолжая улыбаться. — Это мой долг. Фамилия моя Барышев.

— Нет, нет! Мне ничего не надо.

Она чувствовала, как ее бросило в жар.

Барышев протянул визитку:

— Звоните, если что...

И тут же исчез в сутолоке перрона.

По приезде в Астрахань, в первый же выходной, мать расстегнула змейку на сашинной сумке, стала неспеша разбираться в вещах. Электрочайник, решила, оставляю себе, вещь не молчащая, живая, будет пыхкать и напоминать о нем. Будто сидят они на кухне, втроем, тихий вечер за окнами, пьют чай, как раньше, и все у них тип-топ, мирно, спокойно.

Некоторые вещи приводили ее в недоумение. Рубашки, например, дико яркие, кричащие, с драконами и павлинами (неужели Саша мог их носить?), отдам все до одной племянникам. Туфли «Саламандра», сорок второй размер, придется впору дяде Мите. Вот только каблук высокий, непонятно зачем. Концертный костюм отдать было жаль, повесила его в шкаф. Тоже для памяти.

Постепенно добралась до дна. Как раз заявила Светлана, когда мать разворачивала объемистый целлофановый пакет. Обе замерли от неожиданности. Каким образом в сашинной сумке оказались ажурные женские чулки, розовый с кружевами пеньюар, стринги и совсем уже непонятные предметы украшения обнаженного женского тела. Чертовщина какая-то!

— Ой, мама! Сууупер! — захлебнулась от восторга Светлана. — Клевая коллекция! Ты ничего не понимаешь! Это вот «боди» называется, а вот, видишь, бюстгальтер с чашечками на подкладке. Знаешь, какие это бабки! Наверное, своей девчонке купил в подарок. Я себе возьму, ладно, мамуся?

— Еще чего? На панель захотелось? — сдвинув брови, сказала мать. — Я их сожгу.

— А, может, это для роли? Помнишь, говорили, что он Пышку эту играл на фестивале, а она проституткой была. Не жги, это ведь последняя сашина роль.

Девочка права, подумала мать. Что за Пышка такая? Взяла в районной библиотеке томик Мопассана, стала читать.

Война. Французы разгромлены. Город Руан захватили немцы. Жизнь словно остановилась: лавки закрыты, улица нема и пустынна. Лишь изредка какой-нибудь обыватель, напуганный этим безмолвием, торопливо пробирался вдоль стен. По улицам шли завоеватели, раздавались команды на незнакомом гортанном языке.

Обыватели, торгаши и лавочники сначала со страхом смотрели из-за ставень на победителей. Но вскоре привыкли к ним, оцепенение прошло, открылись кафе, пошла бойкая торговля. Денежки заколачивать можно при любой власти. Победенные, забыв о гордости, начали угождать победителям. Несколько человек отважилось ехать в соседний город Гавр. В дилижансе десять человек — чванливые буржуа, породистые аристократы, перебирающие четки монахини. И среди них та самая Пышка, девица из борделя.

Антонина Ивановна представляла себе плетущуюся по дорогам войны старую колымагу. Этих достойных людей общества, которые, не скрывая своего презрения, бесцеремонно

разглядывали продажную женщину, случайно попавшую в их компанию. Конечно, ремесло ее достойно осуждения, размышляла мать. Но ведь она добрая, улыбчивая, предложила разделить с ней трапезу из своей необъятной корзины.

Наконец, дилижанс добрался до гостиницы, остановился на ночлег. А утром прусский офицер запретил запрягать лошадей. Пока мадмуазель Элизабет Руссе, т. е. Пышка, не переспит с ним. Казалось бы, для нее это дело привычное. Но... С любимым другим, за деньги или без, пожалуйста! Но только не с затянутым в корсет надменным прусским капитаном. Стрелял в ее соотечественников, а теперь хочет позабавиться с ней: дескать, ему все дозволено в этой покоренной и поверженной стране.

Антонина Ивановна увидела вдруг Сашу. Бледное, как маска, лицо, сжатые губы.

— Скажите этому негодяю, этому скоту, этой прусской сволочи, что я никогда не соглашусь, слышите, никогда, никогда, никогда!

Книгу пришлось отложить: прибежала Светланка, взбалмошная, хип-хап, с выпученными глазницами: ура, в турпоход! На два дня с ночевкой. На озеро Лиски. Где наш спальник? Как нет? Тогда одеяло теплое. Консервы, фанту, яйца отвари, в общем ты знаешь. Я возьму сашину сумку, ты не против?

Утром стали укладываться. На дне сумки, под пластиком, вдруг обнаружился небольшой потайной отсек. Светланка вытащила оттуда клеенчатую тетрадь — до половины она была исписана четким сашиним почерком.

— Да я же все вычистила, — удивилась Антонина Ивановна.

— Хлопушка с сюрпризом, — хохотнула дочка. — Разбейся, мамуся. На два дня хватит. Не скучай!

И умчалась.

Дневник? Но Саша никогда не вел дневников. Подсмеивался над теми, кто занимался этой писаниной. Она отложила книгу, полистала тетрадь. Буквы были мелкие. Много помарок и вставок. Пришлось надеть сильные очки.

«12.01.2004.

Фестиваль! Фестиваль! Это словцо, как диковинная птица, влетело в наш театр. В примерках, в буфете, в курилке на железной лестнице только и говорят о нем. Ради этого я и купил эту тетрадь. Вперед, летописец Нестор!

Где этот чертов Руан, куда мы должны ехать? Про Париж знаем, про Марсель тоже слышали... Кто-то принес атлас, нашли. Ага, вот куда мы возем нашу «Пышку»... Север, Нормандия... Городок небольшой, но с историческим прошлым.

Рита Савельева-Панкратова ходит, как королева. Она ведь главная героиня. Она Пышка. Толстенькая, круглолицая, грудь прямо вываливается из платья. Точно как описал товарищ Мопассан, лучше не найти. И попойкой вильнет, и ножку невзначай покажет, зажигалочка, короче, мужиков сшибает на раз. Ходит по всему театру, выпендривается: «Кто вас во Францию везет, гады? То-то». В чем-то она, может быть, и права. И критики, и отборочная комиссия вознесли ее до небес.

14.01.2004.

Мы с Мишей Долматским играем Прусского капитана. В очередь. Мне кажется, что у Мишки получается лучше. Высокомерен и «хамовит», как сказано у автора.

У меня этих красок, наверное, меньше. Кто из нас поедет в Руан? Пока темная ночь.

17.01.2004.

Вызывал главный. Объявил: еду я! Мишка ходит смурной, я его понимаю. Володя Барышев подарил мне дигитальную фотокамеру. Дорогущая штука. 12 мегапикселей. Чтобы я все соборы и дворцы отфоткал. И приказал вести дневник. Это мучительней всего.

29.01.2004.

Катастрофа! Ритка попала в ДТП. Чудом жива осталась, еще в реанимации. Руан, чувствую, накрылся. Куда же ехать без Пышки? Всеобщая паника.

10.02.2004.

Главный принял решение. Не поворачивается рука записать. Вчера вызвал меня и с ходу: «Будешь играть Пышку. Учи роль». — Я? «Да, милый Саша. Рита выйдет через месяц, не раньше. А у нас 29 марта спектакль в Руане. Я не могу рисковать. Перелом серьезный. Срастется, не срастется... А ведь у нее и танец, и пробежки... Ты же знаешь».

Я не знал, что сказать. Поговорил с Мишкой. «Тут даже двух мнений быть не может. Ты же подведешь коллектив. Народ тебе не простит». Втайне, конечно, он был рад, что теперь уже наверняка его Прусский капитан поедет в Руан. Подло, свинство... Не знаю, что делать.

19.02.2004.

Пошли ежедневные репетиции. Я пока что ничего не понимаю. Зато Юлий Адамович доволен, придумал новый рисунок роли.

— Мы едем в город, где сожгли Орлеанскую деву. И вот... стукнуло в голову. Представляешь, если в твоей Пышке, продажной девке из руанского борделя, проснулась Жанна д'Арк, национальная героиня Франции. Бросившая вызов захватчикам. В тебе есть то, что мне нужно: гордость, достоинство, готовность к самопожертвованию. Такой Пышки, Саша, еще не было. Конечно, для Риты это травма. Может быть, посильнее той, что загнала ее в больницу. Но что делать, такова воля Божья... *(Когда люди делают подлость и сами знают об этом, они ссылаются на Божью волю.)*

23.02.2004.

Сегодня был прогон нового варианта «Пышки». Я пригласил Володю Барышева, вернее, он сам напросился. От комиссии из Москвы приехала критикесса в черных очках и клетчатых брюках. Она, по сути, должна была решить судьбу нового варианта и дать добро на поездку. Ничего не могу сказать о себе. Не играл, а жил. Кажется, излишне форсировал. И Жанна, и Пышка переплелись во мне, слились воедино, когда я произнес слова, ради которых мы ставили спектакль:

— Скажите этому негодяю, этому скоту, этой прусской сволочи, что я никогда не соглашусь, слышите, никогда, никогда, никогда!

«Гениальное решение!» — сказала критикесса.

Ура, мы едем! Едем!

1.03.2004.

Из декораций везем самое необходимое. За кулисами, в коридорах стоят деревянные контейнеры с надписями на французском языке *République française, Rouen*.

Меняем рубли на евро, покупаем консервы. Ждем виз.

3.03.2004.

Все летит к чертям! Триллер какой-то, дурдом! Утром помреж Ваня собирает всех «руанцев» в кабинете главного. В чем дело? Ждем Адамовича. Приходит, туча тучей. По глазам ясно, что уже принял для разрядки. Молча сел за стол. Обхватил голову руками. Великий трагик. Держит паузу. Что же стряслось?

— Друзья, — выдавил наконец, — мне стыдно глядеть вам в глаза. Убейте, презирайте, ищите себе другого худрука. Не оправдал вашего доверия, но моей вины нет. Кинули меня в министерстве. Вчера пришел факс, вот он... Эти суки... Суки! Другого слова нет! Решили послать в Руан другой театр, не нас. Какая-то вшивая студенческая группа с модерновыми штучками-дрючками.

— Да как же так?

— А вот так. Звонил им, умолял. Все без толку. Спектакль у вас отличный, говорят, но традиционный. Французам нужен сюр. Ищите олигарха, пусть спонсирует вас. Мы не против.

— Они что, охренели? — крикнул Мишка Долматский. — Бошки им скосило, точно... Это ж тысячи баксов... да нет, десятки или даже сотни тысяч.

— А если Барышева разжать? — вдруг предложил помреж Ваня. — Он, говорят, водкой пол-Европы залил. Острова покупает. Для него это копейки, раз плюнуть. И Савичев, между прочим, с ним вась-вась.

Все на меня смотрят, ждут. Я молчу.

— Попробуй, попитка не питка, — тихонько говорит Мишка Долматский.

— Барышев мужик непоганный, в театр к нам свою дочку приводил. Мне, между прочим, бутылку коньяка от него поднесли, — сказал, сладко жмурясь, старик Роговский. — Я из Руана две ему привезу... Знаете, из всех этих мажоров он самый немажористый.

— Стучаться надо во все двери, — сказал главный. — Мне нравится, друзья, ваш запал. То, что мыслите конструктивно, отступать не собираетесь.

И, обратившись ко мне, спросил:

— Вы действительно, Саша, дружите с этим Барышевым? Официальным тоном, на «вы».

— Мы знаем друг друга, встречаемся иногда в клубе, — сказал я. — Он приходит на мои спектакли. Но... Сами понимаете, какая может быть дружба между актером с зарплатой домработницы и олигархом. Табачок врозь.

— Я понимаю, Саша, что вам, наверное, неловко обращаться к господину Барышеву с такой просьбой. Сумма очень велика, можно сказать — неподъемна. Даже, полагаю, для него. Не хочу на вас давить. Сможете — и я, и весь театр будем благодарны вам. Как говорится, по гроб жизни.

5.03.2004

Меня загнали в угол. Не спал всю ночь. В театре хоть не показывайся.

— Привет, Саша, ходил к Барышеву?

— Что ты тянешь, старик? Еще парочку дней и писец.

Некоторые просто молчат. Проходят мимо, едва кивнув. Это еще хуже.

Ритка прислала из больницы записку:

«Старая Пышка — новой. Сашенька, милый, никаких обид на тебя, клянусь. Люблю и преклоняюсь перед твоим талантом. Сделай, что в твоих силах. Все надежды на тебя».

6.03.2004.

Идти к Барышеву, как на Голгофу. Ну не привыкли мы с матерью ходить с протянутой рукой. Когда отец кинул нас, скрутило здорово, жили на одну ее зарплату. Старшая медсестра, сколько она там получала? Я еще в школе был, а Светлана только в садик пошла. Машинка у нас пишущая была, помню, «ундервуд» допотопный. Ночами, уложив нас, мать строчила на машинке. 11 копеек за страницу. А когда в одной конторе договорилась за 13, праздник был. Так и жили. До сих пор по ночам стучат над ухом клавиши, звякает в конце строки каретка. Мы ведь тогда в одной комнате жили. Как мы со Светланкой спать могли!

Позвонил Барышеву. Вечером, говорит, жду тебя в клубе. Заливной судачок, шампанское, креветки, легкая беседа. Ни о чем, все вокруг да около.

— Скучать буду по тебе, Саша.

Положил на мою руку свои холеные тонкие пальцы, блеснув бриллиантиком в перстне. Долгим взглядом смотрит прямо в глаза. Улыбается.

— А ты? — глядя на меня с прищуром, руку не принимает. — Забудешь меня в этом Руане.

— Можете не волноваться, Володя, не забуду. Мы никуда не едем.

Он опешил.

— Вот так новость. В чем же дело?

Я в двух словах объяснил ему ситуацию. Он расхохотался:

— Так и сказали — ищите олигарха? Мыслители! Дельный совет: их же, как зайцев в лесу, этих олигархов. И каждый норовит в рагу попасть. Вот один из этих зайчат насупротив тебя сидит. Ты же за этим сюда притаранил? Не вилай, Саша.

— Да.

— И надеешься, что я отстегну пару миллиончиков?

— Иначе не пришел бы.

— Правильно. И знаешь, что я тебе отвечу? Да, Саша. Но не театру. Мне на него с высокой колокольни, понял? А тебе

лично. Александру Савичеву. Чтобы ты свою «Пышку» показал миру. И еще потому, что я тебя люблю.

Не первый раз я слышу от него подобные слова. Шутит или всерьез?

— Может, и ты меня полюбишь? — добавил он тихо.

Я вскочил, не помня себя от ярости. Рука потянулась к бутылке с шампанским. Моя миролюбивая рука! Я бы убил его, клянусь. Не Барышев был передо мной, а наглый прусский офицер с самодовольной усмешечкой на тонких губах.

Он побледнел, ловко схватил меня за руку.

— Но, но! Я еще жить хочу! Остынь, Саша. Шуток не понимаешь? Поставь бутылку. Таким напитком грех облить мою голову. Не шампунь ведь, а шампань. «Вдова Клико», девятьсот восемнадцатого года. Это лучший, по их летописям, год сбора винограда.

Я сел. Он налил мне шампанского.

— Пей, Саша. Поговорим как деловые мэны. Люблю — не люблю — это фантики. Обертки от конфет. Давай по сути. Поговорим, как в век капитализма. Как ни печально, Саша, но благодетелей нет, есть только взаимная выгода. Я нужен тебе, вернее, не я, а мои бабки. А ты нужен мне. Я хочу предложить тебе выступать в моем клубе «Холидэй», в ночной программе, для серьезных пацанов. Ты артистичен, красив, великолепная пластика. Работа после 12, театру не помеха. Мой человек подготовит контракт. На полгода, а там поглядим. Ну как? Руан не Париж, но стоит мессь? А, Сашок?

В тот же день.

Театр ликует. Меня целуют. Актеры как дети. Починили испорченную игрушку, вот и праздник. После утреннего спектакля, когда закрыли занавес, вдруг начали петь: «Мы едем, едем, едем в далекие края!» Чего мне это стоит, никто не знает. Я улыбаюсь.

Пришел человек от фирмы Барышева, принес на подпись контракт с клубом «Холидэй». На восемь месяцев. А говорил, кажется, о шести? Ладно, черт с ним!

Не буду мелочиться. Театр получил официальное подтверждение, авизо, о перечислении трех миллионов на наш счет. Адамыч тут же отправил в Министерство факс: «Вопрос с финансированием решен. Ускорьте высылку виз».

— Как же ты его уломал, старичок? — допытывается Мишка Долматский. — Ну ты и дипломат! О контракте с клубом молчу».

Антонина Ивановна отложила сашину тетрадь, сняла очки. «Молчит потому, что вяпался». И у нее было предчувствие чего-то непоправимо тяжелого, неминуемого, которое вот-вот должно случиться и придавить ее своей тяжестью.

После этой записи в дневничке сразу пошли руанские впечатления. Торопливые, беглые заметки. Саша впервые был за границей, все его интересовало. Времени для дневника, видимо, не оставалось. В первый день им устроили экскурсию по городу.

«Готика Собора Руанской Богоматери — какое величие! Устремленная в небеса узкая стрельчатая башня, была, оказывается, долгое время самой высокой точкой земной постройки.

На площади Старого рынка церковь святой Жанны д'Арк. Место ее казни. «Я будто стоял рядом с костром, меня обдавал его жар, — записывал Саша. — Закрыв глаза и увидел ее. Бумажный колпак на голове, на нем одно слово: «Еретичка». Факел с огнем, вспыхивает сухой хворост, Жанна, вся в языках пламени, кричит епископу: «Я вызываю вас на Божий суд». Странное чувство охватило меня — я был ею. Быть может, это только мои актерские фантазии...».

29.03.2004.

Отыграли! Вызывали 12 раз. Отмечали у главного. Расслабиться не дал — завтра в 7:30 отъезд. Посидели чисто символически. Везем диплом фестиваля и я лично приз зрительских симпатий. В Париже, в аэропорту Charles de Gaulle, в киосках сувениров, поспешно спускаем оставшиеся еврики, наскоро покупали подарки близким и знакомым.

Огромный город, стекло и металл, залитый ослепительным светом. Тут запросто можно заблудиться. Что и произошло со мной — я ведь совсем не ориентируюсь в пространстве: попал не в свой терминал. Адамыч чуть не рехнулся: уже регистрация на рейс закончилась, а меня нет. А вдруг я решил просить здесь политическое убежище? Представляю себе заголовки газет: «Русская Пышка возвратилась на свою историческую родину»!

5.04.2004.

Дома! Можно было бы подвести черту в моем «Руанском дневнике». Но привык уже царапать. Что ж, как говорится, продолжение следует.

Сразу же привычные проблемы. Банковский счет театра закрыт. Зарплату задерживают. Главный решил послать «Королевство» на выезд, заработать бабки на «горшочниках». А Барышев сразу же после нашего приезда из Франции представил нож к горлу: «Холидэй» готовит новое шоу, я вызвал из Москвы постановщика, ничего не хочу знать — немедленно приступай к работе. С театром я все улажу.

11.04.2004.

Всесильный человек этот Барышев! «Бульдозеры б делать из этих людей!» Вместо меня на Принцессу ввели молоденькую девчонку из массовки. И ничего, представьте себе!

13.04.2004.

Барышев познакомил меня с Димой, шоуменом из Москвы. Гаденький, бородастый, презрительная снисходительная усмешка, как у любого говна из столицы, приехавшего к нам в провинцию. Кинул на стол мятый замусоленный сценарий. «Завтра на репетицию. В 10 вечера».

Ну и ну! Куда меня, идиота, занесло! Листаю захватанные липкими пальцами страницы. Этот Дима, видимо, возит сценарий по городам и весям. Эротическая программа под названием «Волшебные страсти», рассчитана на 60 минут. Для

людей, как сказано в аннотации, желающих увидеть интригующее театрализованное, костюмированное стриптиз-шоу.

...Пляж где-то в Таиланде, «Патайя отель». Экзотика, пальмы, земной рай. Обнаженные миниатюрные тайки пляшут на берегу. Их задача — расслабить зрителей. «Это яркое эротическое лесби-шоу, полное страсти, дурманящих поцелуев, волнующих движений, пика эмоций и обострения чувств. Зажигательные страстные девушки задерживаются на каждой открываемой части тела, лелеют и ласкают ее. В продолжение этого захватывающего представления — приватный танец для желающих лучше разглядеть все самые впечатляющие особенности современной любви, не признающей различия полов. Это уже, как я понял, касается меня! «ОН — неотразимый мачо, ОНА — женщина вамп. Страстный танец пары с медленным стриптизом. Оба обнажаются до тех пор, пока становится ясно, что Он — на самом деле она, а ОНА...»

Дальше читать не мог, помчался к Барышеву. Кинул ему сценарий.

— Порнейшее порно! Мерзость! Я артист! Как вы могли подумать, что я... буду участвовать в этом борделе?

— Это не порно, Саша, — спокойно, осаживая мой пыл, произнес Барышев. — Даже депутаты Госдумы не могут провести границу между эротикой и порнографией. Это во-первых. А во-вторых...

Он вынул из сейфа наш контракт.

— Вот, милый мой... это твоя подпись? Можешь почитать... Здесь оговорены часы работы и длительность нашего сотрудничества — восемь месяцев. А про твои роли... кем ты будешь в моей программе — Бабой ягой или стриптизершей — молчок. Значит, это мои проблемы, за это я три лимона выложил вашему так называемому театру. Иди, Сашенька, трудись. У меня, к сожалению, через несколько минут важная встреча. «Адью!», как говорят у вас в Руане!

14.04.2004.

Это была его месть. За бутылку шампанского, которую я хотел разбить об его башку. За то, что позволил себе так от-

реагировать на признание в любви. Восемь месяцев рабства — как раз до Нового года. Все предусмотрел, подлец!

Каждый день после вечернего спектакля тащусь в клуб на репетицию. В театре, конечно, никому. Шоумен Дима учит меня искусству мужского стриптиза. Забраковал мои носки и обувь. Будешь выходить босиком — это само по себе сексуально. Наденешь рубашку с драконом. Во, супер!

Появилась моя партнерша. Она побрита наголо.

— Мне сожгли волосы в парикмахерской, — хриплым прокуренным голосом сказала она. — Но ты не волнуйся, мальчик, на программе я буду с шикарной головкой. Зови меня Сирена. Это мой псевдоним.

Дима начал ставить наш первый танец.

— Подойди к ней в ритме музыки, прикоснись к ней. Она постепенно входит в экстаз. Пусть расстегнет у тебя пуговку на брюках. Сирена, прикасайся к нему в танце. То ручкой, то попкой. Активнее, наглее! Саша, освобождай брюки, пусть падают к ногам. Теперь важно избавиться от них, не запутавшись. Так, молодец! Все время покачивай бедрами, демонстрируй свою сексуальность. Пошел танец! Смелее, разнузданнее. Подходим к самому главному. На глазах зрителей происходит перемена полов. На Саше стринги и тряпочка на груди. Сирена изменяется пластически — движения резкие, грубые. Она госпожа. Бросает Сашу на пол, избивает его.

Я присел на край сценической площадки. Меня тошнило.

— В чем дело? Давай работай. Тоже мне, принцесса на горошине.

Я надел джинсы, куртку и, не прощаясь, ушел. Будь что будет — штраф, тюрьма, что угодно. Только не это дерьмо, в которое меня окунули с головой.

20.04.2004.

И все же я сдался. Два раза в неделю в клубе собирались крутые пацаны, были среди них и иностранцы — очевидно, водочные партнеры Барышева. И мы с Сиреной и тайскими малолетками выделялись перед ними.

В тот же день.

В театре стало известно о моей ночной жизни. Мишка Долматский наткнулся в интернете на страничку клуба «Холидэй», где были наши с Сиреной фотографии. И расшвыстал всем и каждому.

— Так ты, Саша, оказывается, в стриптиз-баре подмолачивашь? — с ехидцей сказал старик Рогульский. — Может, и я тебя там приткнешь в пидоры? А? Да меня бы ни за какие бабки не затянули в этот бордель. Артист ты или не артист?

22.04.2004.

Сегодня выдали зарплату за полтора месяца. На радостях скинулись на банкет — ведь еще не отмечали наши французские гастролы. Меня не вспоминали, будто и не было за столом. Потом Ваня, помреж, сказал:

— За госпожу Пышечку! Виват!

Все заржали. Забыли, как увивались вокруг меня, как упрашивали, как умильничали. Нет, не так я сыграл Пышку, как нужно было. Не Прусский офицер, с которым она переспала, был ее врагом. А те, кто в дилижансе, продолжавшем свой путь. Старик Мопассан прямо так и пишет:

«Никто не смотрел на Пышку, не думал о ней. Она чувствовала, что ее словно захлестнуло презрение этих честных негодяев, которые сначала принесли ее в жертву своим интересам, а затем отшвырнули как грязную, ненужную ветошь».

23.04.2004.

На двери моей комнаты кто-то старательно и четко написал черной краской: «Госпожа ПЫШЕЧКА!»

— — —

На этом кончались сашины записки. Несколько последующих страниц были вырваны под корешок. Что-то написанное перед самой смертью. О чем он еще хотел сказать? Может быть, эти последние слова были адресованы ей?

Беззвучные слезы катились по темным с морщинками щекам Антонины Ивановны. Она заставила себя встать, открыла нижний ящик комода и вынула шкатулку палехской работы с лакированными богатырями. Все ценное, что у нее было: старинные бабушкины серьги белого золота с бриллиантами, родительские обручальные кольца, кулон с янтарем и еще кое-какая бижутерия. В скупочном пункте драгметаллов ей предложили 625 зелеными, за все, вместе со шкатулкой. Она согласилась — даже не ожидала такой суммы. В рублях это сразу превратилось в тысячи.

Перед отъездом написала Светланке записку: «Уезжаю в Болотинское, к дяде Мите и тете Наде. Приеду во вторник — среду, суп и жаркое в холодильнике, на второй полке. Мама».

В Болотинском поминали Сашу с соседями. Ее приезд пришлось на сороковины. Многие помнили покойного еще мальчонкой, приезжавшим из города на лето с удочкой и сачком. Про то, что он сам свел счеты с жизнью, Антонина Ивановна никому не сказала. Ехал с другом на мотоцикле и попал в аварию. Обоих на месте.

Пили щедро. Разглядывали Сашины фотографии из ролей. Тетя Надя все время беззвучно всхлипывала и утиралась кухонным полотенцем. Потом попели песни, печальные, вполголоса, и к ночи разошлись.

Утром занялись делами. Дядя Митя примерил сашины туфли «саламандра» — пришлишь впору, немецкая работа, сносу нет. Был доволен, ходил по дому, не снимая их. А каблук, не волнуйся, Тоня, стачаем — у нас тут такой фасон не пройдет. Племянники, Сережа и Кирилл, обрадовались рубашкам, даже чуть не подрались — кому с павлином, кому с драконом.

Оставшись наедине с дядей Митей, мать как бы ненароком завела разговор о Пашке Громове.

— Блукал, блукал по белому свету, сей момент дома сидит, лапу сосет, — сказал дядя Митя. — На нарах-то миску с бандой всенепременно поднесут, а на воле, брат, шалишь, попотей сперва.

— У меня, дядя Митя, к нему разговор есть. Съезди за ним.

— Ты что, Тоня, какой такой разговор? Он же за мокруху девять лет отдубасил.

— Прошу тебя, дядя Митя.

Старик сел на велосипед и умчался. А вечером явился Пашка Громов, с прежней презрительной ухмылкой на темном цыганском лице. В густых черных кудрях его, памятных ей с юных школьных лет, уже настырно пробивалась седина. Антонина Ивановна дала знак дяде Мите, тот вышел в сад, оставив их вдвоем.

Антонина Ивановна вынула из сумочки пачку денег. Достала визитку Барышева, положила ее сверху.

— Этого человека. Кончишь дело — получишь столько же. Понятно?

— Чего ж не понять? И дурному яснее ясного.

Он положил деньги в карман старых обтрепанных брюк и вышел. Зашел дядя Митя:

— Ну? Поговорили?

Антонина Ивановна кивнула. И улыбнулась. Впервые за несколько последних дней.

Слон

Местная шпана обзывала нас «выковыренными». С издевкой словцо, из языкатой базарной толчеи. А по сути верное. Выковыряла нас война из больших, залитых электричеством городов, и раскинула рассыпной горстью по городам и весям на тысячи и тысячи км.

Его могло и не быть в нашей жизни, этого пыльного казахского городка, не будь войны, Гитлера, панической эвакуации в пропахших навозом теплушках. Маленький город с пересохшими арыками и тополиной ватой на асфальте, по которому, раскачивая гордыми головами, расхаживали верблюды, возник из небытия и стал нашим прекрасным и неповторимым военным детством.

Мы, все четверо, были «выковырями». Вадик Белабаш эвакуировался из Ленинграда, Фира Лошадь из Житомира, я и Вилька Винокур были в той довоенной жизни киевлянами. Жили мы все на Ремесленной улице. Не улица, собственно, а бестолковый лабиринт домишек, самострой из соломы и глины, стоящих вкривь и вкось, одинаковых, как коровьи лепешки. Ни деревца в унылых дворах, ни цветочка. Пирамида кизяков на зиму подпирала обычно стенку сарая. Хозяева изо дня в день, по колено в навозе, месили новые замесы для новых кизяков.

Летом мы весь день кучковались на речке. Круто скатываясь с гор, она, разогнавшись, мчалась ледяной струей, не успевая нагреться, далеко за город. Казахское название ее было Муздай — «ледяная». Быстрое течение далеко относило пловца. Вылезая из воды, с дрыжаками на животе, первым делом сдирали с себя налипшие холоднючие трусы. И потом, пряча в ладонях то, что уже приучились прятать, прыгали голяка на одной ноге.

Слон приходил на речку после обеда.

— Витаю, хлопаки, — приветствовал он по-польски.

Огромный по сравнению с нами, он величественно обнажал свое красивое гладкое тело, покрытое ровным матовым загаром, надевал черные солнцезащитные очки и, сигаретка в зубах, укладывался навзничь. Загорал он четко по науке, поглядывая на часы и подставляя палящему южному солнцу то мощные плечи, то ребристый белесоватый бок, то поджарые ягодицы.

В то время не то что у пацанов — не каждый взрослый имел часы. А у Слона были заграничные, точнее Биг-Бена, как он говорил. Но главным их достоинством было то, что они были водонепроницаемыми. После каждого заплыва, едва Слон вылезал из воды, мы окружали его в надежде увидеть остановившиеся часы и поиздеваться над заморским чудом техники. Черта с два! Слон смачно хохотал над нами, тыча в глаза мокрые часы с живыми подскакивающими стрелками.

— Читайте, хлопцы, что написано. А... позабыл! Вы ж дойч долбите. А тут по-английски. „Waterproof“. Два слова — вода и защита. Поняли? Для водолазов.

— А вы что, водолаз? — бесцеремонно хмыкнул Бела-баш. — Вы же самый обыкновенный сапожник.

Слон провел своей могучей пятерней по его льняным кудрям и ничего не сказал. Такой был, помнится, наш разговор при первом знакомстве.

Слон действительно сапожничал. Мы приносили ему ботинки с оторванными подошвами, туфли со сбитыми каблучками, порванные галоши и через несколько дней получали довольно приличную обувь, способную еще два-три месяца защищать от кочек и камней наши нежные ноги.

Летом он работал во дворе, с утра до обеда, под козырьком из кровельного железа, защищавшим от дождя и солнца. Вокруг стояли полочки с деревянными колодками, шильями, напильниками, а сам Слон восседал на табурете с плетеным сиденьем. Мы усаживались вокруг и смотрели, как ловко орудут его огромные ручищи, ворочая во все стороны насаженный на лапку ботинок. Как пропитанная варом дратва на-

крепко ровным стежком сшивает верх и подошву и на наших глазах стоптанный изорванный ботинок принимает приличный вид чуть ли не модельной обуви.

Часто к Слону навевывались девицы. Им он оказывал особое почтение. Откладывая в сторонку работу, шутил, глаза его оживлялись. Замерял ступню, щиколотку — ему это доставляло явное удовольствие. И они напропалую кокетничали с ним — все мужики ведь были на войне, а Слон еще не стар, и от его гладко выбритых щек всегда пахло приятным мужским одеколоном. Выдвывались эти девки перед ним всю — и платьем невзначай трепыхнут выше коленок, и нагнутся-изогнутся как лебедь на пруду, и хохотнут призывно.

— Паскуды, хоть при нас бы не выдрочивались, — шипела Фира Лошадь. — Проститутки чертовы.

Однажды, когда Слон пошел на кухню варить клей, Фирка не удержалась и сунула ноги в роскошные кремовые танкетки с плетеным верхом.

— Ой, мама! — заверещала она. — Красотульки какие!

— Скинь, Фирка, тебе Слон сейчас наkostenяет, — сказал Вилька.

Осторожно, будто входя в воду, Фирка сделала несколько шагов.

— Такие точно я в кино видела. Барышня немецкая, фройлейн, в них танцевала. «Розамунда... Розамунда!..» — запела она резко и фальшиво. Закружилась, будто в вальсе, и грохнулась, обрушив полочку с колодками.

Мы заржали.

В дверях домика возник Слон. Он показался нам каким-то встревоженным.

— Не надо песни, — негромко, но властно сказал он Фирке. — Никогда не надо. Таких.

Фирка, уже босая, виновато обтирала танкетки подолом платья.

Инцидент был исчерпан, но не забыт.

— Видали, как он труханул, — сказал Бебаш, когда мы двинулись по домам. — Тут что-то есть.

В начале нашего знакомства мы ничего о Слоне не знали. Известно только было, что поляк, фамилия его Слонимский или Слонский. Поэтому все его звали Слон. Кличка соответствовала росту и массивной фигуре с широкими плечами. Двигался Слон неспешно и как бы лениво. И край любил, когда ему делали массаж.

За пару дней он обучил нас всем премудростям массажного дела, от поглаживания и растирания до обливания ледяной водой. Мы освоили все эти «щипчики», «грабельки», «биточки», «гребешочки» и прочие приемчики.

Как лилипуты на Геркулеса, мы с восторгом наваливались на громадного, распростертого на прибрежной траве Слона, и кромсали, давили, мяли расслабленные податливые мышцы до тех пор, пока багровела крепкая морщинистая шея и Слон в счастливом изнеможении взывал к нам: «За мало, хлопцы», что означало «достаточно». За этим следовала мелочишка на мороженое, заработанная честным квалифицированным трудом.

Однажды кто-то из нас, по-моему Белабаш, затеял с ним «душевную» беседу.

— Скажи, Слон, ты правда служил в Польской армии?

— Было дело.

— А в каких войсках? Если не секрет, конечно? — спросила Фирка.

— Какой секрет сейчас? Разведка. Хорунжий был чином.

— Ты в плен попал, да? — продолжал допытываться Белабаш.

— Ага. Под Ковелем. Вся наша бригада. Окружили, панов офицеров хлоп-хлоп, а нас в теплушки и по лагерям. За друг колчастый.

— Надо было биться с фрицами, как наши, а вы.... — сказал Белабаш и остановился.

— А мы к вашим и попали.

— Как так?

Слон не ответил, стал кидать вещи в сумку, собираясь уходить.

— Кто знает, как так... Вот ты, Вилька, иди сюда. Стань передо мной. И лупи меня по груди. Бей, бей... А ты, Балабашик, колоти по спине. Вот так и было. С одной стороны ваши, с другой фрицы. И не стало Речи Посполитой, все, амба.

Его светлые голубые глаза чуть замутились, он подхватил сумку и пошел.

Два дня лил дождь, на речке никого не было. Ремесленная улица стала топким стоячим болотом. Под ногами чавкало, брызгалось, засасывало по щиколотку. Мы с трудом добрались до Фирки, обмыли перепачканные в глине ноги и, забравшись в полутемный куриный сарай, стали резаться в подкидного.

— Зачем Слону в душу лез? — наставилась Фирка на Балабаша. — Думаешь, приятно, когда твою страну победили?

— У него даже слезы были, — сказал Вилька.

— Много вы понимаете, балбесы! — взвился Балабаш и бросил карты. — Они в наших стреляли. Недаром их в лагерь забрабастали. Мне тетя Лиза сказала, им сейчас позволили жить по свободе, но каждый день отмечайся.

— Откуда твоя тетя Лиза знает? — спросил я.

— Раз говорит, значит знает. В милиции раньше работала. Может, он шпион, говорит, этот ваш Слон.

Мы, все трое, заржали.

Но Балабаш не унимался.

— А приемничек у него зачем? А?

— Какой приемничек? — насторожились мы.

— Маленький, с антенкой, на подоконнике. Я как-то с туфлями приперся, его во дворе нет, я в комнату зашел, а он перепугался, вскочил, газету на него набросил.

— Ух ты, глазастенький какой, — зашипела Фирка. — И ты про него своей тетке стукнул?

— Сказал, а что? Она говорит: точно передатчик.

— Дура твоя тетка и ты вместе с ней! — толкнул его в плечо Вилька. — Трепло несчастное!

— Не трожь мою тетку! — взвизгнул Балабаш. И развернувшись, дал Вильке тычка под нос. Затеялась драка. Заквохта-

ли перепуганные куры. Хрипло затыкал старый пес Жулик. Фиркина мама ворвалась в сарай и выгнала нас со двора.

Слона мы увидели на следующий день. Сыпал мелкий дождик, сквозь тучи уже мутно пробивалось солнце, но Ремесленная улица по-прежнему оставалась непроходимой.

Слон шел в сопровождении мильтона, за плечами его висела котомка. Шел он медленно, широким шагом, поочередно вытаскивая ноги из вязкой липкой глины. На обочине, там, где зеленел квадратик травы, стояла, дожидаясь их, черная «эмка».

Проходя мимо нас, Слон едва заметно кивнул. И слегка улыбнулся. Так показалось и мне, и Вильке, и Фирке.

Дядюшка Христофор

1.

С юношеской ранней поры у Виталика не получалось с девушками. В школе он вообще ни-ни, честно долбил науки, участвовал в олимпиадах, ходил в шахматный кружок. И более ни о чем не задумывался. Однажды Славка Дробыш вытянул его на танцы в Дом культуры «Красный Октябрь», там славикова мать работала уборщицей. И с этого, пожалуй, все началось.

Было это сразу же после войны, лихое голодное время, только недавно отменили карточки. Все вокруг бедные, худо одетые, с серо-зелеными заплесневевшими лицами. А танцевать хочется несмотря ни на что. Танцевали в полутемном зале с еле дышавшими батареями. Пианист, худой и бледный, с обмотанной шарфом шеей, неустанно колотил по холодным дребезжащим клавишам. Скорее всего, чтобы согреться. После каждого танца он вздымал вверх руки и разминал натруженные пальцы.

Ни вальса, ни польки Виталик не танцевал по причине полного отсутствия слуха... Прятался за нетанцующими, боясь белого танца, когда «дамы приглашают кавалеров». Он ведь мог только танго. Вот и выжидал. Друг настойчиво толкал его локтем, показывая глазами на ту или иную девушку. Но Виталик так и не решился к кому-нибудь подойти, пропустил два танго, на том первый вечер и закончился.

На следующей неделе, уже в самом начале танцев, его пригласила какая-то особа. Она, видно, высмотрела его заранее и, когда объявили белый танец, рванулась к нему целеустремленным гвардейским шагом. На счастье, пианист барабанил танго. Девка была грузная, старше его, с нахальными

бесстыжими глазами и пугающе большой грудью. Виталик приобнял ее и бережно, как блюдо с тортом, понес эту колышущуюся грудь сквозь пары танцующих.

— «Где же ты теперь, моя Татьяна...» — пропела девушка в такт музыке. — Это про меня песня. Я ведь Татьяна.

— Очень приятно. Виталий

— Обожаю Лещенко. А ты?

Виталик что-то мыкнул. Она помешала ему считать шаги, сбила с ритма и, разворачивая свою партнершу, он кого-то толкнул, его обозвали «мудилой», но тут, к счастью, пианист отбарабанил заключительный аккорд, и мучительно долгий танец наконец закончился.

Славка Дробыш, оказывается, успел уже познакомиться и станцевать с ее подружкой.

— Проводим? — спросил он Виталика тихо. — Они тут рядом живут, в общежитии.

Не хотелось Виталику, но пришлось идти. Вахтерша вовнутрь их не пустила, с шумом-гамом вытурила из дверей, так что можно было бы и по домам разбежаться, но Славка потянул всю гопку во двор, где как раз нашлись две пустые, как по заказу, скамейки. Славик травил анекдоты, смешил свою новую подружку, они уже шумно и смачно целовались, и он напропалую валил ее навзничь. А Виталик все еще каменно сидел, свесив неловкие свои руки на колени. Издумался весь, с чего начать, чем бы посмешить эту пышногрудую, и вспомнилась вдруг кстати тетя Рая из Рязани с ее шуточками — прибауточками. Он оживился и сказал как можно звонче:

— Вот у меня есть тетушка...

Девчонка зло скосилась на него и оборвала резко:

— А дядюшки у тебя нет?

Виталик дико вылутился на нее:

— Какого дядюшки?

— Вот этого — насмешливо произнесла она, положив руку ему чуть выше колена. — Дядюшки Христофора...

Он дернулся всем телом и откинул ее руку. Прикосновение было неприятным.

Она хохотнула. Глаза ее шкодливо разгорались. Ей нравилась такая игра и смущение этого паренька.

— Он тебе что-нибудь говорит? Дядюшка твой?

— Ты что, сдурела?

Она притворно ужаснулась.

— Ни он тебе, ни ты ему?

— Слушай...Как мы с ним, по-твоему, должны говорить?

И о чем?

— О девчонках. У него других тем нету. Как попку клевою заметит или, скажем, вот такую грудяночку, как у меня, шикарную, двуспальную...Сразу шелестеть должен, если он нормальный дядюшка. Подсказать своему племянцу, что делать надо. Куда руки забросить и прочее... А твой что? Ничего не шепчет?

Виталик помотал головой.

— А вообще? Не сейчас, так раньше. Неужто все молчит?

— Почему молчит? Писает.

Хотел пошутить, а понял, что сморозил. А она как зашлась дурацким своим смехом, просто давиться начала, со скамейки вниз сползает, трясет ее.

— Танек, ты в порядке? — крикнула ее подруга из темноты.

— Все в норме, — крикнула Татьяна в ответ. — Не бойсь!

Потом встала, оправила юбочку.

— Эх ты, ссыкун прыщавый! — презрительно сказала она и пошла скорым шагом к себе в общагу.

В трамвае, на обратном пути, Славка начал пытаться Виталика:

— Ну, как у тебя с этой грудастой? С Танькой? Пошло-поехало?

— Пошло-поехало, — сказал Виталик.

— Ржала она, это клево. Нашел подзаходик, значит. Не знал я, что ты такой хохмач. За сиськи подержался?

— А то!..

— Во вторник после танчиков поведем этих шалав в парк Горького. По рукам?

— По рукам!

Но ни на какие танцы Виталик больше не ходил.

Назавтра, когда мамы не было дома, он, весь в смутной тревоге, начал рассматривать своего дядюшку Христофора перед зеркалом. Никогда раньше не заглядывал он туда, а теперь любопытство заело. Дядюшка был похож на маленького, сидящего в пуху птенчика. Виталик прыгнул — и дядюшка тут же послушно подскочил вместе с ним. Потом они оба поворачивались налево и направо — всегда слаженно, всегда понимая друг друга. Это было забавно.

Но сколько ни прислушивался Виталик, дядюшка безмолвствовал. Лежа на диване, стал вроде бы читать, абсолютно тихо было в комнате, но Христофор не издавал ни звука. Конечно, Виталик не ожидал от него человеческой речи, не такой же дурак он был — и отличник, и третий разряд по шахматам, значит башка есть. Но какие-то сигналы орган человеческого тела в принципе, наверное, может подавать. Урчит же, например, желудок, если ему жрать хочется. Или, скажем, сердце — попробуй испугай его, заколотится будь здоров как, не уймешь. «А что же ты, Христофорчик?» Но тот молчал. Тайна оставалась тайной.

Спросить у пацанов Виталик не решался — чувствовал: засмеют. Хотя у каждого из них, как он понимал, есть свой дядюшка, и поговорить, наверное, было бы о чем. Виталик теперь стал обращать внимание на то сокровенное место, где эти дядюшки сидят. У некоторых ребят дядюшки просто рвались наружу, выпирали из штанов, у других было все ровненько и спокойно, как у него. Но самое главное — подают ли эти дядюшки какие-то сигналы или нет, — определить было невозможно.

Нездоровый интерес к жизни дядюшек погнал Виталика в баню. В квартире у них была ванна с газовой колонкой и вроде бы не было необходимости в коллективном мытье. Но тут, как нарочно, колонка забарахлила, ее поставили на ремонт, и Виталик уговорил маму пустить его в баню.

Надо было преодолеть свою брезгливость, боязнь грибка, которым страшила мама, и вообще голого сообщества нескольких десятков людей, распаренных до красноты, с бесов-

скими вениками и криками, чтобы увидеть то, что ему хотелось. Как он и предполагал, у каждого из мужиков был свой дядюшка, у кого побольше калибром, у кого поменьше. Мужики мотались от кранов с кипятком к мраморным столам, и дядюшки мотались вместе с ними, весело подпрыгивая при каждом шаге.

Виталик спрятался в дальнем углу зала, за колонной, наблюдая, как в клубах пара и хлопьях пены голые мужчины, сидя на скользких столах, с усердием мыли свои органы жизни. Подставляли друг другу спины и гоготали при этом, видимо, получая особое удовольствие от пара и горячей воды... Особенно любовно и старательно купающиеся мыли своих дядюшек, будто те до того выполняли какую-то грязную работу. Обильно намыливали их, ласково щекотали при этом и ничуть не обижались, когда дядюшка, весь в хлопьях пены, шаловливо выскальзывал из рук. Казалось, все они пришли сюда только для того, чтобы отмыть своих дядюшек. Это было какое-то идолопоклонство, и Виталик с отвращением покинул баню.

2.

Миновали школьные, студенческие годы. Жизнь складывалась неплохо, Виталик работал в закрытом НИИ и готовился к защите диссертации. Но дядюшка по-прежнему молчал, и Виталий привык к этому. Тайная жизнь молчащего Христора перестала занимать его.

В лаборатории, где он работал, большинство составляли женщины. Многие из них были не прочь флиртнуть с ним. Но Виталик был со всеми на расстоянии, вежлив и холоден. Никому не выказывая симпатий, любезно занимал очередь в столовой, угощал конфетками с ликером, которые у него, не курящего, никогда не переводились, и всегда готов был одолжить десятку-другую до полочки.

Пару раз по пути он провожал до дому Сашу Александрову, но на ее приглашение зайти к ней попить чайку отказывался. Хотя и признавался, расставшись с ней, что девушка ему

нравилась. Вроде ничего особенного, но золотистые, цвета спелой пшеницы волосы, удачно гармонировали с ясными небесными глазами, а задумчивая улыбка располагала к душевному разговору.

Судьбе было угодно послать их вдвоем в командировку в город Белгород. Поселили в рабочем общежитии, поблизости от завода, где они должны были выпустить и испытать опытную партию корундовых изделий. Сашу на втором этаже, в комнате, где кроме нее жили еще две женщины, а Виталику досталась отдельная комната там же по коридору, за что он отблагодарил комендантшу коробкой недорогих конфет.

На второй день, вечером, кто-то постучал к нему в дверь. Виталик был уже в пижаме и жутко сконфузился, когда увидел перед собой Сашу. Девушка была в домашнем халате, малиновом, с какими-то золотистыми птицами. В руках она держала электрокипятильник, без которого в те годы никто в путешествии не отправлялся.

— Извините ради бога, Виталий Илларионович, хотела чай себе приготовить, а он... Контакт, что ли...

Виталик без особого удовольствия пригласил ее в комнату.

— О, — сказала она, подойдя к столу, на котором лежала шахматная доска с начатой партией. — Увлекаетесь шахматиками? Не знала.

Недовольный ее приходом, Виталик думал лишь о том, как быстрее выставить ее из комнаты.

— Кипятильник можешь выбросить, возьми мой, — сказал он.

Саша, будто не слыша его, продолжала молча стоять, нагнувшись над шахматной доской.

Он достал кипятильник из тумбочки и подошел к ней.

— Вот, бери.

— Знаете, в чем белые ошиблись, — задумчиво произнесла она. — Им не надо было ходить конем, а вот так... двинуть пешку b2 на b3. И все.

Она своими нежными пальчиками с малиновыми подцвет халата ноготками передвинула белую пешку с одной клетки на другую.

Виталик обалдел. Он моментально оценил неожиданность и перспективность хода.

— Фантастика! — тихо пролепетал он. — Ты хоть знаешь, кого ты поправила?

— Конечно, — спокойно сказала Саша, откинув упавшую на лоб золотистую прядку. — Это десятая партия матча Ласкер — Капабланка. Тысяча девятьсот двадцать первый год. Я ее обожаю и знаю наизусть. Если бы Ласкер сделал ход пешкой, он бы точно выиграл.

— А вот и нет! — запальчиво крикнул Виталик.

— Могу доказать. Играем?

— Играем!

Дальше произошло нечто невероятное. Сашенька, играя за Ласкера, действительно, выиграла безнадежную, проигранную великим гроссмейстером, партию. Виталик наклонил черного короля и великодушно признал свое поражение. Потом они поменялись: он играл белыми, а Саша черными за Капабланку. На этот раз выиграл Виталик, и Саша запросила реванш. Только на шестой партии, когда за окном размазывал слезы дождливый рассвет, они опомнились.

— До свидания, Виталий Илларионович, — с улыбкой сказала Сашенька. — Вы отличный игрок, я давно не получала такого наслаждения.

Она торопливо запахнула на груди халатик с золотыми птицами и бесшумно выскользнула в коридор.

В голове у Виталика шумело. Никогда раньше разбор великих партий не доставлял ему такого удовольствия. И хоть он проиграл Сашеньке со счетом 2,5:3,5, назавтра весь вечер, замирая душой, ждал, появится ли снова малиновый халатик. И вновь сотворилось чудо. На этот раз Сашенька показала Виталику неизвестную ему партию Наполеона с генералом Бертраном, сыгранную на острове св. Елены. Играя черными за генерала, она ловким ходом коня одержала блестящую победу над императором, чего не было в жизни. Они успели сыграть четыре партии, счет второй ночи был 2:2, но каждая игра была великолепной по красоте.

Ночные шахматные поединки не могли не сказаться на качестве опытной партии корундовых трубок. Их прочность была значительно ниже запланированной, на поверхности изделий после обжига наблюдались сколы и раковины. Заводская военная приемка, а изделия эти предназначались для космоса, отказалась подписывать акт. Виталик вернулся ни с чем, и это было катастрофой. Завлаб устроил ему гневный разнос с угрозами и матом. Диссертация повисла в воздухе, а лишённые премии сотрудники лаборатории, в том числе и Сашенька, отвернулись от него.

— Видишь, подлюга, что ты натворил! — набросился Виталик на дядюшку Христофора.

И он был прав — ведь именно в первую шахматную ночь, в самом начале разбора партии Ласкер—Капабланка, когда Сашенька грациозно наклонилась над шахматной доской, молчун Христофор как-то странно дрогнул и зашевелился, будто он живой и самостоятельный член человеческого организма. И Виталий услышал его горячий возбужденный шепот:

— Сымай с нее халат, чудила!

— Зачем? Здесь же холодрыга! — подумал Виталик.

Христофор возмущенно фыркнул, будто расхохотался. И принялся теревить Виталика. Разгибаясь и выгибаясь, он всячески старался отвлечь своего хозяина от шахматной доски. Не удивительно поэтому, что Сашенька выиграла за Ласкера, хотя по жизни великий гроссмейстер ее проиграл.

Когда же Сашенька расставила фигуры для новой партии Стейниц-Цукерторт, дядюшка совсем взбесился.

— Долой трусишки!! — терзал он Виталика.

— А дальше что? — шепотом спросил его измученный Виталик.

Сашенька отвлеклась от шахмат.

— Вы что-то сказали, Виталий Илларионович?

Виталик засмутился.

— Задумался, какой ход дальше сделать.

— А что тут думать, — зарычал дядюшка из штанов. — Вспомним Ильича: вяжемся в драку, а там посмотрим!

— Точно! — весело сощутив глаза, воскликнула Сашенька, словно услышала дядюшку Христофора.

И в этот самый момент произошло чудо, которого Виталик нигде и никогда не видал.

Сашенька волшебным жестом феи распахнула халатик, и золотистые птицы вместе с малиновым небом рухнули на пол к ее ногам.

3.

— До сих пор не могу забыть ее голубеньких трусиков, — часто восклицал Христофор, причмокивая и блаженно вытягиваясь между ног Виталика. — Скользких и тепленьких от ее тела.

— Я тоже их помню, — хмурил брови Виталий. — Из-за этих трусиков и твоих идиотских подсказок меня и турнули в младшие научные. И зарплату урезали.

— Слушай, не криви душой, — возмущался дядюшка, наливаясь гневом. — Не ты ли визжал от счастья, как поросенок у материнской сиськи?..

— Когда ставил ей мат, возможно.

Христофор захлебнулся, запрыгал от смеха.

— Ты просто конченный, — сказал он отдышавшись. — Я вот жить не могу без нее. Короче, пошли к ней мириться.

С букетом желтых тюльпанов и бисквитным тортиком Виталик постучался в двери квартиры № 5, где жила Сашенька. На ней был тот же малиновый халат с золотыми птицами.

— Я ожидала, что вы придете, — приветливо улыбнулась она. — Ведь мы так и не закончили двенадцатую партию АLEXINA с Капабланкой. Меня все время мучил вопрос, зачем Капабланке понадобилось пойти ладьей на поле С3? Вы помните этот роковой ход? Ведь разумней было бы...

— Скажи, что мы не за тем сюда пришли, — дрыгался и возмущался Христофор.

Сашенька будто услышала его.

— Но сперва давайте попьем чайку с вашим тортиком. И послушаем музыку. У меня есть кое-что интересное. Вам с лимоном?

Чай был горячий, обжигал губы. Но дядюшка торопил Виталика: «Не тяни резину, козел, скорей!» Христофор бился, рвался наружу, прыгал, с ним творилось что-то невообразимое. Чтобы утихомирить его, Виталик то и дело перекаладывал ногу за ногу и при этом чуть не выронил фарфоровую сервизную чашку.

«Какой подлец! — думал Виталик, ерзая на стуле и стараясь укротить Христофора. — Обожди, получишь у меня по полной!»

— Вы, кажется, пролили на брюки? — участливо сказала Сашенька. — Не волнуйтесь. От чая пятна не останется, но лучше вытереть салфеткой. Погодите, давайте лучше я.

Она опустила на одно колено и потеряла мокрое место на штанах Виталика... Раз, другой... Дядюшка завыл от близости ее пальчиков, с трудом сдерживая свой восторг.

— Не мог уж пролить побольше, — шипел он.

Виталик был смущен и более всего опасался, что Сашенька заметит волнение его дядюшки. И облегченно вздохнул, когда она поднялась и подошла к радиоле. Первым танцем была «Рио — Рита». Виталик за эти годы уже освоил быстрый фокстрот, вел Сашеньку уверенно и даже красиво.

— Прижми ее, болван, — услышал он голос Христофора. — Ты же не в Версале на балу у Людовика XIV.

Дядюшка не любил быстрых танцев. Ибо касание в них короткое, не проникающее в глубину. Он не получал никакого удовольствия.

— Мне принесли Лещенко, — сказала между тем Сашенька, меняя пластинку. — Не знаю, за что его запрещают.

С пластинки на рентгеновском снимке полилась мелодия танго. Сашенька положила руки на плечи Виталика. Дядюшка Христофор весь напрягся в предчувствии сладостных томительных прикосновений.

— Где же ты теперь, моя Татьяна... — запел хриплый, но приятный голос.

И вдруг... Будто гром заглушил музыку, скомкал ее, разорвал на части, и Виталик увидел перед собой не Сашеньку, а чье-то хохочущее и мерзкое лицо, колыхающееся над огром-

ной, выпирающей из лифчика грудью. Отвратительный насмешливый голос произнес:

— Это ты, сцыкун прыщавый? Не забыл наше любимое танго?

Виталик не помнил, что произошло дальше. Христофор потом рассказывал, что он закричал не свойственным ему, идущим из нутра голосом, как обычно кричат на пожаре или падая в пропасть. Шагнул к двери и действительно упал, крепко ударившись головой о буфет. Испуганная Сашенька с трудом помогла ему подняться.

4.

Теперь Виталик не мог пожаловаться на молчание дядюшки. От Христофора все время шел один и тот же раскаленный сигнал: «Я здесь, у меня зудит, я хочу...» Как голодный пес, он скулил и теребил Виталика. Где бы тот не находился — в трамвайной давке, на улице, даже на работе. Чтобы укротить возбужденного Христофора, Виталику приходилось то переключать его с места на место, то встряхивать коленками, то незаметно для окружающих ласково почесывать, как шаловливого котенка. Иногда это помогало, Христофор на некоторое время замирал и успокаивался, давая возможность Виталику заняться делом. Дома было проще: Виталик становился под ледяной душ — и это сразу же сбивало дядюшкин пыл.

Тяжелее всего были ночи. Умиротворенный душем, Христофор некоторое время мирно спал. Но вдруг, чаще всего под утро, вскакивал как сумасшедший, будил Виталика и сбивчиво, захлебываясь слюнями восторга, рассказывал ему, что он видел во сне.

— Не могу больше, сил нет, — взмолился он однажды. — Ты подавляешь во мне мой природный инстинкт. Имею я, в конце концов, право на самовыражение? Или я должен только выпускать из себя мочу?

— Что ты хочешь? — спросил его Виталик, хотя прекрасно знал, что ответит дядюшка.

— Бабу! — выпалил тот, не задумываясь.
— Ромовую? — попытался пошутить Виталик.
— Я не вегетарианец, — закричал Христофор. — Такую, как Сашенька. Забыть ее не могу.

— С Сашенькой все кончено, ты сам знаешь.
— Поищем другую. Сегодня же, черт побери, праздник.
— Какой?
— Глянь на календарь.
— Двадцать третье февраля. Ну и что?
— Не «ну и что»? А день Советской армии.

Виталик расхохотался.

— Ты-то при чем, Христофор?
— Мушшина, вот при чем, — с обидой прошипел Христофор. — Слушай меня. У мамыши в буфете бутылка кагора. Тяпни стаканчик. И айда!

— Куда айда? Куда?
— Тебе трояк не жаль?
— А что?
— Если не жаль, поехали.

Через полчаса Виталик с Христофором стояли на площади Северного вокзала. Вокруг в свете редких фонарей сновали люди с чемоданами и сумками. Сосредоточенно и торопливо. Возле общественного туалета прохаживались две женщины. Курили и посматривали по сторонам, будто поджидали кого-то. Одна была в ватнике, ее подружка — в старом пальтишке с вытертым мехом на плечах.

— То что надо, — прошептал Христофор. — Иди.
— Страшные... — сказал Виталик.
— А ты за трешку хотел поймать графиню? — захохотал дядюшка. — Давай, действуй в соответствии со сметой.

— Что я ей скажу? — мямлил Виталик. — Я ведь даже не знаю, как ее зовут.

— Тебе это очень важно? Мне нет. Баба и все. Это главное.

Виталик все еще продолжал упираться.

— Циник ты, Христофор.
— А ты нюня. Господи, угораздил же меня Бог достаться тебе.

— После Сашеньки... Ну как я могу? Она такая нежная, бархатная, светлая... — сказал Виталик со вздохом. — И потом я вначале играл с ней в шахматы... Это создавало определенный настрой...

— Да кто же тебе мешает? Играй и с этой. Мысленно, конечно, а я буду делать свое дело.

Виталик молчал.

— Ну знаешь, — вздыбился Христофор, — тогда отрежь меня к такой-то матери и выкинь на помойку. Не нужен я тебе.

Виталик вздрогнул, увидев скальпель, занесенный над ним, и окровавленного безжизненного Христофора, ставшего жалким кусочком мяса. Он чуть не закричал, так ему стало страшно, но вовремя закрыл рот ладонью.

— Ладно, — сказал он тихо и молча пошел к вокзальному туалету.

5.

На следующий день, благо то было воскресенье, Виталик долго не мог заставить себя встать с кровати. Картины вчерашнего вокзального беспутства назойливо сменялись как кадры омерзительного фильма. Хоть сплющи глаза до боли, хоть широко открой их на освещенный луной потолок, видеть себя в кустах за водокачкой, в объятиях этой уличной девахи было мучительно и стыдно. И это он? С ромбическим знаком университета на лацкане? Научный сотрудник, хоть и младший, завтрашний кандидат наук? Неужели он мог копаться в ее потном нижнем белье? До какого же скотства ты дошел, Виталик! Зачем уступил, зачем повелся за этим подонком Христофором?

Он прислушался к дядюшке, труснул коленками, чтобы как-то пробудить его. Но Христофор и не думал вставать, сладко и удовлетворенно посапывая в теплоте виталиковых ног. «Спит на лаврах, мерзавец, — думал Виталий. — Ему то что? Излил свою страсть за водокачкой, да разве это страсть? Физиологический акт в антисанитарных условиях. Как теперь

выйти на улицу? Не Христофору, а мне? Как смотреть в глаза встречным и невинным людям? Как вести себя в институте, как взглянуть в небесные глаза милой и чистой Сашеньки?»

Прошло несколько дней. Ни прохожие, ни сотрудники лаборатории ничего не замечали. Разгулявшиеся было нервы Виталика стали понемногу успокаиваться. Но тут случилась новая беда, почище прежней. И причиной всему был опять же Христофор.

На третий день после вокзального приключения, в институтском туалете, дядюшка неожиданно вскрикнул и перестал писать.

— Болит! — завопил он. — Не могу. Вызывай скорую!

— Какую скорую, ты что, очумел? — забеспокоился Виталик. — Успокойся и попробуй еще раз.

Но вместо мочи наружу выдавилась густая желто-белая капля гноя.

Христофор выглядел набрякшим, он весь побагровел. Желтые капли как слезы падали в унитаз.

Виталик отпросился у завлаба и помчался к врачу. Едва взглянув на Христофора, старенький доктор по фамилии Бородин, небрежно бросил:

— Свеженький трипперок. Когда изволили веселиться?

Виталик назвал число.

— Вылечим, не волнуйтесь... Теперь спустите брюки и нагнитесь.

Он надел на правую руку резиновую перчатку и смазал ее вазелином. Затем раздвинул ягодицы Виталика и со всей силы втолкнул в анальное отверстие свой тугой, отнюдь не стариковский палец. Казалось, он получал при этом особое наслаждение. Но удивительнее всего, и Виталик, вместе с пронзившей его болью, ощутил прилив такого необыкновенного блаженства, которого он никогда до этого не испытывал.

Доктор помыл руки, сел к столу и выписал несколько рецептов.

— Через недельку ко мне. Больничный не даем. Отпуск получить можете?

— Думаю да, — упавшим голосом проямлил Виталик.

В институте он соврал, что надо съездить к больной тете Рае в Рязань и получил на неделю отпуск за свой счет. Поскольку показываться на улице было нельзя, пришлось провести эти дни дома, аккуратно, по часам, принимая таблетки — антибиотики и еще какую-то пакость.

Все самые отборные слова своего скудного ругательного лексикона Виталик щедро изливал на Христофора. Его не могли разжалобить мутно-желтые сопли дядюшки, он был суров и беспощаден. Дядюшка, по причине понятной слабости, в полемику не пускался и огрызался только изредка:

— Подошел бы к той, что в ватнике, все было бы в порядке. Сам выбрал с мехом, причем тут я?

Виталик, если бы мог, убил его на месте.

— А я знал?

— Купил бы мне спецовку, чтобы я этой заразы не подцепил. Ты же в дождь надеваешь плащ. Чего же обо мне не подумал? Чтобы защитить меня? Ребенок что ли, или лень было в аптеку зайти?

Он был прав, черт возьми. Надо будет купить ему этих плащей-непромокашек, на всякий пожарный, решил Виталий. Христофор заметно шел на поправку. Рези прошли, ничего практически не выделялось, ушла отечность и восстановился нормальный розово-поросячий цвет.

— Ну что, пошли по бабочкам! — воскликнул он однажды. — Плащик захвати с собой, на случай дождя! Примерь, как я в нем?

Виталик надел на него непромокашку, натянул капюшон. Христофор выглядел как космонавт в скафандре. Виталий сфотографировал его несколько раз в зеркале

— Пошли на дело!

— На вокзал я больше не ходок, — сказал Виталик.

— Тогда в филармонию или музей, — издевательски захохотал дядюшка.

— И пойду. Только там ты мне не нужен, — тихо сказал Виталик. — И вообще... лучше нам расстаться.

— А-а-а... понимаю... Докторский палец вкуснее, да?

— Если хочешь знать, да... Это была эйфория, умопомрачение... Словно взлетел в небеса... До сих пор не забыть.

— Баба ты.

— Может быть.

— Тогда расстанемся, — с горькой обидой сказал Христофор.

И они попрощались.

Произошло это в Новосибирской экспериментальной клинике пластической хирургии. Виталик изменил имя, стал Витой, переехал в другой город. Через несколько лет он успешно завершил диссертацию, стал кандидатом, потом доктором наук. Его друг, художник, разбирая альбом старых фотографий, наткнулся на портрет странного человека в плаще, лицо которого было частично закрыто капюшоном.

— Забавный какой. Кто это, Виточка? Космонавт?

— Нет, нет, это мой дядюшка Христофор.

— Какое чудное имя!

— Он и был чудаком по жизни.

— А где он сейчас?

— Не знаю...

Вита пожала плечами и перевела разговор на другую тему.

Эх, яблочко...

Интересно получается. Как мир устроен — не пойму. Рядом с красотой — гадость. Вот, например, простой случай. Целуете вы девушку. И она вся насквозь красотой своей трепещет и чистотой души. Целуете ее. В губы, естественно. А на губах — что? Подумали? Помада? Ха-ха! Ну, допустим. А кроме помады — что? Ми-кро-бы! Тысячи? Не то слово! Миллиарды. На изумительных, чуть-чуть припухленьких таких губках, вывернутых как бы нарочно для поцелуя. А на них это мерзопакостное стадо, невидимое простым невооруженным глазом. И вы их глотаете. А куда деться? И кто такое придумал? И для чего?

Или другой случай. Из области микологии. Это, если знаете, наука о грибах. Микос — гриб по-гречески. Но это я к слову, наука тут ни при чем. Сколько раз ходили вы в лес по грибы! Кто с кузовком или лукошком плетеным, как в сказках, кто с полиэтиленовым ведерком, как обычно в нашей рябой действительности. Только, к слову, с полиэтиленом не надо ходить. Запретят там ваши подосиновики и маслята, слипнутся в жарком смертельном объятии, упокоются в братской грибной могиле. Но я не об этом. Собираете вы грибочки, значит, ворошите палкой в желтой листве, кидаете моховик в лукошко и при этом оглашаете лесок громким ликующим возгласом. Дескать, эврика: нашел! А иные грибы сторонкой обходите да еще за детками приглядываете, чтобы ненароком не срезали. Ибо ядовитые они смертельно. А красива эта пакость — страшно! И каждый поганец манит людей, лепотой своей завораживает: «Возьми меня, сорви, дружок, сорви!». И чуть ли не шляпку свою призывно снимает. А вокруг — опушки волшебные, рощицы березовые. Кто же, скажите,

и с какой вражеской целью погань эту растыкал? Ну кому это было нужно? Кто так распорядился? Нет ответа.

И сколько таких нелепостей в мире — не счесть! Зло к добру лепится, коварство низкое за любовью увивается, это еще классик отметил. Свадьба, святой целомудренный ритуал. А чем подчас заканчивается? Кровавой поножовщиной. «Да что ж это такое, — воскликнешь, — на чем же наш мир, к чертовой матери, держится?» А если вдумаешься да привлечешь к мыслительному процессу кое-что из позабытых конспектов, то ответишь сам себе: «Диалектика! Единство и борьба противоположностей. Непреложный мировой закон».

Ладно, стоп. Проехали. Даю голову наотрез — не догадываетесь, куда я клоню. Про грибы, про свадьбы наплел, про микробов... А рассказ будет совсем про другое. Только вот сейчас нельзя писать просто, как раньше. Например, «Все смешалось в доме Облонских»... Ну и что, подумаешь — удивил граф Лев Николаевич! Или «Гости съезжались на дачу»... Плохо, Александр Сергеевич. А почему? Все сразу ясно становится, никаких загадок, ни мистики, ни фэнтэзи. Сейчас так не пишут. Если бы я начал этот рассказ, предположим, так: «В то время мне было лет девятнадцать...», дальше никто бы его не стал читать. Хоть это была бы суцья правда. Но начинать так ни в коем случае нельзя — засмеют, оборжут в любом издательстве или журнале. Скажут: «Это откуда, из какого пещерного века к нам этот писателишка пожаловал? Гнать его в три шеи!»

И погонят. Кто? Есть кому. Шалавы редакционные, которые доступ к шефу стерегут. Без кнута и палки, конечно, а еще больнее ударят — с улыбочатыми ужимочками и чашечками кофе в нежных наманикюренных пальчиках. И только на лестнице, прикрыв за собою бронированные двери, ощутишь в полной мере не то что свою второстепенность, а полную, если хотите, ненужность...

Поэтому нужно либо отборным непотребным матом свое сочинение поперчить либо удивить размышлением философским. Чтобы стерегущие шефа шалавочки, оставив мизинчик, поставили кофеек рядом с вашей рукописью и, округлив

свои перламутровые губки, сказали бы «О!». Одна буква, а уверяю вас, дорогого стоит!

Теперь вы понимаете, почему я, человек сугобо интеллигентный и не матерящийся в обиходе, а тем более в литературной речи, предпочел начать с глубоких диалектических размышлений о трагическом соседстве доброго и злого, красивого и безобразного. Тем самым настраивая вас на то чрезвычайное событие, что должно произойти в нашем рассказе. А вот произойдет или нет, будет видно, ибо автор предполагает одно, а его персонажи тянут его совсем в другую сторону.

Так вот, после этих вступительных и многозначительных фраз могу я приступить к повествованию и сразу же признаюсь, что было мне тогда действительно лет девятнадцать. Ну, может быть, чуточку больше — полных двадцать. И проходил я студенческую практику в районной газете. Название ее состояло из двух слов. Одно из них было «правда», но в отличие от той, единственной в те годы и неповторимой, добавочное слово как бы уточняло, чья это правда. Была, например, ленинская, а в другом городе сталинская, или, например, шахтерская, а в сельском районе колхозная. А вот чем они отличались друг от друга, эти правды, никто не знал. Все как на подбор серенькие, одинаковые, как детдомовские сиротки, — и большевистская, и шахтерская, и уральская, и северная и много-много других правд, всех не перечислишь.

Заведовал нашей районной правдой, где мы с Севкой Суловым практиковались как будущие журналисты, некий Яков Тихонович Бирюльченко, по прозвищу «Яблочко».

Заслужил он его еще на флоте, где на всех праздничных концертах отбивал этот любимый матросский танец.

Однажды, когда мы всей редакцией гуляли святой мужской день 23 февраля, шеф показал нам свое танцевальное искусство. Сперва, конечно, была торжественная часть, от которой и мы, и злые редакционные мухи чуть не подошли. Потом концерт, своими силами, естественно. Из патефона полилась музыка. И вышел из туалета переодетый в матроса Яков Бирюльченко. Не пиджачишко на нем был цвета серенького осеннего утра, а синяя навыпуск рубаха, отглаженные по стре-

лочке брюки клеш, ну и конечно же, тельник, медальки на груди и все прочее. Безволосье головы прикрывала сдвинутая набекрень бескозырка с надписью «Северный флот».

Эх, не было тогда видеокамер! Вальяжно, расправив плечи, прошелся наш матрос перед первыми рядами — как бы нехотя, как бы оглядывая нас свысока. Будто и не собирается он танцевать, а так, прогуливается. А темп музыки между тем стал усиливаться. Ноги главного редактора стали отбивать яростную чечетку. Одна присядка пошла за другой, клешины поочередно выбрасывались высоко вперед. Мы от души хлопали и поставили пластинку еще раз.

Еще одной особенностью нашего шефа был божий дар в виде великолепного каллиграфического почерка. На корабле, где он служил, пишущей машинки в те годы не было, и все приказы, рапорты и поздравления переписывал он своим удивительным завитушным почерком. Матросня в замызганных потных робах, конечно, завидовала его чистенькой бумажной работенке и втайне обзывала Якова «писарчуком». Зато командир крейсера капитан второго ранга Сохатый сказал ему перед дембелем: «Тебе, Бирюльченко, с таким почерком надо идти в писатели. Я лично посодействую». Так Яков стал студентом высшей партшколы, а через несколько лет, благополучно закончив ее, возглавил нашу местную «правду».

Была она не хуже и не лучше других «правд». Иногда на серых ее страницах появлялся для оживления читательского интереса какой-нибудь фельетон про делягу-спекулянта или самогонщика-алкоголика. Остальное газетное пространство было занято трудовыми подвигами рабочего класса и колхозного крестьянства. Некоторое исключение составляли праздничные номера.

Именно с подготовкой номера к женскому дню и произошло у нас страшное редакционное ЧП, на которое я с самого начала иносказательно намекал вам. Через несколько дней после матросской пляски Яков Тихонович созвал летучку для обсуждения праздничного номера, посвященного женщинам — труженицам заводов и полей. Внештатный художник Костя

Мирский принес большой плакат на три четверти первой полосы. На нем сияли ликующие лица трех поколений советских женщин: пионерка с учебниками подмышкой, улыбающаяся трактористка за штурвалом и работница в комбинезоне на фоне башенного крана.

Начали обсуждать.

— Не охвачены все возрастные группы женщин, — сказал старик Самаркин из отдела партстроительства. — Например, где малышки, делающие первые шаги по нашей земле?

— Пусть трактористка держит ребеночка, — предложила Зоя из отдела молодежи.

— Ну да, и штурвал, и ребенка? — засмеялся художник Костя Мирский. — Она что, эквилибристка?

Яков Тихонович записывал все предложения своим каллиграфическим почерком.

— Между прочим, крановщица была в прошлом году, — отметила Сонечка из отдела писем. — Я ее запомнила в лицо.

Развернулась жаркая дискуссия — кем заменить крановщицу — агрономом, инженером или садоводом.

— Хорошо, я подумаю, — сказал Костя и, свернув плакат, ушел.

— Ну а мы с вами чем будем поздравлять женщин? — сказал Бирюльченко. — Нужен гвоздь номера.

— Найти бы такую, чтобы 8 марта родила, — предложил фотограф Ягодкин.

— Идея неплохая, — одобрил Бирюльченко, на минуту оторвавшись от своих каллиграфических заметок. — А вдруг не родит? Или задержка? Газету же будем делать на два дня раньше. А знаете, как там у женщин...

— Надо выявить несколько штук — сказал Севка Суслов.

— «Штук»... — нахмурил брови шеф. Он был холост и свято относился к женскому полу. — Подбирайте выражения, товарищ Суслов. — Но мысль верная. Надо искать тех, кто уже готовится вот-вот родить. Разбежались, значит. Кто куда? Записываю.

— В роддом надо, там все знают, — сказала Сонечка.

— А если внезапно? — засомневался Самаркин. — Привезли седьмого и она... это самое...

— Разбежались по коллективам, — твердо сказал главный. — Будем выяснять, кто в декрете.

— Запишите меня в депо, — сказала Сонечка. — Я рядом живу.

— Отставить, там одни мужики.

— В универмаге надо поузнавать. Там баб полно, — сказал Самаркин.

— Вы хотите сказать «женщин», — строго вызверился на старика Бирюльченко. — Но нам торговок не нужно. Отставить. Селянскую женщину нужно найти, колхозницу.

— Это весь район перешерстить нужно. Нереально.

— Реалисты чертовы! — взорвался Бирюльченко. — Балаболки! Я сам поеду на село! Все свободны!

Через день на редакционном «газике» в сопровождении фотографа Ягодкина он поехал по району. Два дня его не было. А после приезда он созвал нас и гордо заявил:

— Учитесь, писаки. Такого кадра раскопал, обалдеть! Очерочек на всю полосу, а может, и разворот дадим. Смотрите, сколько материала! И фото, и грамоты. От райкома комсомола, от сельхозотдела.

Он поворошил кучу бумаг и фотографий на своем огромном двухтумбовом столе.

— Передовая доярка, в день по двадцать два кагэ молока с каждой коровы. Звучит? А за год? Да от тридцать коров?

Бирюльченко схватил лист бумаги, начал что-то подсчитывать, потом бросил карандаш.

— Черт побери, разве в арифметике дело? Все при ней. Красавица писаная, это она на снимке, еще школьница. А вот постарше. Глаза глубокие, эх, любил я такие... И биография то, что надо... Работала в городе чертежницей, машинисткой. А потом решила: село надо поднимать, там, дескать, мое место. Надо догнать и перегнать эту Америку. Дояркой за три месяца стала. Но и материнство в сторону не оставила. Демографический вопрос решает собственным примером. Четырех пацанов на свет народила, Ягодкин их на пленочку — щелк.

Теперь пятый намечается. Фельдшер сказал — 8 марта выстрелит, как из пушки. Вот вам, братцы, какие люди у нас под боком. Чем не гвоздь номера?

В праздничном номере этот «гвоздь» занимал полторы полосы под шапкой «Людмила Иванцова — героиня нашего времени». Особый упор Яков Тихонович сделал на радости молодой матери, которая сделала к женскому празднику подарок для всей нашей страны.

Шеф был горд тем, что утер нос и нам, сопликам от журналистики, и старым пердунам типа Самаркина. Особенно возгордился Яков Тихонович после звонка секретаря райкома, отметившего актуальность и художественные достоинства очерка.

Праздничное настроение шефа продолжалось и вечером восьмого марта, когда мы по традиции поздравляли женщин, пили за их здоровье и хором пели «Эх, яблочко, куда ты котишься» под чечетку, которую Яков выбивал на своем двухтумбовом письменном столе.

И вот, когда народ стал потихоньку расходиться, произошло то страшное, несовместимое с праздником событие, о котором я намекал вам с самого начала. Первой, не простившись, улизнула Сонечка из отдела писем. И через пару минут она же и возвратилась. С вытаращенными испуганными глазами и прижимая к груди завернутого в одеяльце младенца. Немая сцена из гоголевской комедии — ничто по сравнению с тем, как окаменели мы все, не понимая еще, что это все значит.

Соблюдая субординацию, Сонечка протянула малыша главному редактору. Бывший моряк до того растерялся, что безропотно принял младенца в свои дрожащие руки.

— Подкидыш! — восхищенно крикнул старик Самаркин. — Завтра дадим в «Проишествиях».

Младенец, видимо проснулся и огласил кабинет шефа звонким пронзительным криком.

— Мокренский, — предположил кто-то из женщин. — Перепеленать бы его...

Стол мигом расчистили от бутылок и остатков пищи, и Яков Тихонович, по-прежнему в онемевшем состоянии, положил завернутого в одеяло ребеночка и отошел к стенке.

Одеяльце развернули и обнаружили там, кроме записанного ребеночка, нашу славную газету с очерком, на котором были написаны жуткие бранные слова.

— Это политическая провокация! — наконец очнулся от немоты Яков Тихонович. — Гнусная попытка скомпрометировать нашу «правду». Сейчас подниму райотдел МВД.

Он снял уже трубку, но Севка Суслов вдруг крикнул:

— Тут письмо, Яков Тихонович. Погодите. От Людмилы Иванцовой. Про которую вы писали.

— Читай! — распорядился главный. — У меня секретов нет.

Письмо было на двух страничках из школьной тетрадки. Пересказываю по памяти, потому что оно куда-то исчезло.

Передовая доярка писала в редакцию, что в статье о ней нет ни слова правды, сплошная липа. Не хотела она рожать пятого да аборт уже поздно было делать. В колхозе все об этом знали. А ваш корреспондент Я. Бирюльченко, козел недоделанный, пишет про праздник моей души. Четыре таких праздника у меня — и все от разных отцов-охламонов. Красючкой я была. Это верно. Да мало смазливую морду иметь, надо чтоб в бошке мозги еще были. А я доверчивая была. Меня поглядят, про любовь сказку скажут — я и готова. Первый раз от геолога залетела. Копали они, нефть искали. А как нашли — сдуло всех и моего тоже. Потом другой ко мне хахаль подкатился, Павел, сантехником при ЖЭКе работал. Красивый, горячий. Че я, знала, что у него другая на примете? Как родила я Алешку, второго моего, пропал этот Пашка, исчез из моего поля зрения. А через полгода встретила я его, паспорт показывает: жена, мол, у меня законная, прости-прощай, дорогая. Третьего пацанчика мне алкаш один намурлыкал. Родила, живем... А он залез как-то на крышу пьяный в хламину и скинулся. А жизнь дуру не учит. Втюрилась в музыканта, в лабуха из кафе. На саксофоне он дул да и пузо мне между делом тоже надул. Вот и осталась я одинешенька

с четырьмя хлопцами. Ни молока, ни мыла жопу им подмыть. Ну что делать? Отца-матери нет, на пожаре они сгорели. Написала в село тете Наташе — все изложила ей про свою половую жизнь и долю мою горемычную. Отозвалась тетя Наташа и пишет: «Айда к нам в колхоз, у меня жить будешь, я и за детишками пригляжу и кашу стоговую». Бросила я тот город и к ней прибыла. А что ж ваша «правда» бессовестная написала? Что я село поднимать приехала. Жизнь заставила, вот и дояркой стала. А что удой стахановские, то это зоотехник мне эти цифры выводит, помогает. Он мне и этого сделал, пятого. Да расшибись он в рот, не хочу больше с ним дел иметь. А тут писака ваш приезжает задрипанный, заглянул ко мне в палату, а я после укола в бессознанке лежала. Он к тете Наташе. Поотбирал фотокарточки и умотал. Галиматню настрочил про меня на посмеих всего колхоза. Ах, думаю, ладно. Замотала я мальчонку своего в статью эту поганую и в город. Принимай, редакция, мой подарок. Иванцова Людмила Алексеевна, доярка, колхоз «Новый путь».

Севка отдал письмо Якову Тихоновичу. Тот спрятал его в карман и подошел к малышу.

— Заверните его. Я этот вопрос решу. Володя, запрягай «газон». Ты, Соня, с нами.

И они укатили.

Вот вам и диалектика. Для кого ребеночек-счастье, а для кого... Впрочем, через неделю мы все гуляли на свадьбе. Яков Тихонович усыновил всех пятерых пацанов. Было шумно и весело. Каждый понимал, что благодаря «галиматне» родилась новая семья. А напиши Яков Тихонович правду, ничего такого бы не было.

Истошно и наперебой гости кричали «Горько! Горько!» И шеф неоднократно и с удовольствием целовал свою невесту, невзирая на миллиарды микробов на ее прелестных губах. Потому что любовь — она сильнее всего. Даже диалектики.

И танцевал Яков Тихонович матросский танец «Яблочко» несколько раз, до самого утра.

Предсказание

Легенда

1.

Был тусклый день сентября 1951 года. За окнами дачи лениво моросил осенний дождик, издали доносились штормовые накаты моря. Еще с вечера Сталин велел протопить камин. Переболевший в годы молодости туберкулезом, он легче переносил морозы, чем хлипкую сырость.

От тлеющих поленьев еще исходил стойкий жар, в гостиной было приятно и тепло. Самый подходящий момент для неторопливой философской беседы. Берия так и пометил этот день в своей записной дневниковой книжечке: «*На даче. Философский разговор с Кобой*». И больше ничего, конспирация. Остальное все в голове. Приучен был к тому, что все листочки, заметки, записочки, остававшиеся, скажем, на столе после заседания Политбюро, складывались в конверт и запечатывались сургучной печатью.

На самом деле, *философский разговор* вовсе не был философским, хотя начал его Лаврентий Павлович издалека. Осторожно, как сапер по минному полю, приближаясь к главной теме. И не сразу, а выждав, пока Сталин раскурит свою трубочку и с наслаждением выпустит из-под усов облачко сизого пахучего дыма.

— Ты знаешь, Иосиф, — сказал Берия, — у меня давно чешется язык спросить у тебя... Один вопросик есть, теоретического, так сказать, характера... Если ты не против, конечно...

Сталин скосил на него желтые, чуть прищуренные к переносью глаза и ничего не ответил. И это был добрый знак... Ни раздражения, ни гнева. Видимо, и вождь был слегка расслаблен благодатной теплотой этого послеобеденного часа.

— Скажи, пожалуйста... Вот мы повернули страну от капитализма к социализму. Строим, так сказать, светлое будущее, коммунизм... Но не все этому рады, правда? Враги наши, так те прямо из себя выпрыгивают, чтобы потянуть нас назад, к капитализму. Мы называем это правым уклоном, обвиняем в попытке реставрировать капитализм. Например, Бухарчика...

Сказал и осекся. Ошибочка, Лаврентий Павлович. Упомянул конкретно человека, да еще тем именем, ласковым, которым по дружбе называл его сам вождь.

Но Сталин сидел по-прежнему молча, грузно осев в широком удобном кресле, и посасывал потухшую трубку.

— Меня этот вопрос интересует чисто в теоретическом плане, — поспешил уйти от «Бухарчика» Берия. — Вот, например, был феодализм, его сменил капиталистический строй. Но могла ли после него возродиться феодальная система? Нет, история идет дальше, поступательно, к более передовому обществу. То есть, к социализму.

— Революция может закончиться контрреволюцией, если твои органы, Лаврентий, потеряют бдительность, — сказал Сталин.

— В этом, кажется, нас нельзя упрекнуть, — успел вставить Берия. — Работаем...

— Во Франции гильотина тоже работала, день и ночь трудилась, — продолжал Сталин, прикрыв усталые веки, словно вещая. — Защищала революцию. Рубила головы, но недостаточно. Возвратился не просто капиталистический строй, была реставрирована монархия.

— Но у нас это не может быть! — воскликнул Берия. — В СССР заложен иной экономический базис. Даже в самом страшном сне не приснится, что нет колхозов, что Магнитка или Днепрогэс стали частными лавочками, что возникнут фабриканты и банкиры, которых мы истребили в Гражданскую войну. Скажешь, что может так произойти, что не будет ни Ленинграда, ни твоего города, Иосиф? Что повалят памятники нашим героям и сотрут их имена? Что красный флаг с серпом и молотом...

Движением руки Сталин оборвал эту тираду. Зажег трубочку, раскурил.

— Неужели товарищ Берия приехал в Сочи специально для того, чтобы морочить голову товарищу Сталину? Который, между прочим, находится здесь на отдыхе.

Сказал негромко, но именно этот тон со скрытой и легко угадываемой угрозой был хорошо знаком Лаврентию Павловичу. Вождь недоволен. Значит, пришло время открыть главный козырь, ради которого он затеял этот отнюдь не философский и вовсе не теоретический разговор.

— Дело в том, Иосиф, что накануне отъезда я получил очередную сводку Секретно-политического отдела о настроениях в нескольких центральных областях. В частности, в Воронежской области. И одна позиция меня заинтересовала. Я бы даже сказал: насторожила.

— Если тебе нужно для этого заглянуть в папку, которую ты принес и незаметно оставил на подоконнике, будь любезен, дорогой Лаврентий.

«Его же не было, когда я зашел в гостиную, вот дьявол!» — подумал Берия, и, виновато склонив голову, подошел к широкому, захлестанному дождем окну и взял лежавшую за шторой красную кожаную папку с золотым тиснением «Для доклада».

— Что же у нас творится в Воронежской области? — спросил Сталин, и в его голосе Лаврентий Павлович услышал плохо скрытую насмешку. — Может быть, контрреволюция?

— Почти, товарищ Сталин.

Берия открыл папку. И четко, как перед строем:

— Комиссар государственной безопасности Лошак сообщает...

— Покажи-ка мне эту бумагу, Лаврентий, — прервал его Сталин и кивком головы приказал включить свет.

В папке было всего несколько отпечатанных на машинке страничек.

Некоторые абзацы были подчеркнуты красным карандашом.

Берия стоял навтыжку, следя за трубкой, которой Сталин задумчиво водил по строчкам. Усмехнулся, рыжий ус вождя пополз по щеке кверху. Не дочитав до конца, Сталин ткнул папку в руки Лаврентия Павловича.

Тот понял: осечка, еще одна. Не учуял вождь ни опасности, ни угрозы. «Эх, Иосиф, Иосиф... Куда же делся твой собачий нюх? Победа над Гитлером вскружила твою гениальную голову. Нет врагов, полное единство и покой. Расстрелять кучку еврейских врачей — и почивай себе на лаврах, да?.. Тогда зачем тебе чекисты? Люди сигналият, а ты ухмыляешься, не веришь. Ну и разгони нас всех к чертям собачьим!»

Сталин будто услышал его мысли.

— Твой комиссар, Лаврентий, даром ест свой хлеб, — сказал он, глядя в окно. — Да еще, наверное, с маслом. Одна баба врала, другая переврала, а мой заместитель докладывает мне об этом... Фамилии, адреса — где это все? Учить тебя надо?

Отошел от окна, посмотрел в упор на Берию.

— Не заговор ты раскрыл, Лаврентий, а просто, извини меня, обосрался.

На этом *философский разговор* с Кобой был закончен.

2.

Назавтра тучи уплыли на север. Сталин встал раньше обычного. Прошелся по гравийной дорожке мимо цветов, большей частью еще не поднявшихся после вчерашней грозы. В увитой диким виноградом беседке с газетой в руках уже сидел Берия.

— Вай-вай, ты еще здесь, Лаврентий?

Вскочивший при его появлении Берия понял: игра продолжается.

— Раскрыл антисоветский заговор в Тульской области...

— В Воронежской, товарищ Сталин...

— Да, да, извини... Раскрыл, значит, заговор и спокойно уселся за газету. Может быть ты в избу-читальню пришел? Ай-вай, вот так министр у меня!

Берия бросил на стол «Правду». Лицо его было измученным, отекавшим после бессонной ночи. Глаза, лишенные обычного блеска, трусливо прятались за стеклышками пенсне. Щеки подрагивали.

— Приказывайте, товарищ Сталин.

— Эту чертову гадалку... — задумчиво сказал Сталин и сделал паузу. — Надо немедленно привезти в Москву. Лично допросить. Понял? Только пугать ее не нужно.

Берия не мог скрыть своего восторга. Не он, значит, один маялся, не мог заснуть всю эту ночь, но и вождь не забыл вчерашний *философский* разговор у камина. Тоже, видать, ворочался старикан с боку на бок и шевелил мозгами всю ночь.

— Завтра вылетаю в Москву.

— Слушаюсь, товарищ Сталин, — радостно сказал Лаврентий Павлович и позволил себе улыбнуться. — За что же вы меня так отчитали вчера?

— Имею я право проверить своего главного чекиста?

— Проверяли? Меня? — спросил Берия дрогнувшим голосом. За словами вождя почудилась угроза. Предположил сразу же: прилетает во Внуково, а там, у трапа, трое в синих фуражках. «Пожалуйста, пройдемте с нами, товарищ...» Стоп, какой товарищ — враг народа!

Похолодело сердце, дрогнула коленка.

— Вчера я твоего сотрудника, комиссара госбезопасности, обвинил в том, что он даром ест свой хлеб.

— Да, товарищ Сталин. Вы так выразились.

— И еще с маслом?

— Так точно, товарищ Сталин.

— И ты как его начальник согласился с этим.

Берия молчал. Вчера еще не мог он подумать даже, чтобы возразить вождю. Но сегодня? Ведь Сталин приказал привезти эту гадалку. Значит...

— Нет, товарищ Сталин, я не был согласен. Извините...

— Почему же молчал, как рыба? Не вступился за своего сотрудника? Не стал на защиту? Боялся, значит. А ведь чекисты... я имею в виду настоящих чекистов, своих не сдают. Ты понял?

- Так точно.
- Езжай и докладывай лично мне.

3.

Катерину Федоровну Пирогову из деревни Верхние Гнилуши Воронежской области привез в Москву майор Лошак. Проживать ей было определено на тайной квартире МВД, в тихом переулке у Таганской площади. К Пироговой была приставлена надзирателем младший лейтенант Дина Кравчук — не только для наблюдения за ней денно и ночью, но и оказания помощи как незрячей.

На другой день после приезда в столицу служебная машина привезла Пирогову на Лубянку. Допрос ее вел майор Лошак в присутствии двух стенографисток, сидящих по обе стороны маленького стола.

По протоколу — сперва объективные данные. Родилась в городе Батайске, Ростовской области, в 1919 году, 17 октября. Отец — слесарь вагонного депо, семью бросил перед самой войной. Где проживает сейчас — ей неизвестно. Мать — учительница младших классов. Живет там же, в Батайске, с сестрой Катерины Верой, двадцати шести лет, не замужем. На фронте Пирогова К. Ф. с 26 июня 1941 года, медсестра, затем старший сержант медицинской службы. Выносила раненых с поля боя. В сорок втором под Острогожском взрывом снаряда тяжело контузило. Потеряла память, ослепла.

— Как ты оказалась в деревне Верхние Гнилуши? — спросил майор Лошак.

— Парень был родом из этой деревни. Степан. В госпитале с ним подружили. Безногий он. Двум калекам вместе веселей. Привез он меня в свою хату, вот и стали жить. А куда мне, слепой, податься? Помер он в скорости, Степа мой. А я так и осталась там, одна.

Без шума открылась внутренняя дверь.

Пирогова оборвала себя, повернула голову в ту сторону, прислушалась.

— Кто-то еще зашел? — спросила она у Лошака.

— Начальник, послушать тебя хочет.

— Я что, радио? Еще кого кликнешь?

Берия тихо приблизился к Пироговой, склонился над ней, всматриваясь в широко раскрытые слепые глаза.

— Скажи, Катерина Федоровна, что у меня в руке? — спросил он, взяв со стола карандаш.

Она молчала.

— Кто со мной говорит? — спросила резко. — Как я должна величать тебя?

— Зови меня Лаврентий Павлович.

— Берия, что ли?

— Грамотная, вижу.

— Радио слушаю, вот и грамотная. Заместителем у товарища Сталина работаешь? Да?

— Послушай! Может, хватит меня здесь раскалывать?

Сказал, с трудом сдерживаясь. На цементный бы пол тебя, сучка!.. С кем позволяешь? Но вспомнил напутственное слово вождя: «Пугать не надо». Ладно, попробуем мирно.

Он помахал перед ее глазами карандашом.

— Если ты ясновидящая, Катерина, скажи, что у меня в руке?

— Проверяешь?

— Такая работа.

Женщина нагнула голову, долго молчала, потом решительно произнесла:

— Пистолет... «ТТ» взведенный.

Берия и Лошак переглянулись.

— А вот и промазала ты, Катерина! — сказал, чуть не крикнул от радости Лаврентий Павлович. — Не ясновидящая ты, а шарлатанка. А за это срок получишь, учти.

Катерина снова опустила голову, потеряла ладонью от виска к уху.

— Даже если у тебя в руке этот... карандаш простой... — медленно, как бы нараспев, произнесла она. — То козь расписешься им на бумаге — раз... и человека нет. Не зря на фронте политруки тобой стращали.

Берия сжал губы, лицо его исказила судорога. Но снова удержался, даже заставил себя рассмеяться.

— Любопытный ты человек, Катерина. Ну-ка, расскажи нам, как ты, старший сержант медицинской службы, гадалкой стала.

— Никакой гадалкой я не стала. Порчу снять или глаз — это не по моей части. Просто вижу я ...То, что люди не видят и не чувствуют...

— Вот об этом подробнее расскажите, гражданка Пирогова, — сказал Лошак и сделал знак стенографисткам.

— Не все помню, память отшибло...Как шарахнуло меня снарядом, так и поняла я, что померла. Лежу, землей засыпанная, как в могиле. Ни дышать, ни видеть не могу, в глазах все черное — смерть, значит. И сколько так пролежала, не знаю и не помню. Опаматовалась я в медсанбате. Врачи говорят: дед какой-то с бородищей до колен откопал тебя и сюда приволок. Где, куда делся, никто не знает. Вот лежу я, слепая навеки, и дедушку того вижу. И разговариваю с ним. И однажды он мне говорит, дедок этот: «Сегодня в ночь немец весь лазарет ваш огнем спалит. Бомбы кидать будет. Скажи кому надо, пусть раненых по хатам растаскают». Я — к врачам, а они в смех. «Чокнутая ты!» Укольчик хороший дать, чтоб успокоилась. Ну, что ты будешь делать? Сказала Степану, дружку безногому. Мы с ним к начмеду прорвались. Говорим ему: так и так, людей спасать надо, налет будет, все сгорит. А он в крик, наган вытащил: «Панику сеете! А дед ваш шпион немецкий, не иначе». Позвонил куда надо и увезли нас, меня и Степана, да за решетку посадили. А от госпиталя... наутро... одни головешки остались. Разбомбили... Вчистую... С тех пор и поверила я в себя, что вместо глаз другое зрение мне дано.

— И часто вы предсказывали будущее? — спросил майор Лошак.

— Когда люди с бедой приходили, просили помочь им.

— И как это происходило? — спросил Лаврентий Павлович.

— Вот сон к вам является, можете вы сказать, откуда и почему? То-то... Как лягу, сперва темно-темно, потом облака какие-то, ветки спутанные и из них дедушка нарисуеться, подойдет он ко мне и спросит: «Чем ты, Катерина, озабочена — удручена?» И помогает...

— Хорошо, мы поняли. Расскажи-ка, с чего это вдруг дедушка про конец Советского Союза речь завел? Был такой разговор?

— Был. Сказал мне так: «Живет на земле нашей человек один темный, дьяволом меченый. И власти над людьми добивается. И добро им сулит, и жизнь богатую. И верят ему люди, идут за ним. А коль власть дадена ему будет, считай все, не будет земли нашей, в которой ты на свет народилась, люди друг на друга бросаться будут, и погибель придет».

— Вот и расскажи нам, кто этот человек мечный, как его фамилия, где проживает и все-все, что знаешь о нем. Лично товарищ Сталин просил меня передать тебе эту просьбу.

Женщина встала, вытянула руки перед собой, водит ими влево-вправо, будто в озере плышет.

— Не выйдет сейчас. Нужно дедушку увидеть.

— Когда?

— Буду звать, а когда явится ко мне, не знаю, не ведаю. Два-три дня дайте.

— Подождем, ладно — сказал Берия. — Как жильё, питание? Претензии есть?

— Боже мой, какие претензии? Балыки, пирожные, постель каждый день меняют. Если дедушка еще недельку не придет, не будете на меня злиться?

Оба, Берия и Лошак, рассмеялись. Лаврентий Павлович был доволен: приказ вождя исполняется без сучка, без задоринки. Он был в чудном настроении и позволил себе пошутить.

— Скажи, Катерина, а твой дедушка в футболе разбирается?

Завтра матч интересный. Динамо—ЦСКА. Хотелось бы знать, кто победит?

— Опять проверяешь?

— Ни в коем случае. Не для протокола, лично для меня, — сказал Берия. — Спроси-ка своего дедушку.

— Негоже его по пустякам тревожить. Сама тебе скажу. По звездам.

— Вот как? — расхохотались оба чекиста. — Значит, звезды даже об этом знают? Я тебе сегодня вечером позвоню.

— Это лишнее. Твой мундир, маршальский, дома висит?

— Причем тут мундир? Ну, дома.

— На твоих погонах все написано.

— То есть как? Что за бред ты несешь! — крикнул Берия. — Поясни.

Катерина Федоровна прикрыла ладонями глаза.

— Устала я. Отвезите меня домой.

4.

Через несколько дней на столе перед Сталиным лежала докладная записка Берии следующего содержания:

«В результате оперативно-розыскных действий, проведенных опергруппой майора Лошака Е. К. под моим личным руководством, установлено следующее.

1. Опросом и косвенными доказательствами подтверждена способность гр. Пироговой Клавдии Федоровны к ясновидению и предсказанию некоторых фактов, могущих произойти в ближайшем будущем.

2. Политически важным является ее прорицание (или «видение») о планах развала Советского Союза и реставрации капитализма, которое якобы будет осуществлено лицом, наделенным высшей партийной и государственной властью.

3. Путем архивно-следственной работы и наружного наблюдения на основании наводки ясновидящей гр. Пироговой К. Ф. выявлены объективные данные интересующей нас личности:

— день рождения, указанный прорицательницей — 12 марта 1931 г.

— место рождения — село Раздольное, Ставропольского края.

— особые приметы: на лбу большое родимое пятно лилового и багрового цвета, называемое в народе «меткой дьявола».

— оба деда подозреваемого лица были в свое время подвергнуты раскулачиванию и выселены в Казахскую ССР.

4. Совокупность означенных примет позволила оперативной службе выйти на гражданина Гробачева Михаила Сергеевича, в настоящее время проживающего в Москве и являющегося студентом московского государственного университета им. Ломоносова, философский факультет, 3-й курс. Учится успешно, в особенности по предметам «истмат» и «диамат» и английский язык.

5. Студент Гробачев М. С. активно участвует в общественной работе вуза, является членом ВКП(б), заместителем секретаря комитета комсомола факультета. Не скрывает от однокурсников своих честолюбивых планов на будущее. По многим вопросам внутренней и внешней политики высказывает свои критические взгляды.

В ожидании Ваших указаний

Л. П. Берия»

Сталин встал с кресла, прошелся по кабинету.

— Толчем воду в ступе, товарищ Берия. Кончать надо, и чем быстрее, тем лучше. Ясновидящие, как известно из истории, часто приносили пользу своим правителям. А вот французские революционеры считали их шарлатанами и мистиками. Мы не пойдем по их пути. Главное, чтобы эти гадалки не водили нас за нос.

— Проверял ее, товарищ Сталин. И не раз. Вот, например, мелочь... Скажи, спрашиваю, как закончится футбольный матч. «Динамо» играло с армейцами. А я, вы же знаете, сумасшедший болельщик... И она мне говорит:

«Надень мундир, ответ тебе скажут звезды».

Сталин удивленно посмотрел на него.

— Осмотрел я свой мундир маршальский. А потом понял. По одной звезде на каждом погоне, товарищ Сталин. Ничья была, один-один.

Вождь усмехнулся, закрыл папку и передал ее Лаврентию Павловичу.

- В архив. По окончании дела доложишь лично мне.
- Слушаюсь, товарищ Сталин.

5.

Через два дня на станции метро «Охотный ряд» упал с платформы и был раздавлен подходившим поездом молодой человек, студент МГУ Грибачев М. С. Ошибку в фамилии, написав Грибачев вместо Гробачева) допустила стенографистка Пятого отдела Тимохина Варвара, расшифровывая протоколы допросов К. Ф. Пироговой.

Лаврентия Павловича едва не сразил инфаркт.

— Суки! Кого замочили? — орал он на спецгруппу, замершую в ожидании своей участи в его кабинете на Лубянке. — На торфоразработки всех до единого! В лагерную пыль сотру, раздолбаи гребаные! Что я должен докладывать Кремлю?

Каменное беспощадное лицо вождя взирало на него со стены, из дубовой рамы. Ничего хорошего оно не предвещало. И в ту же минуту он понял, чем лично ему грозит это разоблачение. Он почувствовал себя жалкой, пойманной чьими-то пальцами мухой, которую прикололи булавкой к картону. Еще живой, еще трепыхающейся. Спасти, во что бы то ни стало!

— Вон, суки! Чтоб я вас не видел! — взвизгну он, до боли стукнув кулаком по столу.

Сотрудники мгновенно выдавились из кабинета.

Берия рухнул в кресло и долго сидел в оцепенении, обхватив голову руками.

Потом взял несколько листов бумаги и стал писать докладную.

Через несколько дней опергруппа майора Лошака была награждена орденами и медалями за выполнение ответственного задания.

Лаврентий Павлович надеялся на авось: либо шах помрет, либо ишак.

Шла весна 1952 года. Первым умер шах.

Папоротниковые сны

Я обычно рассказываю сны своей жене. Хотя она заклинает меня не делать этого. Много всяких причуд. Если плохой сон, его до обеда рассказывать нельзя, а то сбудется. Надо говорить: «Куда ночь, туда и сон». И помахать руками, будто кто-то рядом испортил воздух.

А в эту ночь привиделось мне такое, что махай хоть руками, хоть ногами, а страх ночной вот уже сколько дней стоит в голове, не уходит. Будто работаю я в секретном НИИФА (а я действительно работал в таковом). И тот институт, сумбурно возникший в сонной памяти моей, представляете, был таким же, как наш, настоящий. Несуразная громадина из нескольких панельных коробок, отгороженная от всяких шпионских и просто любопытных глаз высоченным бетонным забором. Да еще с колючей по его верху проволокой для устрашения любопытствующих. А за забором — тюремного цвета корпуса с узкими окнами. Большинство окон забрано решетками — знайте, мол, прохожие, что именно там спрятаны от врагов государственные и военные тайны в области фауны нашей планеты.

И вот, снится мне, что я, такой-сякой, чистокровный беспартийный еврей, работаю в этом суперсекретном НИИ — так, как было на самом деле. Работаю экономистом, кручу себе арифмометр «Феликс» все восемь часов с перерывом на обед. Вобрал голову в плечи и ни в какие тайны, ни боже мой! Так приказала жена моя Лидия Сергеевна, она-то и пробила меня в этот НИИФА, где сама работала секретарем директора. Повертела, я так думаю, жопкой перед самим Валерием Павловичем — и дело сделано. А может быть не только жопкой — и в Воронеж его сопровождала, и в Адлер вдвоем летали — вроде бы на конференции, а кто знает, что там на самом

деле было. Только я ни по жизни, ни во сне не ревновал. Пашу, работаю, 110 рэ каждый месяц приношу — а ведь полтора года в безработных ошивался. Так что молодец Лидуха и молодец ее жопка.

Ладно, это я так, по ходу дела. Перехожу ко сну. Обычный трудовой день. Кручу я свой арифмометр. Подбиваю итоги за второй квартал. Миллионы к миллионам, тысячи к тысячам, рубли к рублям. Не жалеет нам денежек советское правительство, а конкретно Министерство среднего машиностроения, благодетель наш. Не только на наши сверхсекретные штучки-дрючки, но и на премии, и на тринадцатую зарплату — все исправно перечисляет. Лишь бы мы такое смертельное оружие придумали, чтобы всю флору и фауну во вражеских странах пересобачить. И всех америкосов изничтожить. И старых, которых болезнь Альцгеймера не берет. И младенцев, называемых там бэби, которые только вылупились на свет. И чем больше денежек отваливает наш родной Минсредмаш, тем страшнее, значит, то, что делают наши спецы где-то рядом со мной, на Опытном заводе, в цехе № 64.

Вдруг, еще до перерыва, звонок. В трубке Лидуха, жена моя. Зайди, говорит. Вот те, ешкин кот, думаю, чтостряслось? Такое только во сне случиться может. Мы с ней в НИИФА как бы чужие друг другу были. «Доброе утро, Лидия Сергеевна» — «Здравствуйте, Борис Абрамович». И все. Так Лидуха моя повелела. Хоть людям известно, что мы законные муж и жена, но зачем лишний раз афишировать, как такое национальное меньшинство, как я, могло проскочить в сверхсекретный институт.

Поднимаюсь на второй этаж, вхожу в приемную директора. За стеклянной перегородкой Лидуха моя. Красивая, как куколка — я такой ее дома со дня свадьбы никогда не видел. В пальчиках наманикюренных бумаги трепещут, небось государственного значения, телефонная трубка щекой прижата, голосисто отчитывает кого-то, вся в деле, меня не замечает.

И правильно, это дома я какой-никакой муж. А здесь кто? И подождать могу. Переминаюсь с ноги на ногу, портрет Лео-

нида Ильича Брежнева разглядываю, ордена его считаю. У меня же привычка такая — все подсчитывать.

Наконец, Лидуха взглянула на меня, кивком головы подозвала. Этот пакет, говорит, надо отнести на Опытный завод, в цех № 64. Вот пропуск.

Смотрю на нее вопросительно, с явным недоумением в глазах. Мне? Не ошиблась ли? В шестьдесят четвертый?

— Вы меня, кажется, не поняли, Борис Абрамович? — строго спрашивает меня Лидуня. — Может, мне повторить?

И понес я пакет на Опытный завод, в тот самый засекреченный цех, куда мне по жизни не то, что входить, а даже номер называть был строжайший запрет.

Три поста контроля прошел, трое ворот — три дырки компостером. Тут распишись, тут пальчики намажем и для памяти приложим. А тут карманчики вывернуть, ключи домашние сдать. Теперь можно идти. Второй этаж, комната 17.

Длинный коридор, нескончаемый. Полумрак переходит в полный мрак. Только цифры комнат по бокам светятся и жужжат. А где же семнадцатая? Пропустил, что ли? Хотел повернуться — не могу! Ноги будто магнитом притянуты к полу. Только вперед идти дозволено, в черную трубу, которой заканчивается коридор. Пригнулся, сделал несколько шагов, держась за липучие стенки, а потом пополз как червяк на мелькнувший вдали огонек.

Так я добрался до этой семнадцатой комнаты. По всей видимости, это была лаборатория. Мотались туда-сюда стрелки на приборах, мигали огоньки, взлетали и опускались изломанные кривые на экранчиках. Верчу головой туда-сюда, никого нет. Вдруг что-то грохнуло, под потолком открылся люк, а в нем возникло Лицо, закрытое наполовину авиационными очками. Не успел я поздороваться, как Лицо, взмахнув кожаными крыльями, вылетело по-птичьи из люка, как из гнезда. Одно только лицо, заметьте, без тела и рук. Покружилось под потолком и приземлилось возле меня на металлической тумбочке. Сон или не сон, таракит мое сердце, глядя на такое нечеловеческое чудовище.

А Лицо приветливо мне улыбается:

— Новенький?

Я кивнул и протянул пакет. Руки мои дрожали.

— Не бойсь, — сказала Лицо. — Я тебе зла не сделаю. Ну давай, поглядим.

Лицо наклонилось над пакетом, вонзило в него когтистые лапы и содрало целлофановую оболочку. А там — ничего особенного. Какой-то металлический стержень, похоже, из серебра, с какими-то иероглифами вокруг. И рядышком листок бумаги, несколько строк на нем — будто почерк знакомый, с закругленными буквами. Не Лидуни ли моей письмишко?

— Ждал я пакет этот со дня на день, — сказала Лицо с облегчением. — Видно, Верховный колебался. А кто ответственность перед Богом на себя возьмет? Тебя вот как несмышленища и отправили.

Взвыл внутри меня страх. Ай, Лидуха, Лидуха, зачем же меня, тварь, подставила?

— Хочешь, покажу, чем ты теперь заведовать будешь?

— Я?

— Именно ты. А мне на пенсию пора. Ладно, гляди.

Лицо вставило серебряный стержень в циферблат. Затикало что-то внутри, дрогнули стрелки, поползли одна за другой. И внезапно засветился на стене большой экран. Солнечный пляж вижу, пальмы, уйма людских тел — черных, белых на золотом песке, в волейбол играют, коктейли пьют. Такие картинки тогда только в журналах вражеских были. А вдали нескончаемая голубизна неба и моря.

— Красиво?

Мечта, говорю.

— А теперь гляди, что твои балбесы придумали.

Возникла в левом углу экрана световая стрелка и побежала скачками, как моль живая, в голубизну моря. И вдруг пропала. Вроде как бы нырнула. И тут же из-под воды вырвался вулкан лавы. Высоченные грязно-зеленые волны, вставшие стеной, понеслись одна за другой на солнечный берег, круша легкие пляжные постройки и сбивая с ног людей.

Я стоял, онемев от ужаса. Папоротниковое лицо поняло мое состояние.

— Шесть с половиной баллов по шкале Рихтера, — сказало оно с хохотком. — Наука бессильна, скажут завтра газеты. Подсчитают сколько погубило, сколько раненых, сколько без крова. И разведут бессильно руками: стихия... И никому невдомек, что это мы с тобой, боги земные, за тысячи километров, сотворили... А теперь дальше по шару покатим...

На экране возникли серые, заставленные высокими домами улицы крупнейшего многомиллионного города. Мчались нескончаемым потоком автомобили. На краю тротуара люди дожидались зеленого света.

— Не дождутся, — хмыкнуло Лицо.

— Остановитесь! — закричал я. — Не надо!

— Нервишки не выдержали?

Щелчок тумблера, экран погас.

— А то я не знаю... Эту тропь, сразу войница начнется. Ты кем работаешь?

— Экономист-бухгалтер. Начисляю зарплату.

— Должен знать, за что казна вам платит.

— А кто вы такой? — наконец решился спросить я.

Лицо молчало.

— Жертва ваших гребаных опытов, — тихо сказало оно. — В человеческом мире для меня места нет. Мутант я. Левчиком Мигуновым был когда-то. А теперь Мутилой зовут. Лет пять тому назад малое ЧП тут было, авария вакуумной установки. Полцепа кирдык, а я... Видишь, все, кроме лица, спалило.. Крылья вместо рук выросли. Куда страшилу такому деться? Жена и дочь отказались, мать insult сразил. Остался я одинокий, и с той поры бесценно служу науке. Все 24 часа в излучении приборов. В случае, если америкосы шарахнут или диверсия какая-нибудь, Верховный отмашку даст — я пальчиком красную кнопку — дзынь! И писец человеческому роду. «Интернационал» называется. «До основания, а затем...» Помнишь гимн? В лучшем случае все такими, как я, станут. Папоротниковые леса планету покроют, лопухами и прочим все зарастет. Фауна как миллионы лет назад. Отсюда и название НИИФА. Понял?

— И не жалко? — тихо спросил я.

— А меня жалели, суки? Ни жить теперь, ни помереть. Птеродактили, знаешь, сколько лет живут? До тысячи, если не больше.

Я подошел к щиту поближе. Рядом с красной кнопкой мигала зеленая.

— А это «УСУ-5», — сказал Лева. — Установка самоуничтожения.. На случай международной комиссии. Бац — и шитокрыто... Или если новую штукенцию ваши козлы придумают, помощнее. А эту на слом. Велено мне по всем деталям проинструктировать тебя.

Продолжая говорить, он летал от стенда к стенду. Но слов его я уже не различал.

И вот, сам не знаю как, не могу даже объяснить, но произошло чудо. Будто сам Господь потянул меня за руку, подбежал я к щиту и со всей силы, прямо кулаком, бряк по зеленой кнопке. И в ту же секунду как шандарахнет страшный взрыв, глаза мои мигом обожгло молнией, ослепило, и выключилось напрочь сознание.

Тишина наступила. Очнулся не пойму где. Ни Левы, ни цеха. Все вокруг в туманной плавающей дымке. Еле-еле различил лицо чье-то. Не папоротник, обыкновенное. Витает надо мной, губами шевелит.

— Лева, — шепчу, — Лева... Ты жив?

А лицо вдруг как вскрикнет:

— Мамочка, сюда! Он очнулся и снова бред несет.

Да это же Анечка, дочь моя. Боже, неужели я дома?

Прибежала Лидуха, в фартучке, из кухни. На диван плюхнулась, ласкает меня, гладит, носиком к носику водит — это у нее забава такая еще с первой брачной ночи осталась.

— Боренька... Родненький...

Дома мы по-семейному друг друга называли, не официально.

— Что с тобой было, не пойму. 39 температура. Бредил ты, кидался, метался, нес что-то несусветное.

— Я скорую два раза вызывала, — гордо сказала Анечка, дочь моя. — Все время возле тебя, папуля. Дежурила. Зато мама на дискотеку трешку даст. Правда, мам?

Лидуня кивнула, достала денежку. Анечка убежала.
— Послушай, — сказал я жене, — а что слевой? Жив он?
— Какой такой Лева? — спросила тревожно Лидуня. —
Сейчас чайку тебе заварю, дорогой. — А ты постарайся уснуть.
Лихорадка у тебя — к счастью неинфекционная. Через пару
дней обычно проходит.

— Послушай, Лида... Ты зачем меня в шестьдесят четвер-
тый направила?

— Я? Когда?

— С утра. Сегодня с утра. И записку написала.

Лидуня рассмеялась.

— Ты весь день дома сидел, малыш. Вернее лежал.

Встала, оставив попку — не так, как для директора, конечно,
для мужа ведь стараться нечего. Достала из комода конвалю-
ту с таблетками, выдавила одну и зачихнула мне в губы.

— Я у Валерия Павловича отпросилась, домой прибежала..

— Там гвоздь был...на нем иероглифы...

Лидуня расхохоталась — чуть с дивана не слетела.

— Смотри, Боря, вот больничный, 29 марта. А сегодня ка-
кое? Двадцать девятое. Говорю тебе: никуда ты не выходил.
Успокоился? Не чуди, ради бога.

В этот самый момент зазвонил телефон. Лидуня сняла
трубку. Вдруг глаза ее округлились, щеки поползли вниз.

— Что? Когда? — только спрашивала она побелевшими
губами.

— Да, да. Я позвоню, позвоню тебе попозже. Понимаю...

Лидуня положила трубку. Щеки ее покрылись тревожны-
ми багровыми пятнами.

— Ничего не пойму... — прошептала она тихо, как бы
самой себе.

Потом подошла ко мне.

— Ты, действительно, слышал взрыв?

— И слышал, и видел. Ты ведь меня послала с пакетом...

Чтобы я остался там вместо Левы.

— Сон это был, сон!!! Запомни! Никуда я тебя не посыла-
ла.

Она потрясла больничным перед моими глазами:

— Вот наше алиби. Понял? А что касается работы, то там, между прочим, лучше, чем арифмометр крутить. Зарплата почти как у директора. И пенсия через десять лет.

— — —

Леву Мигунова, погибшего при взрыве установки, похоронили на Богословском кладбище. Гроб был маленький, как детский, и закрытый. Замену ему долго искать не пришлось.. Лидуня крутанула попойкой и выбила эту должность для меня. Я стал ответственным дежурным, без права выхода с территории завода. Установку «Интернационал» запускали дважды — один раз бахнули по острову Калимантан в Южно-Китайском море. Второй раз в районе Гималаев. Эксперименты прошли успешно, дремучие папоротники разрослись, остальная жизнь исчезла.

Меня премировали. Правда, пересчитать деньги я не смог — пальцы уже стали превращаться в когти. Часть суммы я отдал на памятник Левчику, остальное переслал домой. Лидуня, как я узнал, вскоре купила «фольксваген» последней модели, а летом они с Валерием Павловичем укатили на модный курорт в Испанию, Santa Susanna. На Международный симпозиум по сохранению земной фауны. Я их высветил случайно на своем мониторе. Место райское. И еще не растут папоротники. И слава Богу.

Цирк свиней

— Есть страна, которой управляют животные, — сказал мне однажды наш хряк Мануэль. — Они изгнали людей и научились жить без них. Учти, сынок, это страшная тайна, и за разглашение ее полагается смертная казнь. Человек боится потерять власть над нами.

Почему он поделился этой тайной именно со мной? Чем я выделялся из всего остального молодняка? Ведь мы были до ужаса одинаковыми — черненькие, с белым пояском, идущим через лопатки, и лихо закрученными поросячьими хвостиками. И все были похожи на него, ибо, как шептались на ферме, он был наш всеобщий отец-производитель, в течение семи лет исправно несущий свою службу по увеличению поголовья свинофермы...

— Хороший хряк стоит половины стада, — гордо говорил Мануэль, и мы, поросята-сосунки, созданные напором его поистине неиссякаемой волшебной энергии, смотрели на него умильными и преданными глазами.

Хозяин холил и любил Мануэля. Отвел для него специальный станок с отдельной кормушкой. А как его кормили! Ячмень и кукуруза, картофель и любимая моя тыква. Да рыбки добавят, да яичек растолкут... И еще соченьким клевером присыпят. И все свеженькое, не гниль, не пищевые отходы от людского стола. Однажды, когда я пробрался к нему через лаз в изгороди, он поддал в мою сторону морковку и покивал дружелюбно своей тяжелой мудрой головой. Угостил, значит. Я жевал ее и жмурился от удовольствия. Не только от сочной и пахучей морковки, а гордясь тем, что приобщен к царскому обеду. Великий хряк прославленной гемпширской породы, с кучей наград и медалей, а вот какой человеческий был, если так можно сказать, к нам, обычным смертным свинтусам.

Единственное, в чем он был непреклонно требователен — это тщательная ежедневная чистка и умывание. Хозяин уже знал, что стоит Мануэля зимой не подраить хорошенько щеткой, чтоб не чесались бока, а летом просто сполоснуть без мыла и шампуня — скандал неминуем. И клыки хряк может показать, и загородку долбануть с ходу — так что берегись! Вся ферма замирала от страха, и малышня, и свиноматки — все жались по своим углам. Пока пронесется, наконец, буря, и Мануэль захрапит спокойным безмятежным сном.

Каждые три месяца двое работников обрезают и расчищают ему копыта. После этого Мануэль, огромный, грузный — тридцать два пуда живого веса! — ходил по двору легко, будто плыл по воздуху. А гулял он каждый день по два часа, и часто, я слышал, говорил нашим маткам:

— Коль жирка наберу, расслаблюсь, на сперму порча налетит — заместь поросят мышшей строгать буду. Хозяин осерчает, нельзя его обманывать.

Однажды, прогуливаясь по двору, он забрел за старый амбар, где на лужайке под тенистым кленом резвились обычно мы, братья-поросята. Это был наш уголок. Лужайки, конечно, давно уже не было в помине — мы ее всю вспахали своими неутомимыми пяточками и вытоптали копытцами всю траву. Поэтому хозяин фермы страшно злился и даже колотил нас палкой, завидя за амбаром. Но, как вы знаете, запретный плод и для свиньи сладок. И при первой же возможности, когда шеф уматывал в город — на рынок или в банк — мы чухали за амбар и там бесились до полного очумения.

Неподалеку от амбара стоял деревянный стол, сколоченный из старых дубовых досок, и две длинные лавки. Там обычно располагались на обед работники фермы — скотники, доярки, кухарки, кузнецы. Все они были веселые люди, рассказывали смешные истории, большей частью про мужчин и женщин. Про то, чем и как они занимаются по ночам, и у кого это выходит лучше, а у кого ничего не получается. Когда же на ферме не было Хозяина и мальчишки-подмастерья притаскивали бидончик с пивом, часто у них доходило до мордобоя, а ругались они такими тяжелыми словами, что

у нас, свиней, дух захватывало. Ух, как нам нравились эти словечки ! Как мы старались их запомнить и обложить друг друга покрепче, по-человечески, этими свинушками-матерушками.

Там же, на лужайке, мы заводили свои любимые поросычьи игры — «обсерашки» и «обсцикашки».То есть кто кого больше обделаает хоть какашками, хоть мочой. Играли без всякой злобы, ради шутки, исключительно для отработки меткости броска.

Однажды Хозяин повез свою жену в больницу, мы знали, что это надолго и собрались за амбаром. Кувыркались, прыгали, как сумасшедшие. «Обсерашки» были в самом накале, когда под кленом возник Мануэль. Мы замерли. Конечно, Мануэль не Хозяин, и палки в руках у него нет. Но все же сам вид этого гиганта, нашего всеобщего отца, молча наклонившего голову и с укоризной глядящего на нас исподлобья, был страшен. Братья-поросята мгновенно смылись. В буквальном смысле — отмыли в канаве свои бока и спины от желтых липких пятен и разбежались. Остался один я. Не потому что самый смелый, а в тот раз я здорово проигрался и был обосранным по самые уши.

Мне было стыдно перед Мануэлем за свой вид и, перед тем как выкупаться в канаве, я бросился на землю и стал кататься, чтобы грязью очиститься от говна. Мануэль не высказывал ни осуждения, ни гнева. Наоборот, лег на солнышке, вытянулся с наслаждением и, казалось, дожидался, пока моя шкурка станет чистой. После этого я ополоснул мордочку и хотел было дерануть. Но Мануэль, доброжелательно хрюкнув, дал знак лечь с ним рядом.

Как я уже говорил, Мануэль по-доброму, любовно относился ко мне. Выделял из ватаги моих ровесников, подкидывал при случае хавчик. Я ломал свою свинячью голову, пытаюсь понять причину такой нежности. И вот сейчас Мануэль рассказал, почему он так благоволит ко мне. Дело было в моем белом гемпширском пояске, который, пройдя через лопатки, прерывался на спине дюйма на полтора-два — точно так же, как и у него. Это был знак чистоты породы, которым из молодняка был отмечен только я. Поэтому со временем,

сказал он, именно мне будет доверено его царское место производителя стада, и я буду продолжать его благородное дело до тех пор, пока хватит спермы.

Мне стало жаль старого хряка. Как воспитанный поросенок, я стал убеждать Мануэля, что в ближайшие годы он останется на своем посту, что Хозяин его ценит и никто лучше него не сможет справиться с этим ответственным делом.

— Да, моя сперма известна во всей округе, но всему, мой мальчик, приходит конец, — сказал Мануэль со вздохом. Глаза его, зажмуренные от слепящего солнца, как показалось мне, чуть увлажнились. — Возраст есть возраст. Но ты, я уверен, продолжишь меня. Ты впитал в себя все лучшие черты нашей славной породы. Прекрасно сложен, спокойного нрава, хорошо понимаешь косноязычную человеческую речь. Я уверен, что, когда придет срок, Хозяин остановится только на тебе. Других вариантов у него просто нет. Не станет же он выбрасывать деньги на инородца. Я лично подам свой голос за тебя.

Такой вот у нас разговор произошел в тот день за амбаром. С того дня Мануэль, если выдавалась свободная минутка, обучал меня моему будущему ремеслу. Я видел, как в своем станке он качает свою могучую шею, становится на задние лапы и потом валится, будто хочет свалить дерево или побороть другого кабана.

Я начал свыкаться с будущей ролью на ферме. Перестал бегать за амбар и играть с друзьями в «обсерашки». Не к лицу было мне теперь ходить со следами говна. Я стал следить за собой, тщательнее умывался, вылизывал шерстку. Не скрою, занять место всеобщего отца нового поколения было престижно и почетно. И все складывалось как нельзя лучше до того дня, когда на ферме появился чужак. Первым учуял его Мануэль. Инородный запах насторожил его. Подойдя к отделению молодняка, он тихонько позвал меня. Я как раз дремал в берложке, но услышал его встревоженный хрюк, тут же выскочил через лаз в перегородке.

Мануэль рассказал, что коварный Хозяин, действительно, привез из города нового кабана. Его временно поместили в сарае под черепичной крышей и пока не выпускали во двор. Но

мы с Мануэлем слышали его неистовый хриплый рев, принадлежащий, наверное, сильному и могучему животному. Вскоре работники построили для Сальвадора — так его звали — специальный станок на свежем воздухе, более просторный и чистый, чем был у Мануэля, и постелили чистой соломки.

Сальвадор был другой породы, крупней Мануэля — белый, холеный, с сильно развитой мускулатурой и розовыми, торчащими в разные стороны ушами. Мы поняли, что Хозяин решил сменить нашу гемпширскую породу на йоркширов, которые быстрее, чем мы набирали вес, и Сальвадор должен был положить ей начало.

— А меня под нож, — мрачно сказал Мануэль и сплюнул. — Хряк сделал свое дело — хряк может уйти.

Назавтра Мануэля взвесили. Оказалось, в этом гиганте было меньше, чем рассчитывал Хозяин. И его поставили на усиленный откорм. Гулять уже не выпускали, он должен был набирать вес.

— А как же твоя сперма? — с волнением спросил я. — Ты же утратишь свою силу.

Он безразлично махнул копытом:

— На мою сперму им теперь наплевать и растереть. Мясо им подавай. Мое мясо. Окрока, печеночку, мои ножки. Знал бы ты, малыш, для чего мы, свиньи, живем на белом свете!..

Честно говоря, я по молодости лет никогда не задумывался над тем, почему человек так заботится о нас. Кормит, чистит, купает. Значит, любит нас, думал я. Гладит по шерстке, лечит, если кто-нибудь захворал. А то и везет в город к ветеринарному доктору. Какими добрыми и милыми мне казались эти двуногие существа, окружающие нас. И вот, оказывается, мы лишь пища для их ненасытных кишок. Как морковь или бурак для наших желудков. Рано или поздно, как им заблагодаримся, они поджарят или сварят куски твоего тела, съуют тебя и выбросят косточки голодным собакам. В тот день, когда я узнал об этом, кончилось мое беззаботное поросычье детство, кувырки на лужайке, наши веселые «обсерушки» и беготня наперегонки. Кончилось детство.

И вот тогда, наверное, чтобы утешить меня, Мануэль рассказал мне о республике «Скотный двор», откуда животные выгнали ненавистного человека и живут сами по себе, как хотят и сколько хотят. Есть даже книжка такая, где все правдиво написано — и про восстание животных и как они построили новое справедливое общество. Но сам Мануэль этой книги не читал, потому что она запрещена человеком и за нее полагается немедленная казнь. А слышал он об этой удивительной стране от отца, и в эти последние дни перед нашим расставанием много рассказывал о ней.

— Ты должен бежать, там твое будущее, — сказал старый Мануэль.

— Как?

— Если бы я знал как, давно бы унес копыта, а не дожидался своего последнего часа. Но я хоть пожил в свое удовольствие семь славных годков. А тебя осенью отвезут на бойню. И кирдык.

— Ты же знаешь, Мануэль, что ферма огорожена кирпичной стеной. Бежать нельзя.

— У тебя в запасе пара месяцев. Думай.

Через несколько дней мы простились со старым хряком. Его погрузили в кузов разболтанного грузовичка, за бортами которого находилось более десятка таких же обреченных, стонущих в смертном предчувствии животных. У нас была всего одна минута, чтобы потереться мордами друг о дружку. И его увезли.

... Летели один за другим дни, приближалась осень. Хозяин все чаще поглядывал на меня своим прищуренным глазом, ласково гладил мои бока и попку, но я уже знал, к чему эти нежности, брыкался и вырывался от него. Каждое прикосновение его заскорузлых мозолистых пальцев будило во мне мысли о близком конце. Мне подбрасывали в корыто любимые лакомства — клевер и морковку, варили тыквенную кашницу с витаминами, но аппетит пропал, я оставлял почти всю порцию несъеденной.

Страшнее всего были ночи. В крошечной тьме, просыпаясь, я видел занесенный надо мной нож. Как еще живого, во-

пящего от нестерпимой боли, меня разрезали на части и бросали на раскаленную сковородку или делали фарш. Как Хозяин и хозяйка жрали одну за другой приготовленные из меня котлеты, племянник — обгладывал свиные ребрышки, а их дочка обсасывала во рту мой нежный пяточок. Как шоколадную конфетку. И ни капли жалости не было в ее голубых глазах. А ведь она так любила меня, повязывала вокруг моей шеи розовый бантик и даже целовала меня, когда поблизости не было родителей.

Чтоб вы подавились этими котлетами, свиноеды проклятые, думал я сквозь слезы. Я ненавидел людей. Лживые коварные твари! Я думал только о том, как спастись. Как уберечь себя от их железных челюстей и прожорливых глоток. Случай представился сам по себе. Недоедание и бессонница вызвали во мне потерю в весе. Я по нарощке делал вид, что еле держусь на ногах. Хозяин не на шутку встревожился и решил срочно спасти меня. Домашние средства не помогли — я потихоньку выплевывал таблетки и микстурки — и меня решили повезти в город к ветеринарному врачу. Я понял, что мой план удался. Мое поросячье рыльце еле скрывало радость.

Повезти меня в город Хозяин поручил скотнику Николаусу. Это тоже было удачей. Я знал, что этот алкаш не преминет сделать пару остановок, чтобы хлебнуть пивка. А это увеличивало шанс вырваться на волю. В одном только я просчитался. Повезли меня не в кузове, как свободную тварь, как везли Мануэля, а в мешке, темном, вонючем, завязанном сверху крепким узлом. Я попробовал надгрызть его — ничего не получилось, мешок был прочный и кроме дырок от зубов на нем ничего не осталось.

Когда машина остановилась, я выждал некоторое время, чтобы дать алкашу напиться, и начал громко визжать. Видимо, он услышал, выскочил с проклятиями из кабака и стал развязывать мешок. Наверное, чтобы накормить меня. А я только и ждал этого — мигом брыкнулся, выскочил из мешка, перескочил через борт машины — и помчался к рощице, которая виднелась вдали.

Лес укрыл меня от погони. Обессиленный, я рухнул на землю, сердце мое колотилось как бешеное. Мне еще не верилось, что я спасен. Из густых кустов орешника я видел Николауса, совсем близко. С мешком и веревкой в руках, ругаясь на чем свет, он искал меня за каждым деревом. Он даже не замечал, что топтался на одном месте, потом двинулся в противоположную сторону и вскоре исчез в глубине леса.

Ушла опасность, и проснулся зверский аппетит. Сперва я подобрал желуди — этого оказалось мало. Тогда по нюху я начал рыть своим пяточком землю вокруг корней столетних дубов и добыл немножко съедобных грибов, по вкусу напоминающих жареные семечки, это были, как я позже узнал, трюфели, и запил водичкой из ручейка. Что делать дальше, я не знал. Где расположена республика «Скотный двор», как туда пройти, спросить было не у кого.

Ночь я провел в лесу, на берегу небольшого озерка, зарывшись в ворох осенних листьев. Меня, думаю, совсем не было видно, потому что наутро совсем близко остановились две красивые машины, и несколько молодых людей выскочили из них.

Утро было жарким, и они, распарившись после долгой дороги, первым же делом побежали к озеру. Тихий, еще окутанный туманом лес сразу же очнулся, разбуженный их хохотом и криками. Люди ныряли, брызгались, топили друг друга — ну, точно, как мы, поросята, в своей дворовой канаве.

Самое время было унести ноги. Но внутренний голос, который каждая свинья слышит лучше, чем ушами, советовал мне дожидаться, пока они уедут и что-нибудь оставят из еды. Ведь на желудях и трюфелях долго не прокормишься.

Из кучи листьев, в которую я зарылся, мне хорошо было видно, как, накупавшись и набесившись, люди один за другим вышли на берег и принялись за приготовление пищи. Разожгли костер, стали печь картошку и что-то жарить на сковороде. Наверное, мясо других моих собратьев. Женщины расстелили большое одеяло и расставляли на нем тарелки и стаканы для будущего пира. У меня уже потекли слюнки и заурчал животик и я непроизвольно хрюкнул. И тут же спо-

хватился, зажал рот лапой. Но, видимо, поздно : мой хрюк донесся до этих людей и одна из женщин двинулась прямо к той куче листьев, в которых я прятался. Я замер, ожидая, что будет. Прошла минута или две, листья никто не ворошил, но вдруг что-то полилось на меня. Сперва я подумал, что это вода и женщина решила умыться. Но потом запахло едким запахом мочи, она просто писала. Струя была нескончаемой, я никогда не думал, что в человеке скапливается столько мочи. Я шевельнулся и тем самым выдал себя.

— О!!! — завопила эта дура, навалившись на меня всем телом. — Поросяенок! Живой! Сюда, ребята!

Я пытался вырваться, но меня скрутили собачьим поводком и положили рядом с костром.

— Шашлычок будет на славу, — сказал один из мужчин, которого звали Роберт, и дружески похлопал меня по попке. Я уже знал, что означает этот жест и понял, что конец мой неминуем. Кирдык, как говорил Мануэль, пришел неожиданно. И не с той стороны, откуда я его ждал.

— Ни в коем случае! Он будет жить у меня на даче, — сказала нежным воркующим голосом та, которая меня обнаружила в куче листьев. Ее звали Сусанна. — Такой симпатичный, а какие умненькие глазки. Ты все понимаешь, правда, Бешпо? Я так тебя буду звать. Нравится? Тю-тю-тю, миленький.

Она напихала мне полный рот белого ароматного хлеба, который я в жизни ни разу не пробовал, положила в мисочку помидоров и огурцов, свежей колбаски. Я ухлестывал все это добро, мысленно благодаря свой внутренний голос, который посоветовал мне остаться.

А компания тем временем веселилась. Пили, ели, потом начали громко горланить песни. И все время ругались такими крепкими словами, что нашим работникам на ферме у них только поучиться.

Потом, пьяные, они посдирали с себя все до последней тряпки и начали бегать по берегу друг за другом. И тут же, клянусь вам, никуда не уходя и не прячась, стали соединяться по парам и даже в большем числе. Грохотала музыка, рвала

мне мои нежные пороссячи уши, а они все танцевали и прижимались телом к телу — то лежа, то стоя, а то и в самом озере. Никогда на ферме у свиней я такого зрелища не видел.

Проснулся я среди надгробных памятников и плит. Я сразу же догадался, что это кладбище, потому что возле фермы, где я жил, был небольшой сельский погост, куда уносили мертвых из ближайшей округи. А потом ставили на этом месте какие-то фигурки и кресты. Пару раз мы с друзьями бежали туда. Но как я попал на это странное кладбище, я никак не мог понять. Странное, потому что вместо травки был каменный пол, а надо мной не небо, а высокий застекленный потолок.

— Беппо, мальчик мой, ты уже проснулся? — услышал я знакомый воркующий голос Сусанны. — Давай умоемся, потом ням-ням сделаем. Нам уже тетя Роза сварила овсяночку. С маслом. Тебе понравится, вот увидишь.

Вокруг ее теплых миндальных глаз лежали морщинки, в рыжеватых волосах сквозила седина. И эта уже не первой молодости женщина вчера так прыгала и резвилась на берегу — в это трудно было поверить.

Так я стал жить у Сусанны в шикарном загородном коттедже. У меня была своя комната с надувными игрушками, тюфлячками, поильными мисками. Но большую часть времени я проводил во дворе, среди кустов боярышника и барбариса. Там был полный простор для беготни и «обсерашек». Меня любили — и Сусанна, и ее работники — и никто не думал сделать из меня шашлык или свиные ребрышки.

Моя хозяйка, как я вскоре догадался, занималась изготовлением надгробных памятников. Высекала из гранита и мрамора лица умерших или ангелов с крыльями, писала золотом фамилии покойников и сколько они прожили на белом свете. За это ей платили большие деньги.

Меня кормили такими деликатесами, которых, я уверен, ни одна свинья на свете не достаивалась. Даже блаженной памяти хряк Мануэль. Сусанна жила без мужа, поэтому, наверное, каждую ночь брала меня к себе в постель, мягкую, как пух. «Погреемся, детка», — говорила она сперва. А на самом

деле всю ночь играла со мной, как с куклой, ласкала, щекотала, говорила мне нежные слова. Меня только одно беспокоило — как бы я во сне не начал, забывшись, играть с ней в «обсерашки».

К Сусанне часто приходил один из тех молодых людей, которые были тогда на озере, Роберт. Всегда безупречно одетый, в стальном костюме, с галстуком-бабочкой, с милой улыбкой. Пальцы его сверкали драгоценными камешками. Кто бы мог поверить, что он, напившись, скакал тогда без трусов как козел? Его приходы всегда радовали меня, потому что Роберт и Сусанна запирались в спальне, а я имел возможность отдохнуть и побегать во дворе.

Но однажды служанка Роза впустила его, не предупредив хозяйку. Зайдя в нашу спальню, он обомлел, увидев меня в ее объятиях. Я юркнул под одеяло, стараясь зарыться как можно глубже. Но Роберт вытащил меня за ухо, разъяренный, как боров. Я вывернулся и бросился наутек. Он нагнал меня в мастерской и схватил за ноги. Я завизжал, вырываясь изо всех сил. Прибежала Сусанна. Плачет, умоляет пощадить меня. А Роберт, схватив здоровенный молоток, которым она обрабатывала камень, уже занес его надо мной. Тут Сусанна бросилась, чтобы вырвать его, но сама попала под удар. Роберт саданул ей прямо в висок. И тут же, конечно, понял, что натворил. Он бросил меня, стал ее тормошить, брызгать на нее водой. Но все напрасно, Сусанна скончалась, не приходя в сознание. Бедная, она пожертвовала жизнью ради моего спасения, я ее никогда не забуду.

На следующий день Роберт вызвал полицию. «Ее ограбили, пропали деньги и драгоценности, ищите преступников», — сказал он со слезами на глазах. Тварь коварная, любая свинья не поступила бы так. Но в память о Сусанне он решил сохранить мне жизнь и отдал своему знакомому, директору цирка.

Я попал в совершенно новый для меня мир. Меня быстро выучили всяким штучкам-дрючкам — ходить по проволоке, прыгать через обруч, угадывать числа. Вначале, правда, я пугался ярких огней, они слепили меня. Но со временем привык

к ним и к крикам публики. Мне нравилось веселить зрителей. Вместе с Хрюндем и Боббсом мы придумывали все новые и новые фокусы, и директору это нравилось. Наша маленькая сценка разрасталась, он прикупил и выдрессировал еще десяток поросят. Так постепенно мы превратились в «Цирк свиной», который стал разъезжать по другим городам, большим и малым. Публика валила на наши представления, особый восторг и удивление вызвали наши хрюки с крепкими словечками, танцульки с «обнимушками», «обсерашки» и «обсикашки» на меткость, которые мы, не стесняясь, разыгрывали на арене. Мы так увлекались своей стрельбой, что иногда доставалось и зрителям первых рядов, но они не обижались, а даже были рады, что вовлекаются в наше зрелище — в газетах это называлось словом «перформанс».

Перед самым Новым годом в цирк вдруг пришла беда. Заболела и скончалась Фенечка — наша прима, на которой держался весь репертуар, а главное — любовные сценки.

Директор цирка чуть не сошел с ума. Или не умер от разрыва сердца. Не знаю, что хуже. Билеты на новогодние представления были проданы, и, узнав о кончине Фенечки, люди стали возвращать их в кассу. Но заменить Фенечку другой свиной за пару недель, как вы понимаете, было нереально.

Но директор цирка был не дурак, и ему в голову пришла гениальная идея. В один прекрасный день у нас на манеже появилась Китти Кэт, молоденькая артистка из Молодежного театра. Способная, прыткая и, что самая главное, без всяких комплексов. За пару дней освоила все «танцушки» и «обнимушки», и со свинячьей маской на лице бегала абсолютно голдой, а мы догоняли и валили ее, а люди ревели от восторга. Директор подписал с Китти контракт на солидную сумму. А у себя в театре она по несколько месяцев сидела без зарплаты. Конечно, она была рада. Хоть и играла там, как она говорила, и Джульетту, и Офелию.

Поэтому я совсем не удивился, когда увидел перед дверью директорского кабинета целую очередь молодых артистов, желающих поступить в наш «Цирк свиной». Скажу вам честно, они скоро забыли свое так называемое искусство и вытво-

ряли такие фокусы, что нам, чистокровным свиньям, было далеко до них. И немножко стыдно. Не меня своего названия, «Цирк свиней» объездил пол земного шара, причем из прежнего, коренного, состава остался только я. Директор, уважительно относясь к моему возрасту, перевел меня на тренерскую работу. Республику «Скотный двор», о которой мне рассказывал Мануэль, я так и не нашел. Да и особенно не старался. Мне вообще эта идея показалась глупой. Зачем изгонять людей из страны? Кто тогда будет работать? Нет, пусть свинячат они, им это хорошо удастся, а мы будем наслаждаться жизнью.

...Так думаю я, сидя в шикарном номере заграничной гостиницы в столице одной косоглазой страны, передо мной диктофон „Sony“, и я не спеша нахрюкиваю историю моей удивительной жизни.

Мусорный домик на окраине Парижа

— Это, господа, судырь мой, не кто другой, как капитан Копейкин!

А когда все тут же в один голос спросили: «Кто таков этот капитан Копейкин?» — почтмейстер сказал:

— Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?

Н. В. Гоголь. Мертвые души, гл.10

1.

У Мосеича был кнут. Держал он его в левой живой руке. Другой руки, самой главной, десницы, у него с фронтовых лет не было: оторвало ее сержанту Копейкину по локоть, и в пустом рукаве трепыхалась без надобности одна лишь культяпая чурка. А та, другая, осталась вместе с почерневшими от пороха пятью пальцами в бою у деревни Рыжиха, где poleg весь его минометный взвод.

Кнут был особой работы, сплетенный неведомым хитрым мастером из длинных полос воловьей кожи и постепенно переходящий в узкий языкастый ремень. Достался он Игнату Мосеичу от прадеда, тоже Игната, служившего при царском еще режиме в судейском ведомстве по части исполнения наказаний. Силищи дедуля был отменной, хвалился, что мог с трех ударов перешибить человеческий позвоночник.

Придя с войны и ставши как заслуженный военный инвалид пастухом, Мосеич обрадовался найденному в сараюшке прадедову наследию. Только вот перешибать позвонки ему не было никакой надобности. Посему ободрал он проволоку с хвоста кнута, заодно выдрал и пульку, вшитую в обрезок кожи, и тем придал устрашающему орудию мирный характер.

Пастушья привольная жизнь была Мосеичу по сердцу. Одинокостью своей, располагавшей к думам, и извечным

запахом окружающих сухих луговых трав, который держался на нем до самого дома и вступал в битву с кислыми домашними щами. Внучка Мосеича Любашка варила их на всю, кроме воскресного дня, неделю.

Пастушество, помимо всего, добавляло к девяносторублевой военной пенсии тридцатку, которую Любашка тут же отбирала и бежала в раймаг то за батистовой блузкой, то за модняцкими танкетками-босоножками. Да еще бурчала, что денег за оторванную руку мало платят для нормального человеческого проживания. И надо, мол, идти в военкомат и добиваться второй группы. «Как Чижик Васька» — назидательно добавляла она.

— Сравнила тоже... хер до пальца, — огрызнулся Мосеич. — У Чижика протезы на двух ногах. Заслужил, значит.

— А у тебя зато руки нет, да еще правой, — не желала унижаться Любашка, — а это повесче будет, чем две или три ноги. Чижик на протезах вона как управляется! И бочки выделявает, и сапоги шьет-ушивает. Гребет рублики почем зря. А ты с этим кнутярой, как генерал, ходишь, коровьячи хвосты считаешь, копейка за каждый. Нашли себе дурачка.

И стала умять обдуманно паек его полдничный, уже привычный. Который он в поле брал. Из торбы достанет пакеец — вроде увесисто. А там, как развернешь на голодный желудок — котлетка тюремного типа с краюхой ржаного или одинокое яичко с картошкой. «Урезает себе девка на шубу», — догадывался Мосеич. Но распрю не заводил — дело молодое, хочется покрасоваться девчонке, ее пора.

А ему-то как быть? Бескормица скребет в животе солдата, отводит голову от свободных размышлений, как нарочно раскладывает перед мысленным взором недостижимые продукты питания. И вот, однажды, сидя в развесистом липовом тенечке после скудной полдницкой еды, обратил Мосеич свой пристальный изголодавшийся взгляд на корову Фиалку с полным выменем молока. «Ишь, нагуляла, толстуха. И домой не дойдешь, свалишься». А она стоит перед ним неподвижно и моргает. Будто понимает его голодное состояние и склоняет его, заслуженного военного инвалида, однорукого защитника Ро-

дины, к непотребному действию. И зажурчало в голове Мосеича теплое парное молочко, сглотнул он его мысленно и сам не заметил, как подлез под брюхо Фиалочки с поллитровой банкой и начал бессовестно дергать ее розовые надутые титьки. «Бессовестно» — это он сразу понял, ведь не свое взял. Грех свершил. А один грех ненаказанный другого за собой тянет, повторения просит. И удержаться уже не мог Мосеич. Слетела запретная узда с его души. На завтрашний день прихватил он в торбе своей банку литровую. Гулять так гулять! Где ж ты раньше был, Мосеич?

И все продолжалось бы так веки вечные, и крутился бы себе Божий мир с молочком для заслуженного солдата, когда бы враз нежданно-негаданно не вызвали его обязательной повесткой на правление колхоза «Слава Родины». Заныла душа, заекло нехорошее предчувствие. И не зря. Председатель Кравчук, и все семеро с ним, как только вошел он, в папки усталились, бумагами шелестят. На Мосеича ноль внимания с фунтом презрения вдобавку. Другие у них темы в папках подколоты, поважнее. И про вывоз навоза на поля, и про заготовку силоса, и про то, как Маньку рыжую в лесной посадке снасильничали, а ты дожидайся своей очереди, помалкивай. «Да нет, зря я встревожился, — утешал Мосеич свое стучащее как пулемет сердце, — никто меня в поле видеть не мог. Наверное, по другому делу понадобился начальству».

Сделали перерыв колхозные правленцы — для растомления. Кто покурил на крыльчке, кто в нужник сбегал излить накипевшее. И тут Мосеичу приспичило тоже, да еще по большой нужде. Хоть и не член правления, но человеческое у человека не отнимешь. Пробовал он стерпеть, сдержать свою натуру, но забоялся: а вдруг при этом штаны испачкаю, конфузно будет.

В отхожем месте, чистом, побеленном известью к близким майским праздникам, Мосеич занял очко, задумался было, но через минуту неожиданно появился с расстегнутыми уже штанами сам председатель колхоза Кравчук Е. А. и сел рядом. Мосеич оробел и сразу же ощутил неуместность своего близ-

кого соседства. Лучше б пачканул штанцы, отмыл бы, подумаешь, делов куча. Но уже деваться было некуда.

Председатель молча и упорно делал свое дело. В руках у него был мятый обрывок районной газеты «Ленинская заря» со статейкой о соревновании свекловодов. На Мосеича он не обращал никакого внимания. Будто не сидели они на равных, как два высокогорных орла. Будто не делали одно и то же обязательное человеческое дело. Но вдруг председатель свернул шею в сторону Мосеича и злобно выкряхтел из себя:

— Обосрал ты, Мосеич, наш передовой колхоз «Слава Родины».

— В каком это смысле? — дрогнул коленями Мосеич.

— В прямом. Сорвал план молокопоставок. В глотку свою употреблял. А это что? Хищение общественного имущества. В особо крупных, учитывай, размерах. И светит тебе за это, знаешь что?.. Не годик и не два...

— Полтора литра нацедил, Афанасьевич. С голодухи, черт помутил.

— А цифры про другое говорят. Семь бидонов недостача за прошлый месяц. Твоих воровских рук дело.

— Каких рук, Егор Афанасьевич? Одна ведь у меня только.

— Ты вот что... Послушай. Сейчас твой вопрос разбирать будем, так сказать, в первичном досудебном порядке. Как коммунист советую тебе: признай вину свою вину и публично покайся. Уразумел? А мы тебя на поруки возьмем. Для исправления.

Председатель Кравчук Е. А. натянул на себя штаны, зыркнул прощальным оком в очко и вышел. Мосеич, согнув плечи, за ним. «Ну не полтора, может, два литра, не боле. Пусть еще докажут, никого напрочь не было поблизости», — утешал он себя. Но обмишурился: очевидец нашелся. И был это, как оказалось, никто иной, как Павлушка Морозов, пионер из соседнего села Красный Кут. Под салютом всех вождей поклялся живоглазый очевидец, что несколько раз, проходя мимо, видел из кустов, как пастух Мосеич бессовестно доил колхозных коров и сливал похищенную колхозную собственность в би-

дон. И старуха Ниловна видела, как мужики уносили те бидоны налево.

— Брехня! — заорал исступленным голосом, срываясь на визг, Мосеич. — Охмураживает он вас и всех вождей, которыми клянется — и Владимира Ильича Ленина, и товарища Сталина. А я за них в пекло кидался, да. Не верьте ему, товарищи члены правления.

— Но-но, поосторожней, — сказал председатель Кравчук и помахал с назиданием корявым пальцем. — Уже и в политику вскочил. По самые, учитывай, яйца. Вождей затронул, сдурел что ли? Пионер Павлик Морозов наш человек, проверенный, зоркое колхозное око. Верим мы ему. Ни папки, ни мамки не пожалеет ради родной советской власти. Так я говорю, Павлик?

— Так точно, — бодро воскликнул, моргнув преданными ресницами, пионер.

— И Ниловна, старая революционерка, слово в слово подтверждает, — сказал председатель и потряс вырванным из тетрадки листочком бумаги. — Тут все про бидоны написано. И подпись ее, пожалуйста, из больницы. Главврачом заверенная.

— Не знаю я никакой Ниловны! — снова крикнул Мосеич натуженным голосом, которым поднимал бойцов в атаку.

— Ниловна — это мать наша всеобщая, читать надо, — наставительно произнес пионер Павлик. — За мировую революцию она и за общую справедливость.

— Короче, гражданин Худякин, — грозно сказал председатель. — Изобличили мы тебя. Признаешь вину свою?

— Никак нет,- стоял на своем Мосеич. — Ни в чем я не повинен.

— Тогда конец делу. Давай, Павлик.

— Всегда готов! — бодро воскликнул пионер, будто ждал этих слов.

Вытащил из заплечной сумки горн, пожевал губами и, приладив его ко рту, залиvisto и звонко заиграл «На линейку становись!». Все бывшие пионеры, а ныне члены правления, стояли, салютуя, с красными от блаженных слез глазами.

2.

Вскорости отлучили Игната Худякина от колхозного стада, а протокол правления передали в судебный орган. И напаяли ему восемь лет поселения в болотистом и диком Коми-пермяцком северном крае. Чтоб искупал вину свою за краденое молоко и антисоветские высказывания против вождей добычей для страны торфа. День за днем, по десять часов за смену, черпала бригада зэков жидкую муть из вонючего болота, заливала ее в формы и оставляла сушиться под холодным северным солнышком. Работали лагерники по колено в этой жиже, продуваемы были ветрами с дождем и снегом. В ноябре у Мосейча случилось воспаление легких, отправили его в медицинский пункт лагеря. Чтоб здоровье поправил и еще мог послужить державе, не все способности из него, видать, выкрутили. А когда по весне вышел, то шатался сумеречной тенью, до того слаб был. И решило начальство нарядчиком его определить. Выработку дневную в двух экземплярах записывай и каждую неделю в контору доставляй.

Шли, убывали месяцы, годы. И кормили сносно, и койку личную возле печурки за ним в бараке закрепили, но мучался горемыка: «За что?» Этот, скажем, жену ножом пырнул, тот магазин поджег. А я?

И Павлик этот Морозов являлся ему в беспокойных снах, дудел в горн над ухом. И председатель Кравчук, и всеобщая революционная мать Ниловна, которые упекли его на каторгу. Ежели бы знали в Кремле, что творится вокруг, как кабалют и притесняют простого человека!

Стал он втихоря на обороте своих рапортичных бланков письма писать. обстоятельно, как мог, левой рукой, конечно. И тайком отправлял их через помощника повара, друга своего, из бывших зэков, по адресу «Москва Кремль». Но никакого ответа от вождей не получал. Оно и понятно — все вожди заняты — загружены, света белого не видят, по ночам работают, им только с сержантом Худякиным переписку заводить. Написал и писателю Горькому Алексею Максимовичу, который, как оказалось, хорошо знал Ниловну, мать всеоб-

щую, его письменно на суде оговорившую. Но и писатель ничего Мосейчу не ответил, ибо давно уже, как оказалось, помер.

Решилось дело зэка Игната Худякина вроде как само собой, с переменной времен. Вдруг громыхнуло где-то высоко в небесах, сдвинулось что-то в жизни, и пришло решение выпустить всех безвинных страдальцев на волю вольную. Вернулся Мосейч к себе в родную деревеньку, с трудом свой дом отыскал. Стал перед ним, как вкопанный столб. И шапку скинул и рот разинул. И было отчего. Не хибара завалюшка, которую он покинул, стояла перед ним. А в два этажа сказочный домище, под красной новенькой черепицей, с причудливыми башенками и балкончиками. И все это чудо чудесное кирпичным забором с пиками по верху огорожено. «Вот те на!» — подумал удивленно и радостно Мосейч и двинулся к воротам отчего дома.

Как зашласть тут злющим лаем псина, за ней рыкнула, захлебнувшись злобой, другая. И обе, страшнющие, ставши во весь рост за решеткой ворот, завьли от невозможности перегрызть горло незнакомому оборванному человеку. На лай вышла на крыльцо женщина, гаркнула на псин и отогнала их от ворот. А когда сама приблизилась, узнал в ней Мосейч свою дорогую внучку Любашку. И, приглашенный ею, в хоромы потопал. Она в сорочке ночной с бантом красным на груди (видно только ото сна поднялась), лебедем белым плывет, а он, гусь лапчатый, в худых носках с голыми пятками за ней. Провела Любашка Мосейча по всем неисчислимым просторам своим, пальчиком указывает, гордясь, то налево, то направо. И мебель румынскую показала, и в спальне белую кровать египетской ручной работы. И всякие там пуфики, и картины художественные на стенах, и люстры хрустальные в каждой комнате.

— Видишь, дедуля, как я живу.

Пустил слезу Мосейч и от сердца сказал:

— Как царица, краше некуда.

— Точно, как царица,- хохотнула внучка Любашка. — А это, гляди, царь моей судьбы, Сергей Сергееч. Важный в районе человек. Все может сделать и ради меня делает.

Подвела Мосеича к цветному портрету, погладила пальцем с золотым колечком по суровой щеке Сергея Сергеича. И вдруг, на часики глянув, заверещала беспокойно:

— Ужас! Кошмар! Сейчас он приехать должен, Сергей Сергеич. А я... Затрепалась с тобой! Не приготовила себя, растяпа.

Мигом выметнула из шкафа красное с черными вставками платье, втиснула в него свои пышные формы, чулочки натянула, волосики взбила перед зеркалом.

— Прощаемся, дедуля. Извини, но никак не должен Сергей Сергеич тебя видеть. Кто ты, спросит, где был? Что мы в ответ, а?

Обидели деда ее слова.

— Культияпку покажу ему. Вот и поймет, где был.

— То давние дела, деда. А как узнает, что зэк ты бывший? Сядет в свою джипу черную и поминай как звали. Что мне тогда делать? Вся жизнь моя в тартарах полетит. Ты же добрый, дедушка. Понять меня должен. А я тебя не оставлю. Денежку тебе дам на первый момент, уголок или комнатку снимешь-сколько тебе одному нужно? Пенсию свою восстановишь, подрабатывать устроишься. И все хорошо будет. Да?

Дала Любаша ему денег, медали его фронтовые «За отвагу» и «За оборону Ленинграда», и фуфайку из чулана. Все сберегла, умничка девчонка — и тут второй раз пустил Мосеич незаметную слезу. Потеряли, значит, глаза его былую мужскую сдержанность.

Через пару часов добрался он до райцентра, отыскал военкомат, и документы свои барышне в окошечко просунул. Так, мол, и так, говорит, пенсию инвалидную надо мне снова выправить.

Помотала барышня белыми кудряшками.

— Нет, нет, Худякин. Статья у вас серьезная, за колхозное воровство. С ней разбираться надо. Ехайте в область.

— Сняли с меня статью, милая девушка, — толкует ей Мосеич. — Реа-били-ти-ровали, значит. Решить прошу мой вопрос.

А к нему уже через окошко документы возвращаются.

— Тут для вас, Худякин, адрес на бумажке. Улица Гагарина, кабинет номер шестнадцать. Не затеряйте. Идите, идите.

Что делать будешь? Перекочумарил он на станции, и утренним первым же поездом отправился в город. Отыскал и улицу Гагарина, и областной военкомат, и шестнадцатый кабинет. Прицепил в уголочке две медальки. Стоит в очереди, ждет. Перед самым перерывом ихним добрался до окошечка, и барышне, тоже с кудряшками, но рыженькими, документы передал.

— А паспорт? Живете где?

— Да я еще не живу, милая девушка. Как бы вчера только приехамши.

— Без прописки рассматривать ваше дело не будем. Понятно?

Окошко хлоп-хлоп, как бичом шелканула.

Вышел Мосеич на Гагаринскую широкую улицу, огнями пляшущими освещенную, шумную. Что делать? Гонят со всех сторон. А брюхо, между тем, живет своей жизнью — не унижается, урчит, марши играет. Ни корочки ведь, ни маковой росинки со вчерашнего дня во рту. Увидел кафе, «Зенит» называется. Музыка, люди веселятся. Подешевле бы да потише столовку сыскать, да город-то огромный, куда направление взять? Пересчитал Мосеич Любашкины денежки и решил, что на супик с котлеткой хватит. Набрал в грудь смелости и зашел решительным шагом в кафе «Зенит».

Не знал, не гадал он, как перемелется, переломится судьба его в этом «Зените». Едва с котлеткой он покончил, подливочку хлебушком загреб и компотом приготовился запить, как вдруг сел за его столик, не сел, а плюхнулся с размаху, незнакомый человек, исправно одетый, с галстучком и в синем пиджаке с золотыми пуговицами. Совсем нестеснительно глядит на него прямо в упор да еще улыбается.

— Вижу, не признал ты меня, Мосеич. А вот я тебя мигом в памяти восстановил. Кравчук я, помнишь? Егор Афанасьевич. Председатель колхоза нашего бывшего. Теперь свободный предприниматель, бизнесом занимаюсь. Рад тебя по-

встречать на перекрестке жизни. Давай, друг, по чарочке че- бурдыкнем, за жизнь потолкуем..

Дернулся Мосеич за торбой своей, чтобы прочь уйти, а Кравчук не пускает, удерживает на месте.

— Да не бойсь, солдат, я ставлю.

Щелчок пальцами сделал, и мигом графинчик беленькой явился, рыбка заливная, шашлычки. И пошел у них пир горой, а главное — разговорчики. Сначала Мосеич осторожни- чал, только «да», «нет» и молчок. А потом, когда вспомнил Кравчук, как они по нужде рядышком сидели, захохотали оба на весь «Зенит», чуть кишки не надорвали со смеху.

— Я ведь тебе втолковывал, чтоб ты признался, в грудь себя побил.

И делу конец, все шито-крыто. А ты накуралесил, Мосеич, себе во зло. Сколько лет отдал зазря, а?

— Шесть годков.

— Ах ты, боже ты мой. Повинюсь я, грешен перед тобой. Дело прошлое, чего таить? В том месяце у меня недостача была, семь бидонов. Безвыход полнейший, комиссия вот-вот наскочит. Ая ж партийный... И списать пришлось все на тебя. Каюсь, прости меня.

И руками извинительно развел.

— Я ведь в церковь хожу, Мосеич, вот видишь, — он сдвинул галстук и выставил крестик золотой в волосах на гру- ди. — Часовенку построил за свои кровные. А он все напоми- нает о тебе...

— Кто он?

— Господь наш, — сказал тихо Кравчук. — Никак скинуть грех мой не хочет. И днем и ночью теребит. Найди, говорит, безвинного этого и в ноги ему кинься.

Ничего не сказал ему Мосеич, тайно утер слезу, опрокинул снова рюмашку и поведал Кравчуку про свои злыдни. И про то, что жить ему негде, родная внучка, мол, на порог не пус- кает. И пенсии без прописки не дают, и работенки никакой не предвидится вроде.

Смеется Кравчук Егор Афанасьевич.

— Не проблемы это, Мосеич. Сделаем тебе и пенсию, и работу подыщем, и штамп в паспорте поставим. В мусорном домике у меня жить будешь, не пожалеешь. Как у Христа за пазухой.

— Что за мусорный дом такой? — всполошился Мосеич.

— Завтра поедем, покажу. Райская житуха. Считай, в самом Париже.

— В Париже? Шутите вы, Егор Афанасьевич.

— Шучу, а что? И тебе советую. Чтобы веселей жить, надо шутки шутить.

И оба они опять сотрясли смехом кафе «Зенит».

3.

С утра поехали смотреть мусорный домик.

Васютка, водитель, долго выпутывался из бесконечных городских улиц, стоял в пробках, ругался, гудел перед светофорами, пока, наконец, не вырулил на трассу. В открытые окошки ворвался, как из той песни знакомой, веселый ветер, пошли мелькать с обеих сторон вперемежку с лесами сады в белых яблоневых хлопьях, усадьбы и коттеджи, потом вообще все исчезло, уныло сменилось неоглядным, до горизонта, серым пустырем, огороженным высоким бетонным забором.

Вскоре тормознули. Рядом, неподалеку от ворот, диковинная, вросшая в землю халабуда, засыпанная буреломом и осенним ржавым листом.

— Вот тут, брат, и жить будешь, — сказал Кравчук, любовно, будто впервые, оглядывая домик. — Сам себе барин, сам себе слуга.

— Ни соседей, ни очереди в сортир, как у меня, — прищелкнул языком Васютка.

— С виду домик вроде бы замухрышистый, — продолжал Кравчук. — Да ты в середку погляди.

Он открыл замок, все трое, пригибая головы, втиснулись в крохотную комнатенку с кроватью и железной печуркой.

— Примечай, Копейкин. Срубик из рубленого бревна, все по-хозяйски. Шлаком для утепления обложен. Тепло, светло. Красотища!

— А зимой-то как? — робко высказался Мосеич.

— Струхнул уже, да? Эх, ты... Папанинцы, считай, год на льдине сидели. И ничего, жопы не отморозили, героями стали. Печурочка вот, финская, для чего здесь? Дровишки в лесу нарубишь и айда!.. А если еще полбанки первачка, чтоб кровь разогреть! В кальсонах ходить будешь, старый солдат, и песни распевать.

— А делать-то что, Егор Афанасьевич? В смысле, в чем занятие мое будет?

— Правильно мыслишь, Мосеич. Такие хоромы за красивые глазки не даются. Рядышком твоя работа, траваем ездить не надо.

Он открыл ворота, все трое зашли за бетонный забор.

— Вот, брат, мое заведение. По научному, полигон для твердых бытовых отходов. А по-нашему, по-простому, свалка. Или помойка. Полгорода сюда свое дерьмо везет. Камазы, МАЗы. И каждый шоферюга норовит поближе скинуть и драпу драть. Присматривать за ними надо. Документики проверить, накладные там, талон за уплату, место указать, где выгрузить, и отметку в бумагах сделать. Одним словом, ты тут часовой порядка, комендант полигона. Только вот хату никому открывать не рекомендую. Место гиблое, свалка, пустырь... Шляются тут всякие. Видения-привидения. Да ты не пужайся... Видеть их никто не видел, а языками треплют. До тебя тут артист один жил, чокнулся он маленько. А ты — солдат, хоть и с одной рукой. Тебе ли страх испытывать? Вот тебе авансик для начала. Лады? Все, я помчал. Вопросы есть?

Мосеич почесал лоб, спросил тихо и стеснительно:

— А где той... Париж, Афанасьич?

— Париж?

— Ну да. Про который вчера вы говорили?

— А!.. — загрохотал Кравчук. — Это и есть Париж. Где мы стоим. Видишь башню железную посреди полигона? Когда-то здесь линия электрическая проходила. Потом провода среза-

ли, как у нас водится, и во вторсырье сдали. А опора осталась. Говорят, в точности башня такая, как в Париже, что весь мир удивляет. Вот и прилепили моему полигону кликуху: Париж. А мне что? Я не против! Париж так Париж!

Остался Мосеич одиноким Робинзоном в мусорном домишке. Стал помаленьку обживать его. Сходил в деревеньку, ту, что поблизости, за оврагом. Хлебушка купил, колбаски ливерной, консервов в томате. И беленькой, конечно. Чтоб душу грела.

К вечеру все машины пропустит, все машины выпустит — и свободен. Иди в свою берложку. А там, за чаркой, и думы вползут в голову, как бывало под липой на лугу, когда буренок пас.

На полигон Мосеич старался ходить пореже — с утра уже там висело над горами мусора густое облако вони и смрада. До слез чуял его, хоть и обертывал и рот и нос старой тряпкой, а перед обходом наливал себе стакан беленькой и заедал ее для отвода помоечной вонищи зеленым лучком.

Однажды, под вечер, возвращаясь домой, зацепился он ногой то ли за крюк, то ли за балку какую-то и бабахнулся прямо в гниль смердящую лицом. Упирается локтем единственным, чтобы подняться и не может. Ногу какая-то чертовщина держит, не отпускает. Лежит, матерится, всех чертей поминает. Тут луна выбралась из туч, всю мусорку бледным мерцанием залила. «Так всю ночь в говне этом пролежишь. Да еще крысота загрызет»... — думает Мосеич. Вдруг слышит рядом с собой, вроде бы из навороченной мусорной кучи, чей-то голос:

— Здравствуйте, гражданин Худякин.

«Почудилось, что ли? — и страх прошиб старого солдата. — Вот она, бесовщина, о которой говорил Кравчук.

— Почему не здороваются? — укоряет его невидимый. Вроде слышал он где-то этот голос. Высокий, звонкий.

— А кто ты такой, милый человек? — сказал Мосеич. — Я здесь один спрашивать имею право, любого и каждого, как часовой порядка.

— Не вспомнили? — продолжает голос. — Свела нас жизненная судьба премного лет назад. Когда вы хищением молочных продуктов занимались.

Обомлел Мосеич. Пот холоднющий на лбу выступил.

— Морозов, что ли?

— Он самый

— Павлик?

— Павлик, Павлик. Только в гипсовом изваянии. Многие годы славные стоял я перед пионерским дворцом. Белый такой, красивый. Горн в руке. Пионеры клятву давали. А теперь...Бульдозером срыли и бросили, видишь, на помойку. Ты, между прочим, за мою ногу гипсовую зацепился. Отведу ее, тогда встать сможешь. Ты только сперва кучу разгребь, в которой я заживо погребен, а то дышать нечем.

Повернул Мосеич голову — и точно: топырится из груды мусора белая, подломанная в колене гипсовая нога. И его сапог кирзовый держит. Изогнулся он, разгреб с краю отбросы и рвань всякую. Нога чуть-чуть ворохнулась, а сапог не отпускает. Встать не дает. Еще сильнее к земле притискивает.

— И трубу мне сыщи,- слышит он голос Павлика. — Горн мой пионерский. Страсть как дудеть хочется.

— Кому дудеть? Окромя мусора тут никого поблизости.

— Дурья твоя башка, Мосеич. Все рядышком. Никуда не делись.

— Кто рядышком?

— Вожди наши. И каменные, и железные, и гипсовые наподобие меня. Всех сюда свезли. Обломали, уродами сделали. Пробудить их мечтаю. Моя пионерская задача на текущий момент.

Жуткий кошмар пронзил Мосеича. Понял: белочка косит, мозги выворачивает. Бежать, бежать надо, Худякин, а как? Держит гипсарь проклятый, не отпускает ногу.

— Ладно, Павлик, будь по-твоему, — как бы примирительно и не выдавая своего волнения, сказал Мосеич. — Только поблизости не видать твоей дудочки. Отползти дай, поищу окрест. Освободи.

Две-три минуты прошло, дрыгула гипсовая нога, освобо-
дился бедняга Мосеич. Видит, возле кучи рваных башмаков и
побитых бутылок лежит, действительно, в натуральном виде
инструмент Павлика — горн пионерский гипсовый в гипсовой
его же руке.

— Ну что, Мосеич? Нашел? — слышит он нетерпеливый
голос. — Чего молчишь?

Подошел Мосеич к трубе, помолчал, подумал и встал на
нее кирзовым сапогом. Сперва легонько, как бы пробуя ее кре-
пость. А потом со всей силы надавил, до хруста. И все.

Два дня с той ночи полигон не работал. А потом на воро-
тах появилось объявление, написанное старательно левой ру-
кой Игната Худякина:

«МЕНЯЮ ПАРИЖ НА ЛЮБОЙ ГОРОД ИЛИ СЕЛО.
СРОЧНО».

Две госпожи Квислинг
Любовно-политический роман

1.

До 23 октября она все еще надеялась. Молилась, не вставала с колен. Лишь бы живым остался. Отсидит двадцать, двадцать пять лет. Да хоть бы и пожизненный срок, одиночка до конца дней все равно не казнь. Не провал в черную бездонную пропасть. Одна, без него? Как?

Молилась горячим шепотом, но видела перед собой не Бога, а его, Видкуна.

Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли... Мы людие твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем...

Достоевского вот помиловали прямо на эшафоте. Читала когда-то, еще в России. Уже офицер рывкнул: «К заряду!» Уже и ружья вскинули. А те, несчастные, в погребальных саванах, ждут. Секунды, последние. И вдруг... Хорошее слово «*вдруг*». *Plutselig* — и в норвежском есть оно, ласковое, доброе — близкое к чуду. Отменяет все, что до него было, прямо с небес льет благо на грешную землю...

До последнего надо надеяться... Авось суд изменит приговор... Авось Его Величество король Хокон помилует и выдаст указ об амнистии... *Авось...* Но нет этого словечка в суровом языке каменных викингов. Ни жалоб, ни сострадания, ни мечтательной веры в чудо. Есть то, что есть.

В крепости Аскерсхус слабым рассветом сквозь дождливую осеннюю ночь проступает новый день. Последний. Крепость погружена в мрак и безмолвие. Прожектор следящим лучом выхватил сквозь косые струи дождя Голубую башню, скользнул по обросшим мохом крепостным стенам и затих в зарешеченных окошках тюрьмы.

В Аскерсхусе они провели тогда целый день. Один из первых после ее приезда в Осло. Видкун не дал ей даже отдохнуть после дороги, осмотреться в огромной квартире на Эккербергс-гате, где ей предстояло стать хозяйкой.

— На этой стене мы повесим панно с цветами и ангелами, а в спальне... Есть такая картина «Фея ночи», что-нибудь вроде этого...

— Мы привезли столько картин из России... У нас будет время подумать. Но не сейчас. Я хочу, чтобы ты начала знакомство с Осло в замке Аскерсхус. Ты теперь подданная Его Величества короля Хокона VII. А это бывшая резиденция наших королей. Поехали, дорогая, шофер уже нас ждет.

Замок возник внезапно, будто продолжение восставших из моря скал. Сторожевая каменная цитадель, призванная защитить город от врагов. Видкун вел Марию из зала в зал, от башни к башне. Рассказывая, он то и дело косился на нее — все ли понятно, не устала ли. Она понимала — он хочет наполнить ее русскую душу восхищением и гордостью за маленький северный народ, независимый и свободный. В полутемных залах сурово глядели на нее со стен короли и принцессы, вельможи и полководцы — они как бы спрашивали ее: «Какого рожна ты приперлась в наш благословенный край из своей нищей варварской страны?» И было неуютно, тревожно, особенно в замковой часовне, когда у ног ее оказались каменные саркофаги короля Сигурда, королевы Ефимии, кронпринцессы Марты — и о каждом она должна была выслушать нескончаемый скучный рассказ.

Она сослалась на головную боль и этим закончила экскурсию. Они вышли во внутренний дворик и направились к выходу.

— А это королевская тюрьма, — сказал Видкун, указывая на зарешеченные окошки низкого двухэтажного здания.

Она удивленно подняла брови: короли жили рядом с преступниками? Как это нелепо.

Видкун рассмеялся. Конечно, нет. Короли воздвигли себе прекрасный дворец, ты его увидишь, дорогая, а злодеев стали держать здесь. Я, между прочим, когда-то заходил в эти тюремные клетки, из любопытства. Средневековье, мрак. Тебя туда не приглашаю, берегу твои нервы.

Эти жалкие окошечки она помнит до сих пор, за одним из них, в смертной одиночке, сидит ее Видкун. Текут его последние минуты.

Он тоже молится, она слышит его голос. Бог один — у нее и у него. Только слова разные. *Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur Nomen Tuum...*

2.

Был легкий фуршет, тосты за победу, на палубе эсминца «Важный» громыхнул военный оркестр, офицеры в белой парадной форме и одетые по протоколу дипломаты, подхватив изысканно наряженных дам, устремились наверх. Первый послевоенный визит кораблей советского Тихоокеанского флота в китайский порт Циндао взбудоражил жизнь города. Настроение у всех было приподнятое, стюарды то и дело выносили шампанское с фруктами и канапе.

Александра уловила краем глаза мелькнувшие где-то вдали усики мужа. Он был поглощен разговором с вице-мэром города, дымил сигарой и увлеченно размахивал руками. Его собеседник время от времени наклонял голову с набриолиненным пробором, оба были увлечены деловым разговором. Поэтому, не опасаясь мужниного попрека, она выпила один за другим два фужера — для куража, заела шоколадкой, и теперь, веселая, вся в трепетном ожидании, стояла у правого борта корабля.

Утром она провела перед зеркалом не менее полутора часов. И не зря. Длинные, красиво изогнутые ресницы подчеркивали загадочность серо-голубых глаз, а легкомысленные белокурые завитки, неприхотливо спадающие на лоб, придавали ей вид свободной молодой женщины. Она чувствовала себя, конечно же, красивей всех вышедших на палубу дам. Многие из них уже кружились в вальсе. Перед глазами, как в калейдоскопе, мелькали красочные пятна, лица, руки. Александра, или Ася, как ее называли близкие, нарочно стояла не на виду, а за накрытой чехлом пушкой. С кем попадая танцевать не хотелось. Она знала, чувствовала, что пригласить ее

должен тот, кого она мысленно выбрала: командир эсминца «Важный».

Неожиданно около нее оказался, как впоследствии выяснилось, журналист местной китайской газеты — в руках его был свежий выпуск „Los Angeles Times“. Ася случайно, через его плечо, бросила взгляд на развернутую страницу. И тут же увидела фотографию, от которой трепыхнулось и сжалось сердце.

— Простите, можно на секундочку, — спросила она по-китайски.

Журналист улыбнулся и протянул ей газету.

Строки прыгали перед глазами, она с трудом читала:

КАЗНЬ ПРЕДАТЕЛЯ

Рейтер из Осло. Дождливой ночью 24 октября 1945 г. во внутреннем дворе старой крепости Аскерсхус по приговору Верховного суда был расстрелян изменник родины бывший глава фашистского правительства Норвегии Видкун Квислинг. Перед смертью Квислинг держался достойно и крикнул расстреливавшим его солдатам военной полиции: «Норвежцы, я невиновен!» Судебный медик зафиксировал, что из 11 выпущенных пуль бывшего диктатора поразили все, и он умер почти мгновенно.

Закружилась голова, Ася сползла на палубу. Она была без сознания. Газета выпала из ее рук.

Переполох, паника, оркестр замолк, лишь один тромбон надрывался еще некоторое время и никак не мог остановиться.

3.

Жорж был в ярости. Ася понимала его, сидела молча.

— Скандал! Грандиозный скандал! Rien n'est sur, que l'imprevu! Уж действительно, чего не ждешь, то и случится!

Усы его дергались и прыгали.

— Боже мой, жена почетного поверенного Франции напи-
лась, как, извини меня, последняя гризетка! А коль дойдет до
нашего МИДа? А газеты? Все, милая, на моей карьере можно
поставить крест. У вас, у русских, есть хорошая пословица:
«Пей да дело разумей».

— У нас? А месье Юрьев разве папуас?

Он улыбнулся.

— Я папуас, рожденный в Париже. В этом вся разница.

Ася почувствовала: шутка разрядила его запал.

Жорж присел на край дивана, накрыл ее руку своей ладо-
нью. Простил или притворяется?

— Скажи, милая, как это могло случиться?

— Ты думаешь, я помню, Жорж... Ты меня оставил. Люди
вокруг незнакомые, скучные. Вдруг увидела тебя в окружении
дам...

— Ерунда, я говорил с вице-мэром о капитальном ремонте
здания представительства. Хочешь сделать меня крайним?

— Не знаю, Жорж, не знаю, как это все случилось. Кто-то
подошел ко мне с фужером шампанского... Потом, кажется,
я выпила джина с тоником, еще что-то... не помню. В голове
завертелось, карусель какая-то. Ну и вышла на палубу, чтобы
освежиться.

Жорж посмотрел на нее остро и внимательно.

— И это все, что ты мне хотела рассказать?

— А что еще? Очнулась уже здесь...

— Послушай, Ася. Извини меня, но ты... ты нагло мне
врешь!

Он вскочил с кровати, подошел к секретеру и вынул из
ящика газету.

„Los Angeles Times“, она сразу узнала это злополучное из-
дание..

На первой странице было несколько фотографий — забастовщи-
ки, кинозвезда в своем розарии, советские эсминцы на
рейде. На фото справа Видкун. В серой шляпе с черной лен-
той, отекающее, нездоровое лицо. В окружении английских де-
сантников. Она снова смотрит на это фото. Хоть и старается,
но не может отвести глаз.

Жорж ткнул в лицо Видкуна своим тонким длинным пальцем, украшенным золотым с бирюзой перстнем.

— Не от него ли ты в обморок упала? Предателя стало жаль? Не молчи, Ася.

Ты его знала?

Она кивнула головой.

— Каким образом? Ты жила в Норвегии?

— Да.

— Очень интересно! И у вас были какие-то отношения? Ты сотрудничала с ним? Я спрашиваю сейчас не как твой муж, а как государственный чиновник. Если это станет известно в нашем МИДе, мне придется, по меньшей мере, писать объяснение.

Опираться было бесполезно. Она сказала как можно тише. Опустив голову.

— Я была его женой, Жорж. Дай мне, пожалуйста, сигаретку.

4.

Ларс предложил провести похороны ночью, ближе к рассвету. Мария согласилась — меньше посторонних глаз. В половине пятого утра он заехал за ней. Мара была уже готова. Надела шляпку, опустила на лицо вуаль. Поддерживая ее под руку, Ларс помог Маре сойти вниз, тихо, без шума, открыл дверцу старенького «опеля». На выезде из города их уже ждал катафалк. «Опель» поехал впереди.

Ехали молча, лицо Мары было по-прежнему закрыто вуалью. Не потому, что рядом сидел Ларс — это был свой человек, один из немногих, оставшихся с ней после ареста Видкуна. Но черная паутинка между ней и миром помогала уйти в себя. Не видеть ни приборной доски, ни руля с кожаными перчатками водителя, ни голых, ободранных осенним ветром деревьев за боковым окошком автомобиля.

Она думала о нем, гордом викинге, окончившем свою земную жизнь. Ведь можно было его спасти. За несколько дней до ареста, после самоубийства Гитлера, звонил его бельгийский

коллега Леон Дегрелль: «Я лечу в Испанию, Видкун, мои люди могут доставить тебя в нужное место. Ведь вздернут на веревочке, решай».

Дегрелль когда-то, в сорок втором году, приезжал к ним в Осло. Она помнит этот вечер на «Вилла Гранд». Уютно потрескивали сухие дрова в камине, отблески огня плясали на стенах зала, вырывая из полутьмы позолоченные рамы картин и старинные мечи в инкрустированных ножнах. Пили трофейный шотландский виски, дым сигар поднимался к горевшим вполнакала люстрам. Леон Дегрелль был на Восточном фронте в составе дивизии СС. Это был шумный, веселый и словоохотливый малый. Узнав, что Мара из России, Дегрелль разговорился:

— Русские — это великий народ, фру Мария. Когда мы пришли на эту землю, мы были уверены, что встретимся с марксистскими „унтерменшами“ азиатского типа и варварской культуры. Так нам внушала наша пропаганда. Не так ли, Видкун? Но очень скоро мы поняли, что это была ложь.

— Фюреру ваши слова не пришлись бы по вкусу, — осторожно заметил Видкун.

— Я говорил ему об этом, в лицо, и Гиммлеру. Убеждал их, что идея колонизации России опасная и ненужная иллюзия. Русские и украинцы — великие индоевропейские народы, мужественные, благородные и великодушные. Они должны войти в состав Рейха на равных основаниях. Как великий европейский народ. Фюрер затопал на меня ногами.

С ним была подлинная истерика.

— Представляю себе, — улыбнулся Видкун. — Ведь это идет вразрез с его расовой теорией...

— И он простил вам? — робко встала Мара.

— Я же его любимчик, — сложив губки бантиком, сказал Дегрелль. — Однажды в присутствии всей своей своры он сказал: «Если бы у меня был сын, я хотел бы, чтобы он был похож на Леона Дегрелля». А это, знаете ли, выше, чем Рыцарский крест Железного креста, который я еще не добыл на Восточном фронте.

И он раскатисто захохотал.

Теперь уже не добудет, подумала Мара, вспомнив его слова.

Конечно, Видкун должен был использовать этот шанс.

— Ни за что! Я не трус, как этот шут. Умру на своей земле, — сказал он после звонка Дегрелля.

Она посмотрела на него умоляющими глазами.

— Нет, нет, Мара, я не могу отказаться от себя.

На последнем свидании в тюрьме Аскерсхус, это было уже в сентябре, она сказала:

— Закончился процесс над маршалом Петеном. Его признали виновным в государственной измене и приговорили к расстрелу. (Как тяжело ей было произносить это слово — *расстрел*). И вот вчера я слышала по радио, что де Голль заменил казнь пожизненным заключением. Если бы ты обратился к королю...

— Никогда! — чуть ли не криком отрубил Видкун. — Король бросил свой народ и смылся в Лондон. Он предатель, а не я!

Свидание закончилось. Он поцеловал ее, погладил по голове.

— Ты еще будешь гордиться мной. Прощай.

Больше она его не видела.

Ларс сбросил скорость, свернул с шоссе и поехал вдоль небольшого леска.

— Мы в Шиене, — сказал он.

Впереди показалась кирпичная ограда кладбища. Они остановились, подождали катафалк. Сторож, с которым было договорено, открыл ворота. Поднял над головой фонарь со свечой, пошел впереди. Четверо в черном понесли тяжелый черный гроб за ним, к месту последнего упокоения.

5.

С Жоржем Юрьевым Ася познакомилась в Шанхае. В маленьком кафе на набережной Вайтань они оказались за соседними столиками. Сразу же заметили друг друга среди жующих и пьющих, шумных и развязных. Гладко выбритый, с кра-

сиво уложенными светлыми волосами и тонкими усиками, этот немолодой уже мужчина обращал на себя внимание аристократической осанкой, легко и изысканно орудовал ножом и вилок, улыбка его, по временам обращенная к Асе, была открытой, располагала к себе.

Ему тоже понравилась эта миловидная светлоглазая женщина, кокетливый белокурый локон на лбу, чувственные, выдающие страстность натуры, ярко накрашенные губы. Он попросил разрешения и присел за ее столик. Обоих обрадовало то, что они могут общаться по-русски.

Но говорили не о России — Жорж там никогда не бывал. Вспоминали Францию, Париж, Жорж родился и вырос в этом великом городе, Асе довелось жить там несколько лет.

— В пансионе на бульваре Распай, — уточнила она. — Знаете?

Он рассмеялся.

— Мадам, назовите мне уголок в этом городе, где я не был бы. Но Париж — это не мосты, дворцы и парки. Для туристов, бегающих с блокнотиками и фотоаппаратами — возможно. Но для людей с возвышенной душой — а я, извините, причисляю себя к этому благородному племени! — Париж это прежде всего город любви. Зло, ненависть, зависть как-то сами собой растворяются в нем, как капля нефти в океане.

Ася мило улыбалась, у каждого свой Париж. В ее памяти было другое — и слезы, и попытка суицида, когда Видкун, ее муж, предал ее, ушел к другой женщине, а это случилось именно в Париже. Одна, без денег, без друзей. Считала каждый сантиметр, подбирала на уличных рынках остатки полуспривших бананов. Конечно, не следует говорить об этом ее новому знакомому, он существовал в другом мире, заоблачном. Зачем ему знать о ее прошлом?

На вопросы Жоржа она отвечала нехотя, осторожно. Да, жила в Париже, о Видкуне ни слова. Вышла замуж за доктора Рябина, потом переехали с ним в Китай. Три года счастья, у мужа была большая практика. И вдруг... Представьте себе, Жорж... Он возвращается от пациента. Темный переулок... Подошли двое. «Доллары! Гони доллары!» А он был сильный

мужик. Сбил одного, а второй...Второй пырнул его ножом... под сердце.

Через неделю Жорж перевез Асю в Циндао, где он работал почетным поверенным Франции. Он не был профессиональным дипломатом. Закончил до войны архитектурную школу Ля-Вилетт, несколько лет занимался проектированием промышленных зданий. Потом все осточертело — сплошь типовые проекты, однообразие. Увлёкся восточной философией — буддизм, даосизм. Влиятельный дядюшка, ну очень влиятельный (фамилию Жорж не называл) устроил его на дипломатическую работу в Китае.

Жорж был человеком легким, доверчивым, в душу не лез. Прошлое парижской жизни осталось при ней. «Чем меньше о тебе знают, тем крепче ты спишь» — так всегда говорила мама. А это значило: не болтай лишнего, люди злы и коварны. Хуже зверей в лесу.

Мама всего боялась, особенно соседей. Когда они жили в Ялте, их защищал от людского любопытства высокий глинобитный забор, окружавший их небольшой, украшенный ракушками и увитый глицинией домик. И все же благодаря сглазу, уверена была мама, из пяти младенцев в живых осталась только одна Ася.

Доставалось, правда, и отцу: медик, казалось бы, а не мог показать ее профессору, заняться ее патологией серьезно. На все ему наплевать, кроме дружеских попок в «Ореанде» и развеселых красавиц. А Ялта, напоенная солнцем и морем, в любое время года была полна ими, слетавшимися сюда из обеих российских столиц в поисках скоротечных и ошеломительных романов.

Ирина Теодоровна, мама, решила увезти семью из этого «гнезда разврата».

— Надо подумать об асином будущем, — говорила она мужу. — Девочке нужно учиться. А в Ялте можно только валяться на пляже и грызть миндаль.

— Здесь, что ли, нет гимназии? — слабо сопротивлялся отец. Он был ленив, податлив, привык плыть по течению.

Но мать не унималась.

— Ты ведь знаешь, Александр, что зимой Ялта пустеет, и у тебя совсем нет пациентов. А значит и денег. Надо ехать в большой город.

В конце концов продали милый ялтинский домик и переехали в Харьков, город студенческой юности отца. С устройством помог дальний родственник Ирины Теодоровны, харьковский губернатор камергер Митрофан Кириллович Катеринич. В молодости он был лихим гусаром, о чем напоминали пышные, торчащие в обе стороны огромные усы. Даже на фотографии, стоящей на комод, они устрашали Асю своим грозным видом.

Но камергерские усы сделали свое дело, семья доктора Воронина обосновалась в центре большого города, на Садово-Куликовской. Отец получил место в клинике для состоятельных пациентов. Раз в неделю он принимал неимущих. Александру взяли в частную женскую гимназию г-жи Драшковой на Сумской улице.

На первых порах, это было лето, ее поселили в самой гимназии — новая квартира еще не была готова. Она чувствовала себя одинокой, никому не нужной. В помещениях стоял густой едкий запах прелой травы, пыли и невидимых мышей. Это был запах одиночества, запомнившийся ей на всю жизнь.

Как-то раз, когда Асе совсем нечем было заняться, она решила пойти на кухню: „Быть может, кухарки и прислуга играют в карты — хоть не буду одна!“ Она тихонько вошла и тут же, на пороге, оторопела. В центре комнаты, на столе, лежала молоденькая служанка. Ее веселенькое зеленое платье с красными цветочками было задрано до самого живота, волосы распущены. Служанка постарше в сине-белом сарафане и тоже простоволосая, с ножом в руке склонилась над лежащей.

В памяти мелькнула где-то виденная картина: Авраам заносит нож над обнаженным Исааком. „Жертвоприношение!“ — подумала она, онемев от ужаса. Нет, нет, это абсурд. Служанка, наверное, заболела, и ей оказывают помощь. Но тогда отчего же она не плачет? Напротив, глупо хихикает, пока ее подруга что-то делает рукояткой ножа.

— Эй, что вы делаете? — вскричала Ася.

— Ничего страшного, — произнесла старшая служанка спокойно и в то же время с непонятной дерзостью. — Нам было нечем заняться, и вот решили пощекотать друг друга... Это очень приятно, хотите попробовать, барышня?

Ася выбежала из кухни, бросилась в свою кровать и проревела под одеялом до рассвета. Ничего не поняв, она чувствовала, что прикоснулась к чему-то мерзкому, липкому и грязному. Ни слова не сказав родителям, она попросила маму немедленно забрать ее домой. Сколько раз потом она будет вспоминать эту первую встречу с неведомым тогда еще миром.

На стене в отделанной квартире Александра заметила небольшой акварельный портрет худощавого старика с глубоко запавшими щеками, острым пронизательным взглядом и насмешливо изогнутыми губами.

— Где ты такого уroda откопала? — поинтересовалась она у мамы.

— Помолчи, глупышка. Это наш знаменитый предок Август фон Коцебу.

— Коцебу! Ну и фамилия! — прыснула со смеху Ася.

— Он немец, писатель и драматург. Долгое время жил в России. Был в почете при императорском дворе. Между прочим, и моя девичья фамилия Коцебу. Ты должна гордиться этим.

— Так мы что, тоже немцы? Коцебяки! Ох, умора!

Ирина Теодоровна занималась с Асей немецким, из Германии нередко приходили посылки и письма. Но все это закончилось в июле 1914 года — началась первая мировая война, немцы и русские стали врагами.

Все мигом стало другим. Была объявлена всеобщая мобилизация. Молодые мужчины надевали шинели и уходили на фронт. В семье с тревогой обсуждались газетные новости. Император поклялся на Евангелии и святой иконе, что не подымет мира, пока хоть один германец останется на русской земле... Дворцовую площадь заполнили тысячи людей. Встав на колени перед императором, появившимся на балконе, они

пели гимн „Боже, царя храни“... Санкт-Петербург переименовали в Петроград, и это вызвало новый взрыв патриотизма.

Между тем на Восточном фронте наступление 2-й русской армии захлебнулось, большая часть ее попала в плен. Во всем винили командующего другой армией Ренненкампфа, который не пришел на выручку соседям. «Немец, он против своих не пойдет» — открыто говорили люди. Ненависть к иностранцам, особенно немцам, выплескивалась на улицы. В Петрограде демонстранты разгромили германское посольство. Горели подожжённые толпой здания немецких фирм... В Харькове немцы тоже чувствовали себя неуютно. Толпы хулиганов разбили окна немецкой кондитерской, забросали камнями пивную.

В начале зимы в Харьков стали поступать поезда с ранеными. Следуя примеру императрицы Александры и четырех Великих княжон, Ирина Теодоровна и ее подруги отправились на курсы медсестер и стали добровольно работать в госпиталях. Это был тяжелый труд. Ася тоже после занятий ходила в госпиталь щипать корпию, читала вслух раненым и составляла под их диктовку письма родным.

Акварельный портретик знаменитого немецкого предка давно исчез со стены.

— Никому не говори про него, — строго наказала мама. — Иначе у нас могут быть большие неприятности. Помни: наша жизнь зависит от твоей осторожности. И занятия немецким мы на время прекращаем.

Сейчас, в Циндао, просматривая свой архив, Ася вспомнила об этом. Вечно ей приходится что-то скрывать, стыдиться своего прошлого, изворачиваться и лгать. Но Жорж был прав — никаких фотографий и писем казненного Видкуна в их доме не должно быть.

Приехав на обед, Жорж с удовлетворением увидел небольшую кучку обрывков фото и каких-то бумажек. Результат утренней чистки.

— А то, что осталось в Норвегии? Твое имя может всплыть и там. В архиве этого фашистского ублюдка наверняка есть какие-то следы.

Ася пожала плечами.
— Возможно. Я напишу Марии.
— А адрес? Ты знаешь?
— Я ведь там жила, Жорж. Квартиру на Эккербергс-гате он ведь купил для меня.

6.

Военные грузовики вывозили обстановку загородного дома расстрелянного Видкуна Квислинга. Решением Верховного суда «Вилла Гранд» была конфискована. Безучастные молчаливые парни в рабочей спецодежде снимали со стен картины, бережно укладывали их в деревянные ящики. Портреты голландских мастеров, пейзажи барбизонцев, снятые со стен равнодушными руками, оставляли после себя на обоях печальные прямоугольные тени. В облицовке печей и каминов зияли черные дыры — там были плитки и изразцы с вензелем Видкуна «VQ». Их выворачивали и тут же разбивали..

Серебро и хрусталь, ковры и книги, упакованные в кофры и большие брезентовые мешки, грузились на «студебеккеры» и увозились неизвестно куда. Хорошо, если в музеи и библиотеки, думала Мария. Видкун был бы рад, ведь он так дорожил всем этим, особенно бережно собранной исторической и религиозной литературой на разных языках. Неизвестно кому достанется коллекция холодного оружия из «зала викингов» и бронированный «мерседес» — подарок Гитлера. А впрочем, какая разница: снявши голову, по волосам не плачут.

За несколько дней жилое гнездо, с такой любовью обустроенное ими, обратилось в прах. По словам Ларса, от всего великолепия, которое окружало их теплом и уютom добрые полтора десятка лет, остались лишь голые стены, в которых голоса звучали гулко, как в холодном и разграбленном храме. На фото в газете она видела грузовики, стоявшие под погрузкой у их трехэтажного с зеленой башенкой особняка. Чужого теперь, окруженного чужими людьми. Это было невыносимо, казалось, не «Виллу Гранд», а всю ее, Мару, вывернули наизнанку, выпотрошили вместе с внутренностями и остатками

души. Лишь бронзовый рыцарь-флюгер с копьём наперевес продолжал свою обычную жизнь на крыше зеленой башенки этого мертвого дома.

В один из дней посыльный принес чемодан с вещами Видкуна. «Примите по описи, фру Квислинг. Пересчитайте». Она махнула рукой и расписалась. В чемодане были серый макинтош, в нем он уехал 8 мая 1945 года, в последний раз, в свою резиденцию Гимпле. Под макинтошем лежали френч полувоенного образца с портупеей, черные штатские брюки, черный гладкий галстук с перламутровым зажимом и ботинки без шнурков. Высокая фетровая шляпа с черной лентой была упакована отдельно, в круглой коробке. Там же лежала старинная, в потертом кожаном переплете «Библия» и папка с бумагами, исписанными четким крупным почерком Видкуна. На каждом листе стоял чернильный штамп: «Проверено».

Она разложила вещи на диване, на креслах. Сидела и плакала. Это был последний вздох оборванной жизни. Больше ничего из огромного мира не проникнет сквозь эти стены. Так она решила. Это цитадель, где будут только двое — Видкун и она.

7.

Написать письмо в Осло было мучительно трудно. Александра зачеркивала, несколько раз переделывала, наконец, переписала набело. Показала Жоржу. Он читал внимательно, хмуря лоб и дымя сигарой.

— Дипломат из тебя не вышел бы, — сказал он. — Где твое соболезнавание?

— Не могу, Жорж... Ни один человек не принес мне столько горя, как она...

— Ты хотела быть сейчас на ее месте?

Она рассмеялась:

— О нет, что ты...

— Тогда благодари Бога и свою разлучницу. Пара сочувственных слов расположит ее в твою пользу.

— А если письмо попадет в чужие руки? Сочувствие может быть понято как солидарность.

— Конспирацию оставь мне. Письмо подпишет другой человек, твое имя открыто не будет упомянуто.

Он взял авторучку, кое-что исправил, дописал впереди несколько слов и передал Асе.

— Перепечатай и дай мне.

С Марией Пасечниковой они познакомились перед самой революцией, в июне 1917 года. Ее мать, Глаша, приходила к Ворониным стирать белье, убирать квартиру.

Изможденные руки с натруженными узловатыми венами, сновавшие в мыльной пене, в течение нескольких дней перестирывали груды еще не грязного белья — отцовские сорочки и кальсоны, мамино кружевное нижнее белье, асины блузки и платья. Два раза в день кухарка на кухне кормила Глашу завтраком и сытным обедом — из того, что оставалось и уже начинало портиться.

Глаша Пасечникова жила на окраине, далеко от центра города, без мужа, с дочерью, снимая две комнаты в маленьком домишке на Холодной горе. Это был стихийно возникший трущобный поселок вблизи сортировочной станции. Холодной горой его прозвали за то, что тут всегда дул пронизывающий ледяной ветер. Там обитали воры, пьяницы и всякие отбросы общества.

Четырехкомнатная докторская квартира вызывала жгучую зависть приходящей домработницы. Вначале она ее скрывала и только по косым взглядам на новые туфельки, в которых щеголяла Ася, или на грудку апельсин в хрустальной вазе, можно было понять, что должна испытывать эта замученная жизнью женщина.

Однажды, когда Ирина Теодоровна заметила на выстиранной скатерти оставшиеся пятна от соуса и сделала ей замечание, Глаша просто взвилась:

— Вам никак не угодишь, барыня! А то вы не знаете, какое мыло сейчас выпускают? Форменное, извините, говно. Трешь, трешь — никакой пены, а руки вот, до крови истрескались.

...И она потрясла изъеденными от стирки пальцами перед глазами Ирины Теодоровны.

— Говорят, все лучшее на фронт шлют. Брехня! Воруют и наживаются ироды.

— Успокойтесь, Глаша. Я вам принесу из госпиталя чудный крем. Несколько дней, поверьте, и все пройдет.

— На кой ляд мне ваш крем, барыня! Лучше денежек добавьте. Цены сумасшедшие стали. Буханка хлеба в два раза дороже, сахар — лучше не подходит. А у меня дочь, между прочим. Я себе чай морковный с сухариком поплюю и сыта. А ей и сметанки, и мяса требуется.

— Хорошо, Глаша, я поговорю с мужем и мы, я думаю, сможем повисить вам содержание. Хотя, учтите, всем трудно, не только вам.

Однажды Глаша пришла с дочкой. Так Ася впервые увидела Марию Пасечникову. Она была старше Аси, молчаливая, рослая, с задумчивыми темными глазами. На девушке был простой ситцевый, в застиранных цветах, сарафанчик, из которого она давно уже выросла. Ася, проходя мимо кухни, восхищенно смотрела, как Мария ловко и споро управлялась с тяжелым чутунным утюгом. Молодец девчонка, не то, что она!

После обеда Ася пригласила девушку в детскую, показала свои книги, рисунки. Оказалось, что Мария ничего, кроме сказок, не читала. Ася сперва хотела дать ей что-нибудь из романов Дюма, которыми она зачитывалась, но потом подумала: начинать надо с более простого чтива. Предложила Маре «Записки маленькой гимназистки» Лидии Чарской. И с нетерпением ждала следующего прихода девушки, чтобы услышать об ее впечатлении.

— Белиберда, — сказала Мария, скривив тонкие злые губы. — На каждой странице розовые сопли. Такая уж эта Леночка расчудесная! Ах, пожалейте бедную сиротку! Ах, какой добренький дядя-генерал, который ей помогает. Так в жизни не бывает. Вранье все это. Я этой Чарской порассказала бы, как живут сироты. Тебе этого не понять, ты богатенькая и у тебя мамка с папкой... Полный комплект...

Ну как накаркала эта девчонка! Через несколько дней исчез доктор Александр Воронин, асин отец. Не пришел с работы вечером, не появился утром. Ни в клубе, ни у знакомых его не было. Звонили в морги и больницы — отовсюду отрицательные ответы.

Неожиданный удар свалил мать, она пила сердечные капли, не вставала с дивана.

Через пару недель пришло письмо из Ялты. Приятельница Ирины Теодоровны будто бы видела Александра в одном из ресторанов Севастополя..

Они плакали, обнявшись, Ася и мама. Преданы самым близким человеком. Тайком сбежал мужчина, оставив их двоих, беспомощных, на произвол судьбы. С тех пор предательство и вероломство Ася никому не могла простить.

Семейное горе совпало с общей смутой в стране. Все чувствовали: надвигается беда. Солдаты бросали фронт, самовольно разъезжались по домам. На улицах, в трамваях открыто говорили о революции, и в октябре она произошла. Мир перевернулся. Толпы людей с красными бантами заполонили город. Всеобщая амнистия: на свободу вышли политзаключенные и уголовники, на улицах они братались с матросами и солдатами-дезертирами. Убийства и грабежи стали обычным делом, обыватели опасались выходить из дома даже средь бела дня.

Харьков был объявлен столицей Украины вместо Киева, оказавшегося слишком близко к границе. В городе никто не работал, все митинговали, кричали, угрожали. На красных полотнищах было написано «Вся власть Советам». Хлеб и крупу стали выдавать по карточкам. Состоятельные граждане, опасаясь комиссарского террора, старались бежать — кто в деревню, кто за границу.

Ирина Теодоровна решила прорываться на юг, в Крым. Там было тепло, легче с продуктами. Кроме того, оттуда можно было пароходом уплыть в Румынию или Турцию, а затем во Францию — там в Ницце жила мамина двоюродная сестра.

Ася была против, капризничала, она привыкла к Харькову. Но мама уредила ее, что в Крыму они смогут разыскать папу, и Ася согласилась.

Заперли квартиру на все замки и в сопровождении дюжего санитара Тимофея извозчик повез их на Южный вокзал. И зал ожидания, и привокзальная площадь были полны народом. Поезда брали штурмом, вещи поверх голов, через двери и окна, вбрасывались в вагоны.

С помощью Тимофея им удалось отвоевать два боковых места возле туалета. Вагон был переполнен. Ближе всех к ним сидели невесть откуда взявшиеся морячки с шальными глазами и крикливые бабы — мешочницы. Едва поезд тронулся, на столике у морячков появилась четверть самогона, шмат сала и краюха ситника. Начался разудалый русский дорожный пир. С гармошкой, пьяной руготней и удушающим махорочным смрадом.

Ася стала задыхаться, кашлять. Ирина Теодоровна прикладывала к ее губам влажный розовый платочек. Пьяненький братишка с пшеничным чубом из-под бескозырки, заметив их, протиснулся поближе.

— А куды ето барышня едут? — качнулся он над Асей, тяжело дыша перегаром.

— Проходите, молодой человек, девочка себя плохо чувствует, — попросила Ирина Теодоровна.

— Не молодой человек, а товарищ балтийский матрос, — рявкнул тот. — Потеснитесь, подвиньтесь, барышня, а то на коленки вам сяду.

— Товарищ матрос, проходите, пожалуйста, — взмолилась мама. — Она ведь совсем маленькая, девяти еще нет.

Тут до Аси дошло, почему перед отъездом мама заплела ей бант, который она уже несколько лет не носила, а волосы челочкой выпустила на лоб.

— Мама, да что я, маленькая? — возмутилась Ася.

— С маленькой будет меньше проблем, — загадочно сказала Ирина Теодоровна.

Морячка удалось утихомирить, он отковылял к своим.

Под стук колес и хриплый рев песен к утру добрались до Севастополя.

9.

Разборка бумаг, оставшихся от Видкуна Квислинга, помогала Маре забыться. Выписки из книг, черновики его статей, письма она терпеливо распределяла по темам, каждый документ нумеровала, заносила его в толстую бухгалтерскую книгу. Работа шла медленно, норвежский язык она все же освоила слабо. Да и почерк Видкуна, неровный, с прыгающими строчками и неоконченными зачастую словами доставлял ей немало хлопот при расшифровке. Но Мара не торопилась, это была святая миссия, которую она сама возложила на себя. Главное дело ее жизни.

Помимо бухгалтерской книги она завела несколько папок в цветных коленкоровых переплетах. В них хранились сами документы, и то, что сохранилось в ее памяти: их встречи, поездки, разговоры у камина долгими осенними вечерами. Обрывки прерванной жизни.

В *зеленой папке* — его биография: детские годы, учеба, служба в армии. *Коричневая* — помощь голодающим в Советской России. Самая объемистая *синяя папка* — война, политическая карьера, суд и казнь. Ничего не утаивать, все должны знать потомки, от первого до последнего дня.

Копаясь в бумагах, она гнала от себя этот последний день. Одиннадцать солдат смотрят в лицо стоящего перед ними пожилого уставшего человека, взявшего на себя ответственность за судьбу страны. «Целься!» — командует офицер. И все одиннадцать винтовок махом вскидываются к плечу. Прищурив глаз, солдаты смотрят в прорезь прицела. Беспощадно, равнодушно... «Огонь!» — и падает ее Видкун, ее муж, Великий викинг, не понятый, как Христос, тупыми бесчувственными людьми. Все одиннадцать пуль впились в него — раздробили сердце, печень, лицо, колено. А ведь можно было промахнуться — хотя бы одному, никто бы не определил, кто именно по-

жалел его. Ей было бы легче. Невыносимо сознавать: все одиннадцатый, весь народ расстрелял своего вождя.

10.

Крым вовсе не был тем раем, на который рассчитывала Ирина Теодоровна. Огромный котел, который вот-вот грозил взорваться. Белые и красные, французы и англичане, Деникин и Врангель — все перемешалось в головах обывателей. Кому верить, за кого идти на смерть? Или, скорее, как выжить?

. Беженцы из Москвы и Петрограда, заполнившие Крым, были охвачены паникой из-за быстрого отступления Белой армии. Вооруженные банды налетчиков грабили и без того опустевшие лавки. По слухам, в Симферополе грабежами занимались выпущенные из тюрьмы заключенные, в Алуште и Ялте вооруженные банды разгромили винные погреба, в Севастополе — склады американского Красного Креста.

Едва спускались сумерки, ожесточенное эхо перестрелок доносилось из отдаленных кварталов города. Искать в этом хаосе пропавшего Александра Воронина было бессмысленно. Но мать и дочь обошли все больницы и госпитали Ялты и Севастополя, высматривали его вблизи ресторанов и питейных заведений, ходили, невзирая на опасность, по темным безлюдным улицам. Никаких следов доктора Воронина обнаружить не удалось.

Прежде изящная и элегантная, Ирина Теодоровна выглядела неряшливо и убого.

— Мама, давай выменяем на барахолке какое-нибудь приличное платье для тебя или блузку, — говорила Ася.

Но Ирина Теодоровна только отмахивалась:

— Чем хуже мы будем выглядеть, тем лучше.

В ноябре 1919 года началась эвакуация остатков армии Врангеля. Каждый день из Севастополя уходили пароходы с военными и беженцами. Люди платили огромные деньги за возможность бежать хоть на рыбацких лодках, хоть на плотках.

Получить проездной литер на корабль было невероятно трудно. Наконец, маме удалось раздобыть записку к помощ-

нику коменданта пристани. Пробиться к нему в конторку, окруженную разъяренной толпой, удалось только на следующий день.

С раннего утра по улицам Севастополя начинали передвигаться в сторону порта повозки и группы людей. Отъезжающие и провожающие. Шли медленно, мертвым тяжелым шагом. Последний раз по родной земле, траурный, без музыки, исход. Будто нескончаемая похоронная процессия. Повозки подвозили раненых, их относили на борт в первую очередь.

Ирина Теодоровна, не выпуская асиной руки, пробилась к конторке помощника коменданта и сунула ему записку.

— Вдвоем? — спросил он, глядя на Асю.

Мама кивнула.

— Без мужчин?

— Да.

Помощник покачал головой, в отрешенных замученных глазах проснулась жалость.

— Вы читали, мадам, последнее обращение правительства? Нет? Возьмите эту листовку, ознакомьтесь, а потом подойдете ко мне. Если будет надобность.

Мама и Ася отошли в сторонку, начали читать:

«Правительство Юга России считает своим долгом предупредить всех о тех тяжелых испытаниях, какие ожидают отъезжающих из пределов России. Недостаток топлива приведет к большой скученности на пароходах, причем неизбежно длительное пребывание на рейде и в море. Кроме того совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных. Правительство Юга России не имеет никаких средств для оказания какой-либо помощи как в пути, так и в дальнейшем. Все это заставляет правительство советовать всем тем, кому не угрожает непосредственная опасность от насилия врага — остаться в Крыму».

Мать и дочь молча посмотрели друг на друга.

— Отдай ему, мама, мы не поедем, — сказала Ася серьезно, сжав губы, и Ирина Теодоровна то ли с радостью, то ли

с грустью почувствовала, что рядом с ней не ребенок, а взрослая разумная женщина.

Она спрятала листовку в сумочку — на всякий случай, все-таки какое-то оправдание, почему остались. Этот листок на желтой селечной бумаге не затерялся в бумагах и письмах, сопровождал Асю в ее скитаниях.

Выйдя из конторы коменданта, они попали в толпу, провожающую очередной отплывающий корабль. На набережной, как на кладбище, стояла зловещая тишина. Ни музыки, ни цветов. Люди еле сдерживали рыдания. («Боже, на кого вы нас покидаете?!»). Стоявшие на борту не махали, как обычно, руками. Печальными глазами они смотрели в последний раз на родную землю. Прощай, Родина! Прощай, Россия!

Через неделю мать и дочь Воронины возвратились в Харьков. Город, неоднократно переходивший из рук в руки, теперь был под контролем красных. Четырехкомнатная квартира на Садово-Куликовской была взломана и разграблена, комнаты конфискованы. Медную табличку «Докторь Воронинъ» вырвали вместе с куском обивки. Квартира, как и большинство жилищ буржуазии, превратилась в коммуналку.

В их прежней гостиной и смежной с ней комнате обосновалась Софа, певичка из мюзик-холла, которой покровительствовал какой-то комиссар. Она же присвоила себе и воронинский рояль „Schröder“. Бывшую спальню занял чахоточный слесарь с семьей. Прежним хозяевам оставили только комнату няни, куда были свалены остатки их мебели и вещей.

11.

Однажды, вернувшись вечером домой, Александра не застала там ни матери, ни мебели, ни вещей.

Из гостиной, дыша дорогими парфумами, выплыла кабаре-дива Софа в шелковом китайском халате с драконами и ткнула под нос Асе какую-то бумагу.

— Ваша комната теперь моя. Вот ордерочек, милое дитя.

— Я вам не милое дитя, — сорвалась Ася. — У вас же есть комната, бывшая наша, а где нам теперь жить? На улице? И это вы называете справедливостью?

— Поговори-ка мне еще, контра недобитая, — грозно сдвинула брови певица, драконы на ее плечах угрожающе зашевелились. — Пошла вон, я из-за тебя на концерт опаздываю. Между прочим, для красной милиции.

Соседи во дворе рассказали Асе, что днем заявили вооруженные солдаты, арестовали мать и увезли ее вместе с жалкими пожитками на грузовике неизвестно куда.

Бывший дворник, ныне председатель домкома, по секрету сказал:

— В чеку повезли, на Чайковскую. Ступай туда.

Мать, действительно, числилась в списках «задержанных по подозрению».

Асе удалось пробиться к дежурному комиссару. Им оказалась миловидная курносенькая женщина в черном суконном бушлате и мужской фуражке.

— Какой у тебя вопрос? — спросила она Асю и глаза ее приветливо засветились. Она еще не научилась улыбаться.

Выслушав девочку, комиссарша позвонила куда-то по телефону и сказала Асе:

— Все нормально, детка. Можешь забирать свою мамашку и возвращаться домой.

Ирина Теодоровна, беспомощная и поникшая, сидела на узлах с вещами в дальнем углу громадного зала. Сквозь окна с выбитыми стеклами в помещение падал желтый свет умирающего дня. Стены были покрыты изморозью.

Мама, увидев ее, не могла сдержать слез.

— Мой маленький боец, — сказала она, обнимая дочь. Впервые в жизни шестнадцатилетняя Ася почувствовала ответственность за себя и за маму. Детство кончилось.

Страшной голодной зиме, казалось, не было конца. Бездомные, голодные замерзали на улице, люди проходили мимо них, не останавливаясь. Мама меняла на барахолке остатки бабушкиного серебра, за деньги ничего нельзя было купить.

За голодом начались эпидемии. Однажды, вернувшись из школы, Ася увидела: мама лежит без сознания на полу. Побежала за доктором Павлом Тарасовичем, знакомым отца.

— У нее тиф, немедленно вези в больницу.

Дворник и еще один сосед уложили маму на сани и повезли через весь город в городскую больницу. Палаты были переполнены, и маму положили в холодном и грязном коридоре среди других тяжелобольных.

Павел Тарасович дал Асе несколько кусочков шоколада, и, растворив их в воде, она каждый день ходила с этой бутылочкой в больницу. Она шла через весь город, по кочкам и сугробам. На ней были сохранившиеся от прежней жизни изящные ботинки с меховой опушкой и углублениями для высоких каблучков. Поскольку обуви с каблучками не было, Ася набивала в эти углубления газеты и тряпки и привязывала ботинки веревками к ногам, но все равно они сваливались и приходилось искать их в снегу, плача от унижения и холода.

Однажды, прислонившись к афишной тумбе, она увидела объявление: требовались служащие со знанием иностранных языков. Покормив маму, она опроретью помчалась на Николаевскую площадь, где в здании ВУЦИК размещалось это неизвестное ей учреждение — ПОМГОЛ, Центральная комиссия помощи голодающим.

Несколько дней придирчиво изучали ее анкету. Ведь речь шла о работе с иностранцами, а здесь органы ЧК проявляли особую бдительность.

Где отец? Пропал без вести. Это было понятно, тысячи людей терялись и пропадали в столпотворении гражданской войны. Мать — медсестра, это хорошо, не барыня, не эксплуататор трудового народа. Вот только сама ты, Воронина, пигалица, шестнадцати еще нет. А работа у нас ответственная, а ну как завалишь? Или языком будешь трепать?

— Не завалю, дяденька, поверьте. И языком трепать не буду. Честное трудовое!

— Посмотри, ступай в машбюро. Там девки покажут тебе пишмашинку с иноземными буквами.

Это было неслыханной удачей. Неплохо платили, а главное — паек совслужащей, в котором были и крупы, и подсолнечное масло. Батареи в комнатах ПОМГОЛА жарко пылали, не хотелось даже уходить вечером домой, в нетопленную коммуналку. Когда ей предложили по вечерам подрабатывать на коммутаторе, она тут же согласилась.

Окончив работу в машбюро, Ася тщательно отмывала запачканные синей копиркой пальцы и опускалась вниз, в телефонную комнату, где теперь за столом с наушниками было ее вечернее рабочее место. Она отвечала на звонки, принимала и отправляла телефонограммы.

Однажды вечером, постучавшись, в комнату вошел высокий голубоглазый блондин в отлично пошитом костюме, в белой накрахмаленной сорочке с галстуком. Такого великолепия она давно не видела в Харькове. Не галлюцинация ли? Может, заснула от голода?

Он стоял в проеме двери и улыбался. И Ася поняла, что это не сон. На неплохом русском, без акцента, но как-то неестественно, точно автомат, старательно выговаривая каждое слово, он произнес:

— Майор Видкун Квислинг. Я хотел бы попросить вас отправить срочную телеграмму.

Сейчас, рассказывая об этой встрече Жоржу, Ася признавалась:

— Понимаешь, это было *coup de foudre*, любовь с первого взгляда. Я не слышала его слов, не отвечала. Появившись внезапно в моей каморке, он напомнил мне о том, что где-то еще существует нормальная жизнь: холеный мужчина, самоуверенный и обходительный, чувствующий, что его комфортному существованию ничего не угрожает. Он был пришельцем с другой планеты.

12.

Из зеленой папки

Видкун Квислинг (полное его имя — Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling) родился 18 июля 1887 года в Фюресда-

ле (Телемарк). Его предки по отцовской линии происходили из Дании — считается, что начало роду Квислингов в Норвегии положил датский пастор Laurits Ibsøn Quislinus, переехавший в северную страну в XVII веке.

Семья, в которой родился Видкун, принадлежала к числу наиболее почтенных и уважаемых в Телемарке. Отец, Юн Лауритц, пастор, был известным писателем, генеалогом и специалистом по истории церкви, автором трехтомного богословского сочинения „Души ангелов“, и считался в Норвегии виднейшим специалистом по дьяволу.

Имя Лауритц у отца и самого Видкуна было дано в честь основателя рода.

(Мария Квислинг)

От его брака с Анне Каролине Банг родились четверо детей: Видкун, Йорген, Арне и Эстер. Юношей Видкун переехал в Драммен, где учился в латинской школе.

Там он однажды прославился геройским поступком, когда, рискуя жизнью, бросился в воды местной реки Драмменсэльва и спас молодую девушку. (Мария Квислинг).

Свое образование Квислинг продолжил в военной школе, которую закончил с отличием в 1911 году. Учителя признавали, что он был самым лучшим из кадетов за всё время существования школы.

Среди курсантов он слыл гением, и ему легко прощали застенчивость и неловкость в танцах. (М. К.)

После окончания военной школы Квислинг получил звание майора норвежской армии и назначение в норвежский Генеральный штаб. Там молодой офицер выбрал своей специализацией Россию, стал изучать русский язык и литературу. Эти познания помогли ему весной 1918 года стать военным атташе в норвежской миссии в Петрограде. Ввиду беспокойной

обстановки в городе и стране норвежскую миссию, по соображениям безопасности, полностью перевели в Хельсинки.

1918 год — убийство Урицкого, покушение на Ленина. Красный террор, Крестьянские восстания против большевиков. (М. К.)

В апреле 1919 года Квислинг покинул Россию. Он вновь вернулся, но уже не в Петроград, а в Харьков, когда здесь разразился голод и советское правительство допустило иностранцев распределять гуманитарную помощь. В комиссии, возглавляемой известным полярным исследователем Фритъёфом Нансеном, Квислинг занимался транспортировкой грузов с продовольствием. Его участие в работе Нансена выразалось главным образом в организации доставки продовольствия в обстановке хаоса, когда порядки менялись со дня на день. Он не занимался распределением продовольствия — он обеспечивал его транспортировку из морских портов в города Украины. Право распределять продукты он предоставил самим русским. Благодаря этому ему удалось избежать трений с властями, которые настаивали на том, что они сами должны руководить кухнями для голодающих.

Видкун Квислинг вполне успешно исполнял свои обязанности и, думаю, без него организация Нансена была бы гораздо менее эффективна. (М. К.)

13.

Несколько дней спустя, когда Ася Воронина опять задержалась на работе, дверь отворилась, и в телефонной каморке снова появился майор Квислинг.

— Еще одна телеграмма? — спросила Ася с улыбкой.

— Пока нет. Я пришел сюда, потому что ищу возможность поговорить по-русски, мне нужна практика.

Смешная ложь, Ася же видела, что понравилась ему.

— Это очень просто, здесь все говорят по-русски, — сказала она.

— Верно, но с людьми, с которыми я встречаюсь, с «*то-вари-ща-ми*», я общаюсь через переводчика. Они даже не знают, что я говорю по-русски, им бы не понравилось, что я понимаю их язык. Так что у меня нет никакой практики, ну разве что я иногда болтаю с прислугой. Можно я буду к вам заходить каждый день, хотя бы на несколько минут?

Сердце ее прыгало.

— Конечно, господин майор, я буду очень рада!

— Отлично! — обрадовался он. — Каждый день после ужина я выхожу на прогулку. Если вы *соблаговолите*, я буду заходить за вами к концу работы и провожать вас до дома. А по пути мы сможем поговорить.

Боже мой, подумала Ася, он ужинает каждый день и у него есть прислуга!

Конечно же, она «*соблаговолит*!» (Про себя хихикнула: какие старинные слова, видимо, из тургеневских романов, у него в ходу). Он заходил за ней каждый вечер. Их прогулки становились все более продолжительными. Видкун рассказывал о Норвегии, он мог говорить о своей родине бесконечно долго. В его рассказах оживали бесстрашные мореходы-викинги, которые совершали набеги на соседей и открывали новые земли.

— Они и до Руси добрались, — сказала Ася, — мы по истории проходили. Ведь варяги тоже с севера к нам пришли.

— Вы их сами позвали. Княжить и править вами.

— Да, да... «И сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля». У меня по истории всегда «отлично» было. Особенно по древней... Рюрики — это...

Вовремя удержалась, аж язычок прикусила: чуть не выдала своему спутнику семейную тайну — ее бабушка Александра вела свою родословную от Рюриковичей. Но это, сказала мама, еще страшнее, чем «Коцебу». Царская фамилия! В чека и к стенке!

Сейчас, когда Ася рассказывала об этом Жоржу, глаза ее любовно млели от воспоминаний. Видя ее волнение, он приобнял ее и спросил напрямую:

— Скажи, ты любила его?

Она прикрыла глаза веками, молчала.

— Можешь не говорить, Алекс. Вопрос, как ты понимаешь, чисто риторический. Любила — не любила, какая разница — все в прошлом, все быльем поросло.

— Я не любила его, Жорж, — ответила она наконец. — Я его обожала.

— Не находишь ли это странным, дорогая? Тебе было семнадцать, а ему...

— Тридцать пять... Может быть, именно поэтому. Он был для меня и отцом, которого я лишилась, и любимым человеком. Я восторгалась его эрудицией, его выдержкой и спокойствием. Я чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. Хотя однажды...

Она рассмеялась.

— Он пригласил меня в кинематограф. Фильма какая-то про любовь и ревность... Разгневанный муж закалывает любовника и прочая ерундистика. Вышли, уже поздний вечер. Темень на улицах. Откуда ни возьмись, мальчишки-беспризорники. Увидели богатого иностранца, окружили нас, горлалят: «Дай! Дай!» Я была чуть старше этих детей, мне было жалко их. И тут я увидела, как мой выдержанный спутник потерял терпение, лицо его стало красным, ведь слово «Die» по-английски «умри». Он закричал на них: «Die yourselves», «умрите сами», и впервые что-то вроде страха мелькнуло у него на лице. Я объяснила ему ошибку, но он не посмеялся. Он сказал:

— Я приехал из далекой страны, чтобы оказать помощь голодающим. И что же? Даже этим несколькими оборванцам я помочь не могу. То, что я распределяю, до них не доходит. Куда все девают ваши власти, не знаю. Сизифов труд.

Он доверял Асе. Она умела слушать, а ему надо было выговориться. За несколько месяцев работы в Харькове он успел изучить стиль работы советских чиновников. Они опаздывали на встречи, а иногда и просто не появлялись, не потрудившись предупредить заранее. Как правило, начальники были плохо осведомлены о действиях собственных подчиненных,

избегали ясно и честно отвечать на вопросы. Все это приводило его в ужас.

— С русскими невозможно иметь дело. Непорядочность, необязательность — их национальная черта.

— Вы забываете, майор, что я тоже русская, — не на шутку обозлилась Ася.

— Что ты, что ты? — забеспокоился он. — Ты вовсе не похожа на других русских. Совсем иной породы. Умная, воспитанная, деликатная, умеешь держать слово. Как норвежская женщина.

— Как Сольвейг?

— О, Ася! Ты слышала о Сольвейг?

— Я обожаю ее песню. Когда рояль стоял у нас, я часто играла ее.

— У вас забрали рояль? Варвары! Как бы мне хотелось тебя послушать, я так люблю Грига.

14.

Из коричневой папки

Газета „The New York times“ 23 июля 1921 г.

Ко всем честным людям Европы и Америки

Обращение русского писателя Максима Горького

Хлебородные степи Юго-востока России поражены неурожаем, причины его небывалая засуха. Несчастье грозит миллионам населения России смертью от голода. Напомню, что народ русский сильно истощен влияниями войны и революции и что степень его сопротивления болезням, его физическая выносливость, — значительно ослаблена. Для страны Льва Толстого и Достоевского, Менделеева и Павлова, Мусоргского, Глинки и других всемирно ценных людей наступили грозные дни, и я смею верить, что культурные люди Европы и Америки, поняв трагизм положения русского народа, немедленно помогут ему хлебом и медикаментами. ...Я прошу

всех честных людей Европы и Америки о немедленной помощи русскому народу. Дайте хлеба и медикаментов.

Послание Патриарха Тихона

В России голод. Огромная часть ее населения обречена на голодную смерть. Хлеба многих губерний, бывших раньше житницей страны, отмечены засухой. На почве голода — эпидемии. Необходима немедленно самая широкая помощь. Всякие соображения иного порядка должны быть оставлены в стороне: гибнет народ, гибнет будущее, ибо население бросает свои дома, земли, поля, хозяйства и бежит на восток с криком: хлеба. Промедление грозит бедствиями, неслыханными доселе. Высылайте немедленно хлеб и медикаменты. С таким же призывом обращаюсь к народу Англии через Архиепископа Кентерберийского. Молитесь, да утихнет гнев Божий, движимый на нас.

15.

Накануне выходного дня Видкун сказал Асе:

— Давай устроим завтра пикник — возьмем бутерброды и съедем их на свежем воздухе. Ты не согласна? Почему ты молчишь?

Она не умела хитрить. Сказала тихо, еле выдавив из себя:

— У нас дома... нет никакой еды... не из чего их делать, эти бутерброды.

Он ничуть не смутился:

— Ну что ж, тогда погуляем просто так.

В Загородном парке, куда они пришли, в тени могучих сосен было тихо и прохладно. Они шли молча, было тоскливо и скучно. Асе хотелось, чтобы Видкун взял ее под руку, сказал что-нибудь смешное или ласковое. «Может быть, таковы все норвежцы, — думала она. — Север, скалы — вот и люди там будто вырублены из камня. Но кто знает, что у него в сердце? Ведь нравлюсь я ему. И вижу, чувствую. Но почему он говорит о совсем посторонних вещах?»

— Смотри, как запущен ваш парк, — слышит она слова своего спутника. — Кучи мусора, поваленные деревья, сухие ободранные стволы. А сколько молодых растений безжалостно вырублено. Я ведь вижу по пням, немножко разбираюсь в этом деле, — живые деревья пошли на порубку. А это же национальное богатство вашей страны. У нас в парке Фрогнер, например...

— В вашем парке, Видкун, не было гражданской войны, — огрызнулась она.

— Ты права, Ася, — сказал он примирительно. — Я, наверное, забыл об этом.

Они прошли через весь парк и присели на краю оврага... Отсюда открывался вид на Журавлевку, нищую окраину Харькова. Там жили в основном рабочие, небогатые мещане и вечно нуждающиеся студенты. С места, где они расположились, были хорошо видны маленькие неказистые домики под ржавыми жестяными крышами

Майор указал рукой на Журавлевку:

— Ты только посмотри! Что это за жизнь? У русских нет даже малейшего желания научиться такой простой вещи, как строительство приличных домов? Что это за архитектурный стиль? Кто придумал эти отвратительные безобразные крыши, эти нелепые краски! Ведь это типичный русский городок — с грязными улицами, людьми в лохмотьях, покосившимися избушками; все ветхое, мостовых нет, зелени нет, даже водопровода.

— Это городская окраина, Видкун. Там обитают люди, у которых нет средств на достойную жизнь. А разве в Европе, в крупных городах, нет своих трущоб?

— В нашей столице их нет. Ты увидишь и сама убедишься в этом.

— Я увижу? Как?

Он смутился, замолчал. Что он хотел этим сказать? Неужели в его планы входит... И она может увидеть Норвегию?

А майор продолжал разглагольствовать на свою любимую тему:

— Русским необходимо лучшее руководство и правильное обучение. Все ваши несчастья происходят от врожденной слабости русского характера, безразличия и отсутствия ясно поставленных целей. Но даже если поставить достойные цели, достичь их невозможно, если нет силы воли. Вот у тебя, как ты считаешь, есть сила воли?

— Не знаю, Видкун.

— Это честный ответ. Тебе еще не пришлось столкнуться с такими препятствиями, преодоление которых вырабатывает силу воли.

Что он знает о ее жизни, этот лощеный офицер? О голоде, потере отца, о ботиках со стоптанными каблуками? Уж чего-чего, а этих самых препятствий выпало на ее долю предостаточно.

Проводив Асю домой, Видкун объявил ей, что уезжает на несколько месяцев в инспекционную поездку по городам Украины. Они попрощались — без поцелуя, даже не пожали друг другу руки.

Вспоминая об этих днях, Ася говорила Жоржу:

— Если это и был любовный роман, то исключительно платонический. В наших отношениях не было никаких привычных элементов флирта. Он был таким воплощением идеального джентльмена, что физическое сближение казалось невероятным. Никогда не говорил ничего о своих чувствах, никогда не пытался взять меня за руку, никогда не дарил мне цветов и не оказывал других знаков внимания. Возможно, он знал, что находится под всечасным наблюдением чека. Ему постоянно казалось, что за ним следят. Позднее я поняла, что власти все знали о нас.

Она тоже уехала. К своим родственникам в Чернигов. Новая обстановка позволила ей вскоре позабыть о Квислинге и их прогулках. Но, вернувшись в Харьков, Ася внезапно встретила его на улице.

— Что случилось? Почему вы не уехали? Дела или захворали? — удивилась она.

— Нет, я не мог уехать...

Он выглядел очень смущенным.

— Понимаешь... Как бы тебе сказать... Я вернулся домой после нашего пикника и вдруг... Когда снял пиджак... увидел на нем твой длинный белокурый волос. Меня это остановило. Я ждал тебя, чтобы сказать... что я люблю тебя и хочу на тебе жениться! *Без-от-ла-га-тель-но!*

16.

Каждая девочка втайне мечтает о собственной свадьбе. Не обязательно богатой и пышной. Но романтичной, необыкновенной, чтобы запомнилась на всю жизнь. С морем цветов, шампанским и белым воздушным платьем, в котором она, невеста, самая красивая и счастливая.

Конечно, Ася понимала, что в голодном умирающем городе, каждый день борющемся за выживание, такой свадьбы быть не может. И все же, когда Видкун сделал ей предложение, она забыла обо всем. Захотелось сказки, чуда. «Я люблю, люблю его» — убеждало сердце.

Но Видкун был из тех людей, которые умеют праздники превращать в будни. На следующий день он сказал Асе:

— У нас будет серьезный разговор. Надо обсудить все подробности — где и как мы поженимся, когда уедем и множество других серьезных вещей. Скажи, когда тебе исполняется семнадцать лет?

— Двадцатого августа.

— Прекрасно. Значит, двадцать первого мы регистрируем брак. Я хорошо изучил ваши законы и не хочу их нарушать.

Он прижался сжатыми губами к ее щеке. Так, скорее, целуют кошку или собачку, подумала она, от которой боятся чем-то заразиться. Но, может быть, так принято за границей, какой-нибудь галантный ритуал?

— Наша миссия заканчивает работу на Украине, и я получил предписание возвратиться в Генштаб, к своим прямым обязанностям. Ты выедешь в Москву раньше, я закончу здесь все свои дела и догоню тебя.

Он сжал ее руки, искоса глянул на них и сказал с укором и насмешкой:

— А этот пальчик стоило бы помыть...

Обомлев, она увидела на указательном пальце, под ногтем, темный след от копирки. Не уследила, Видкун прав. Но неужели он до сих пор не понял, в каких унижительных и примитивных условиях мы вынуждены существовать и как трудно нам поддерживать respectable вид, когда и выжить-то очень сложно? И неужели он не мог выбрать более подходящий момент для такого упрека?

Этот «пальчик» она помнила очень долго. И когда ставила подпись в книге регистрации бракосочетаний. И когда после этого, уже как муж и жена, они разошлись по своим домам. И в кровати, когда, зарывшись носом в подушку, она еле сдерживала слезы.

Через несколько дней Видкун провожал ее на Южном вокзале. В фибровом чемоданчике, который Ася держала в руке, лежало ее приданое — недавно пошитое крепдешиновое платье, подаренная мамой книга Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» и набор серебряных ложек и вилок — прочие семейные ценности были обменены на продукты.

Поезд подали с опозданием на час. Второй вагон оказался почему-то последним. Пока добежали, там полным ходом шла посадка. Вокруг прощались, обнимались, кричали друг другу какие нелепые слова. Видкун наклонился к ней и сказал:

— Терпеть не могу, когда русские, особенно мужчины, обнимаются и целуются при встрече или расставании. Это неприлично, я никогда не позволяю никому, даже собственной матери, прикасаться ко мне на людях.

Он пожал молодой жене руку и помог взойти на ступеньку. Через минуту паровоз фыркнул, шипя выпустил пар и медленно тронулся с места.

17.

Из коричневой папки

15 августа 1921 года в Женеве была созвана конференция из представителей тринадцати государств и сорока восьми обществ Красного Креста, которая утвердила знаменитого по-

лярного исследователя Фриттьофа Нансена верховным комиссаром новой организации по оказанию помощи России. Своим представителем на Украине он назначил майора Генерального штаба Норвегии, бывшего атташе норвежского посольства в России Видкуна Квислинга.

«В Канаде нынче такой хороший урожай, что она могла бы выделить зерна больше, чем необходимо для предотвращения страшного голода в России. В США пшеница гниёт у фермеров, которые не могут найти покупателей для излишков зерна. В Аргентине скопилось такое количество кукурузы, что её некуда девать и ею уже начинают топить паровозы. Во всех портах Европы и Америки простаивают целые флотилии судов. Мы не знаем, чем их загрузить. А, между тем, рядом с нами на Востоке голодают миллионы людей. Неужели Европа может сидеть спокойно, ничего не предпринимая для того, чтобы доставить сюда пищу, которая нужна для спасения людей?» (Ф. Нансен)

«Никогда не забыть мне смертную тоску в глазах русских детей. Спасите Россию!» (Ф. Нансен)

«...Если бы другие крупные страны выделили примерно столько же средств, сколько Норвегия, голод в России был бы побежден». (Ф. Нансен)

Газета „The Manchester Guardian“ от 1 октября 1921 г.

В пятницу 30 сентября 1921 года доктор Нансен произнес в Лиге Наций, пожалуй, самую великую речь в своей жизни. Он оценил количество людей, которым угрожала голодная смерть, в 20—30 миллионов. Нансен отверг мысль, будто эта помощь может способствовать укреплению советского правительства. «Но даже если это и так, неужели найдется хоть кто-нибудь в этом собрании, кто готов сказать, что он скорее допустит смерть 20 миллионов человек, чем поможет России? Я призываю присутствующих ответить на этот вопрос». Деле-

гат от Сербии попросил слова и заявил, что предпочтет увидеть, как погибнет вся русская нация, чем рискнет оказать помощь советскому режиму.

Несмотря на враждебность некоторых делегатов, было похоже, что Нансен во время речи склонил собрание на свою сторону и добился поддержки. Он был бледен и, казалось, с трудом управлял чувствами, в особенности, когда коснулся своего опыта в Арктике — выживания под угрозой голодной смерти. Когда он закончил речь, на галерее раздались бурные аплодисменты. Это была победа человека практических действий, человека душевного и сердечного, над собравшимися в этом зале теоретиками и скептиками.

18.

Видкун приехал в Москву на третий день после Аси. Регистрацию брака в Харькове должны были подтвердить в Дипломатической миссии Норвегии. Она размещалась в доме №9 по Мертвому переулку. Одноэтажный особняк принадлежал до революции известной меценатке Маргарите Морозовой. Здесь собирались известные художники, музыканты, артисты. В холле и других интерьерах еще сохранилась от блаженных старых времен великолепная отделка стен из карельской березы, изысканная стильная мебель.

Квислинга с молодой русской женой встретили очень радушно. Несколько сотрудников знали его как военного атташе в этой же дипломатической миссии. Хлопали по плечу, шутили:

— Шустрый ты парень, Видкун. Какую красавицу на хлеб выменял!

Ася не понимала, о чем они говорят, но догадывалась, что о ней. Ей было приятно, она смущенно улыбалась. Секретарь миссии принесла большую красивую книгу в сафьяновом переплете и сделала запись, подтверждающую их брак. Видкун и она поставили свои подписи, тут же появилось шампанское, и все выпили за здоровье молодых.

Подгибались, не держали ноги, кружилась от счастья голова, когда она вышла на улицу. Подумать только! Замужняя дама, фру Квислинг, подданная его величества короля Норвегии! Вот она, сказка, лелеемая в девчачьих сладостных снах!

В гостинице «Савой» их ждал снятый Видкуном двухместный номер. Но перед этим майор пригласил Асю в ресторан. Первый раз они сидели за обеденным столом вместе. Старичок-официант проворно выставлял на стол все новые блюда. От непривычно обильной еды у Аси разболелся живот, а потом добавилась и головная боль.

— Может быть, поднимемся в номер? — спросил Видкун. — Ты страшно устала и плохо себя чувствуешь.

— Нет, нет, Видкун, давай посидим еще немного. Здесь так красиво. И оркестр... замечательный...

Он с готовностью согласился. Оба волновались перед испытанием, которое им предстояло — первой брачной ночью. Сидели в ресторане почти до закрытия, а когда поднялись в номер, она сказала, что по-прежнему плохо себя чувствует.

— Ложись в постель и усни, — сказал он с видимым облегчением. — А я лягу на диване в гостиной.

— Ты же там не поместишься. Давай наоборот — ты в спальне, а я на диванчике?

— Нет, боже упаси, ложись в кровать, я прекрасно устроюсь здесь, уверяю тебя.

Так прошла их первая брачная ночь. Теперь, вспоминая о ней, она объясняла это тем, что он, пасторский сын, не считал гражданский брак подлинным, пока он не освящен в церкви. А может быть, у него, как и у нее, не было сексуального опыта, хотя он и был вдвое старше ее.

Они обвенчались по лютеранскому обряду в Риге, в Домском соборе. Оттуда через Петроград и Стокгольм пара прибыла в Христианию — так называлась столица Норвегии до 1924 года. Долгое путешествие измотало Асю. Города, вокзалы, гостиницы, страны менялись, словно в калейдоскопе. Она никак не могла привыкнуть к строгому английскому костюму и парижской шляпке, которые Видкун купил ей в Риге. Новые знакомые, чужие языки, необходимость постоянно держать

улыбку — все это к концу дня сильно утомляло ее. Приступы депрессии и слабости были иногда настолько сильными, что ей не удавалось скрыть их от Видкуна. Он пытался лечить ее по своей методе — самовнушением:

— Все наши болезни — плод воображения и страхов. Повторяй фразу «Каждый день я чувствую себя все лучше и лучше» и заставляй себя верить в это. Увидишь, что станет легче. Говори эти слова ровным тоном, без выражения, и постепенно это внушение войдет в твое подсознание и начнет влиять на твои действия и ощущения.

— Откуда ты все это знаешь, Видкун?

— Я же кадровый военный, дорогая. Нас многому учили. И старайся побольше спать, даже в вагоне.

Так получилось, что Ася проспала советско-финскую границу. А так хотелось поймать этот миг! Утром, едва открыв глаза, глянула в окно и ахнула. Вместо нищих изб и заброшенных церквушек за стеклом мелькали чистые станционные домики, тропинки, посыпанные песком, ухоженные аккуратные клумбы, цветы на окнах. Весь мир вокруг был напоен светом и радостью. В нем не было ни войны, ни голода, ни страданий.

— Все, Россию проехали, — сказал Видкун.

— Жаль, я хотела помахать ей ручкой, — сказала Ася.

— Значит, еще вернешься. Такая примета.

Им действительно пришлось возвратиться в Россию, но это произошло через несколько месяцев.

В Христиании Квислинги временно поселились в гостинице «Гранд-отель» в самом центре города на Карл Йоханс-гате. В помпезных, в стиле барокко, интерьерах она чувствовала себя маленькой и незащищенной, но подыскать постоянное жилье в столице было не так просто. Видкун стал служить в Генеральном штабе Норвегии, работы было много, часто приходилось задерживаться допоздна. Приходил уставший, взвинченный. А тут еще жена возьми да брякни:

— Этот «Гранд-отель» — царство напыщенного безвкусыя, его строил, наверное, очень мрачный человек.

— Тебе не нравится? — вскрикнул Видкун. — Приехала бог знает откуда, из убогой, грязной страны, и еще фыркаешь носом?

— Ты думаешь, что мы, русские, не знали, что такое комфорт и культура? Сейчас да, там хаос и разруха, все уничтожено войной и революцией. А ваша страна процветает.

— У вас никогда не было приличной жизни. Я был в России в самом начале революции и видел точно такие же трущобы, убогие дома, грязные дворы. Все было так, как сейчас. Просто не понимаю, как у тебя поворачивается язык критиковать великолепную западную культуру.

Это была их первая и, насколько она помнит, единственная серьезная размолвка.

Через несколько дней Видкун повез жену на Эккербергс — гате показать купленную им великолепную квартиру. В четырех просторных светлых комнатах еще не выветрился запах краски.

— Мой кабинет, наша спальня, гостиная и кухня. Тесновато, но на первых порах нам будет уютно и удобно.

Теперь предстояло обставить эти голые стены. Завезли мебель в модном тогда стиле «арт деко». На стенах развесили картины, частью вывезенные из России, гобелены, в нишах поставили канделябры. Когда в камине запылали сухие поленья, стало по-настоящему тепло и уютно. И Ася, не удержавшись, захлопала в ладоши.

— Ты как дитя, — улыбнулся Видкун. И с той поры, в минуты нежности, часто называл ее этим словом — «дитя».

Вскоре в квартире появился концертный рояль „Blüthner“ в роскошной палисандровой отделке.

— Это же безумные деньги, Видкун!

— Без музыки это не дом. Большевики отобрали у тебя рояль, ты страдала, теперь вот, играй, всем нам на радость. Когда ты обещала мне кое-что сыграть...Помнишь? Ну что ты стоишь, как дикая козочка?

Ася робко села за инструмент, открыла крышку, коснулась пальцами перламутровых клавиш.

— Я сто лет не подходила к роялю. Мне страшно... Боже, какие певучие звуки...

— Я жду песню Сольвейг, Ася.

Она набрала воздуха в легкие и тоненько, будто для себя запела:

Зима пройдет и весна промелькнёт,
И весна промелькнёт;
Увянут все цветы, снегом их занесёт,
Снегом их занесёт...

Мелодия то поднималась к небу, то обволакивалась грустью. Ася играла по памяти, пару раз сбилась, но нежный голос ее шел от сердца:

И если никогда мы не встретимся с тобой,
Не встретимся с тобой;
То всё ж любить я буду тебя, милый мой,
Тебя, милый мой...

Она играла и думала: «Милый боженька! Как я люблю Видкуна! Ведь он сотворил для меня этот восхитительный сказочный мир!» Где ей было знать в ту пору, что вскоре хозяйкой этого мира станет новая избранница Видкуна Мария Пасечникова.

19.

Конверт был с китайской маркой и иероглифами на штемпеле. Мария, верная обету затворничества, ни с кем не переписывалась. Да и в Китае у нее никого не было и не могло быть. Письмо принесла Сигрун, ее служанка, единственный оставшийся с ней человек. Сигрун ходила на рынок, готовила еду, убиралась в квартире. Она также вынимала почту из ящика. Обычно кроме счетов за газ и электричество и расчетных листов пенсионного ведомства вдова казненного изменника ничего не получала.

Прочитав письмо, Мария удивилась. Незвестный ей человек, Симон Дюпре, просил выслать на его адрес в Шанхай письма, фото и любые другие документы, касающиеся Александры Квислинг (в девичестве Ворониной). За оказанную любезность этот человек обещал отблагодарить мадам Марию Квислинг. Сумма не называлась, но предполагалось, что она может ее предложить сама.

Разбирая архив Видкуна, Мара, действительно, обнаружила несколько фотографий и два асиних письма. Одно — ничего не значащая открытка с видом Ласточкина гнезда из крымского санатория, где Ася отдыхала с мамой. Другое из Парижа, написанное уже после их разрыва, содержало просьбу выслать ее папку с документами, в том числе копию брачного свидетельства для оформления развода. Оба письма, по всей вероятности, остались без ответа, т. к. Видкун со свойственной ему штабной аккуратностью всегда делал пометку об ответе.

За этим Симоном Дюпре стояла, конечно, сама Ася. Тоже мне, конспираторша хренова, думала Мара. Заметалась, забеспокоилась, а ведь только прищепили хвостик. Вышлет ей Мария весь компромат, как же, а она его в огонь — и все, пепел. Ничего не знаю, не было этого пособника фашистов в моей жизни. Чиста и прозрачна, как кристалл. Быстро же ты отказалась, девочка, от того, с кем делила постель. Забыла, кто тебя из грязи, из нищеты вытащил. А ведь столько восторга было, когда ты приехала в Харьков и мы встретились случайно на Николаевской площади. Я из Биржи труда иду-бреду себе, очередной щелчок по носу получила. А ты нарядная, в драповом пальто-реглан и фасонистых ботиках. Фифочка заграничная.

— Здравствуй, Мария. Ты что, не узнала?

Смеется. Веселая мордашка, губки алой помадой покрашены, локончики белокурые из-под шляпки.

— Не узнала, действительно, — призналась Мара.

— И не мудрено. Подданная Норвегии, фру Квислинг!

— Вернулась, что ли?

— На время. Нансен начал новую кампанию помощи. И вызвал Видкуна. На сколько, неизвестно. Я ужасно рада —

хотелось повидать мамочку. Она, бедняжка, по-прежнему в коммуналке, в няниной комнате. Как помочь ей — ума не приложу...

— А где вы живете?

— В доме Балабанова, это рядышком. Хочешь, зайдем?

Ася сварила кофе, разлила в фарфоровые чашечки. Крепкий, давно забытый аромат разошелся по комнате. Мара пила не спеша, небольшими глотками, стараясь не показать какое наслаждение она испытывает. Лицо ее оставалось спокойным и даже как-будто равнодушным. Ни в коем случае не выдать своей тайной зависти к этой свиристелке, так удачно схватившей за хвост синюю птичку.

Ася же без умолку тарыхтела. О, сколько она повидала за это время! Ей даже не верится, что когда-то она жила в этом убогом грязном Харькове. Норвегия — небольшая страна, север, и климат суровый. Но там другая жизнь и другие люди. Трудолюбивые, упрямые и счастливые. Все улыбаются, жизнь — это праздник. Улицы моют мыльным раствором, представляешь? И везде цветы.

Она закурила тонкую дамскую сигаретку. Предложила Марии, но та отказалась.

— Мы с Видкуном часто ходим в гости. Его встречают везде чуть ли не как национального героя — спасителя России. Я перезнакомилась со всеми его многочисленными родственниками и, честно скажу тебе, они без ума от меня. И отец, и братья его были удивлены, как такой серьезный человек, никогда не обращавший внимания на женщин, привез такую красавицу. Да еще из России.

— А как вы между собой? — будто вскользь спросила Мария. Это интересовало ее больше, чем чистота норвежских улиц.

Ася затянулась сладким табачным дымком, ответила не задумываясь:

— Любовь, Мара. Несмотря на разницу лет, он пылает, как юноша. И страшно ревнует. Кошмар!

Она рассмеялась.

— Расскажу тебе про один казус. Днем, когда Видкун на работе, я обычно выхожу прогуляться. Особенно люблю пошляться по центральному проспекту Карл Йоханс-гате. Глазею на прохожих, разглядываю витрины. И вот... Заметила, что каждый день в один и тот же час по проспекту проезжает длинный черный лимузин с номерным знаком, состоящим из единственной цифры — «единица». На заднем сиденье, я разглядела, сидит, всегда в одиночестве, грустный смуглый человек, похожий на испанца со старинных портретов. Он тоже, видно, заметил меня. Мы стали раскланиваться. Однажды этот господин едва заметно улыбнулся и приподнял свою шляпу. Я рассказала об этом Видкуну. И что же? Как ты думаешь? Оказалось, что это — король Норвегии Хоокон. Видкун весь кипел от гнева: «Зачем ты заглядываешься на чужих мужчин?» — «Но этот мужчина твой король, — ответила я. — И мой тоже». — «Да, но ведь ты не знала этого, — возразил он. — Для тебя он был просто посторонним мужчиной». — «Какой ты ревнивец, Видкун. Настоящий Отелло» — сказала я. А вскоре нас пригласили во дворец, и я познакомилась с королем. Мне кажется, я ему понравилась.

Слушать эту нескончаемую похвальбу Маре было невыносимо. Она стала собираться домой. Ася насыпала ей в бумажный пакет печенья крекер, положила пару французских шоколадок. В передней Мара спросила:

— Вы надолго приехали?

— Кто знает? Нансен ни за что не отпустит Видкуна. Поверь, здесь, на Украине, все держится на нем. Видкун великолепный организатор, одно слово — штабист. Все спланирует, продумает. А в вашем хаосе это дело непростое. И служащие, которых он набрал, по струнке ходят.

— Ты тоже там работаешь?

Ася расхохоталась.

— Да заикнись я только...он бы убил меня. Ну представь? Жена такого человека — конторская служащая? Или телефонная барышня? Это нонсенс, полнейший абсурд. В Европе это не принято.

— Я ищу работу, Ася. Поговори с мужем.

— Нет, Мара, у нас с ним договорено — я в его дела не лезу.

На том и разошлись. Дома Мара рассказала матери об этой встрече. Они сидели в своей убогой хибарке, едва освещенной коптящим фитильком керосиновой лампы, и пили вчерашний морковный чай с печеньем крекер.

— Не лезет она в его дела, да? — повторила мама Глаша. — Забыла сучка, как сама с голоду подыхала? Ну, ничего, вспомнит... Я с ее мамашей потолкую. Напомню кое о чем. Корни свои дворянские закопали, а мы их выкопаем. И кому надо покажем.

— Да она иностранка, мама. Плевать ей на эти «корни». Не смеши.

— А мамаша тоже иностранка? Десять лет без права переписки за дворянство получит. Вот так. Пусть доченька и подсуетится. Попросит мужа устроить мою красавицу. Ты только помалкивай.

Через неделю Мария Пасечникова работала на коммутаторе «Помгола».

20.

Из коричневой папки

Из отчетов В. Квислинга

23 января 1922 года мы посетили семью Ивана Федоровича Нищенко, жена которого, Харитина Андреевна, 45 лет, задушила своих детей, мальчика пяти и девочку семи лет, а затем в отсутствие мужа использовала тела их в пищу. Муж покинул семью в поисках еды, сказав на прощанье: «Справляйтесь, как можете». Харитина Н. психически нормальна и на вопрос «Почему Вы задушили своих детей?» — откровенно созналась: «Я задушила их, потому что они были из нас всех самые слабые и истощенные, а потом я их сварила, и мы их съели, ведь мы голодали».

На Украине имеются описания случаев каннибализма на кладбищах, где выкапываются трупы. Было еще несколько су-

дебных дел против родителей, убивших и съевших своих детей; в одном из дел муж и жена сваливали вину друг на друга. Мужчина оправдан и освобожден, жена осуждена. В детских домах ужесточается дисциплина, и сотрудникам не разрешается выпускать детей на улицу, потому что они могут быть похищенными, убитыми и съеденными или же подвергнуться нападению голодных собак.

Из западной прессы

Если мы оказываем помощь России, разве мы тем самым не помогаем новой власти удержаться? Не следует ли вместо оказания помощи этой стране свергнуть советскую власть? И разве новый жестокий режим не сам виноват в страшной нищете, поразившей страну? Не лучше ли будет, если большевики пожнут плоды своей политики?

Газета «Tidens tegn» (Норвегия), 1922 г.

Только майор Квислинг мог в те дни помочь умирающим, чья жизнь зависела от кусочка хлеба! Как мало им было надо, чтобы выжить! ... Майор Квислинг добывал еду для умирающих женщин и детей. Только ему было под силу украсть лошадей Буденного, забить их и накормить кониной голодающих малышей.

21.

Все было так и не совсем так, как рассказывала Ася Квислинг своей знакомой Марии Пасечниковой. Врушей она, вроде бы, никогда не была, но прихвастнуть, сыграть роль преуспевающей, счастливой женщины ее, конечно, подмывало. Приехавший из Европы просто обязан выглядеть человеком другого мира — стильно одетым, беззаботным, с неизменной улыбкой на лице. Запад не прощает уныния и хандры. Схватил шанс в свои руки — не прячь удачу, не бойся людской зависти. Фортуна к тебе благоволит! Но как непросто играть роль великосветской дамы, когда душу скребут кошки.

Мария глядела на Асю молчаливыми внимательными глазами. В потоке асиних восторженных слов она улавливала некоторую сбивчивость, недосказанную и внезапно оборванную фразу. Понимала, наверное, и то, что розоватая пудра на щеках и яркая помада должны были скрывать болезненную бледность лица. Перед ней сидела не девочка уже, а много повидавшая и пережившая женщина.

За полгода замужества Ася испытала муки и радости, счастье любви и горечь разочарования. Будто проехала по бесконечно длинной дороге — то ровной, с цветочками по обочине, то изрытой рытвинами, с неожиданными головокружительными поворотами.

Северная страна восхищала Асю. Можно сказать даже, что она влюбилась в Норвегию. С каждым днем, будучи любознательной и восприимчивой, открывала для себя все новые особенности окружавшей ее жизни.

«Дорогая мамуська, — писала она домой, в Харьков, — боюсь, что у меня не хватит слов, чтобы описать тебе эту волшебную сказочную страну. Ну как тебе представить эти роскошные зеленые долины и пронзительно лазурное небо над ними! Или береговые скалы, изрезанные фьордами. Видкун возил меня в машине по всей стране. Однажды мы случайно попали на сельскую свадьбу. Это необычное красочное зрелище. Торжество началось с того, что свита жениха подъехала к дому невесты. Отец невесты протянул жениху чашу с пивом, из которой нужно было отпить глоток. Теперь жених должен еще раз получить согласие на брак у родителей его избранницы, а после — у всех ее родственников. Потом появилась невеста и тоже отпила пива, подтверждая, что теперь они все делят пополам. После этого молодые поехали в церковь, а гости пошли домой, где ждали молодых. Большинство гостей было в красочных национальных костюмах. На женщинах были шерстяные юбки и жилетки, украшенные изделиями из серебра, на мужчинах панталоны до колена и шерстяные гольфы. Как будто я попала в сказку Андерсена.

Нас посадили на почетном месте, возле новобрачных. А им, бедняжкам, было не до еды. То и дело раздавались то-

сты, после каждого из которых жених и невеста должны были становиться на стулья (чтобы их все видели) и целоваться. Тот, кто произносил тост, после поцелуя вручал им свой подарок. Пили в основном пиво, которое за пару недель до свадьбы сварила сама невеста. Видкун пил очень мало и следил за мной.

Самым главным угощением была «невестина каша» из пшеничной муки со сливками. Кроме этого почти обязательное блюдо на норвежской свадьбе — запеченная семга и тресковые язычки и еще масса рыбных блюд. Норвегия — рыбная страна, мамочка. За всю свою жизнь я не знала не только вкуса, но даже не слышала названий этих рыб: семга, палтус, форель, камбала, морской окунь, скумбрия, угорь, пикша, мольва, люр, треска, сайда, сельдь... И это не говоря об омарах, кальмарах, крабах, мидиях, креветках и прочих дарах моря. В особенном почете сельдь. Ее называют здесь серебром моря. Истинный норвежец, говорят местные жители, ест селедку двадцать один раз в неделю.

Потом начались танцы. Меня пригласил какой-то коренастый мужчина с красным обветренным лицом и шкиперской бородкой — наверное, рыбак. Танец был несложный, «цепочка»: все взялись за руки и под неистовое пиликанье трех-четырёх скрипачей танцевали, вскидывая ноги и кружась.

Уехали мы поздно ночью.

— Понравилось тебе? — спросил меня Видкун.

— Очень, — сказала я. — Жаль, что у нас не было такой свадьбы.

— В той стране, где ты жила, этого не могло быть, — отрезал он.

Он был прав, и я не стала возражать. На языке у меня была другая новость. Уже несколько дней я обдумывала, как сказать об этом Видкуну. В этом месяце, мамочка, у меня возникло подозрение на беременность. Сказать сейчас, когда мы оба устали, а рядом шофер, вряд ли было разумно. Я решила преподнести ему этот неожиданный подарок на Рождество, которое мы решили отпраздновать у его родителей».

В Фюресдаль Видкун и Ася приехали утром 24 декабря. На флагштанге развевался уже норвежский флаг, как и на многих других домах в канун рождественских праздников. Во дворе стояла пышная молодая елка, украшенная гирляндами и цветными стеклянными игрушками. Откуда-то выносили пиво и глек (напиток на основе красного вина) в больших оплетенных бутылках.

Пока женщины готовили праздничный ужин, Юн Лоритц, отец Видкуна, увел Асю к себе в кабинет, тесно заставленный книгами, и показал там свои сочинения. Это были три солидных тома по истории религии, великолепно изданные, в массивных кожаных переплетах с золотым тиснением.

Ася попросила посмотреть одну из книг. Она была с большим количеством иллюстраций. Асю удивило, что ни святых, ни ангелов на рисунках не было. Зловещие чудовища, вытаращив глаза, изрыгали огненное пламя, вздымали копыта, сокрушали могучие скалы.

Юн Лоритц улыбнулся:

— Страшно?

Ася кивнула и закрыла книгу.

— А они есть на самом деле?

— Демоны? Конечно, это исчадия ада. Разве ты не сталкивалась с черными, враждебными тебе силами Зла?

— Если бы вы знали, батюшка, сколько раз!

— Тогда ты не должна спрашивать, есть они или их нет. Я уже несколько десятков лет изучаю их природу. И в отличие от других исследователей доказываю, что хотя демоны есть, их трудно отличить от прочих созданий. Почему? Да потому что они созданы из двух элементов — огня и воздуха, в то время как все остальное содержит в себе четыре элемента (кроме огня и воздуха еще земля и вода). И именно поэтому демоны не видны человеческим глазом. Но в то же время они подчиняются законам природы, пусть и несколько иначе. Они тоже подвержены старости, смерти и разложению, а вовсе не бессмертны, хоть и живут очень долго.

— О чем вы говорили с отцом? — спросил Видкун, когда Ася появилась в гостиной. — Не иначе как о дьяволе, да? Он один из самых авторитетных демонологов Скандинавии.

— Кто бы подумал, на вид такой добродушный и улыбочивый старичок. А занимается чертовщиной, — засмеялась она.

Вечером, когда все собрались за столом и зажгли свечи, Юн Лоритц осенил себя крестным знамением со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», все также перекрестились и ответили «Аминь». Наступила торжественная тишина, и глава семейства сказал тихо и проникновенно:

— Иисус Христос во время Тайной Вечери благословил, преломил и раздал хлеб. Мы сами должны быть такими же добрыми, как хлеб. Так пусть выражением этой доброты и любви станет преломление рождественского хлеба. Рождественский хлеб — это символ любви.

Лица собравшихся за столом Квислингов, освещенные колеблющимися огнями свечей, были исполнены торжественности момента. И Ася, юная атеистка из революционной России, поддавшись общему душевному волнению, тоже шептала какие-то, хоть и другие, но горячие и искренние слова. О маме, о своей странной, запутанной судьбе. О младенце, которого она носит под сердцем.

После ужина они поднялись в спальню. И тут, глядя на доброе спокойное лицо мужа, Ася положила ему на плечо свою белокурую головку и сказала игриво:

— Дорогой, у нас, кажется, будет маленький Квислинг.

Он отстранился и внимательно посмотрел на нее.

— Надеюсь, ты ошибаешься?

— Что ты имеешь в виду? — спросила она, не веря своим ушам. — Ты не рад?

— Да, Ася, я не разделяю твоей радости, — сказал он. — У меня ответственная работа, а будущее так непредсказуемо, что заводить детей сейчас было бы безответственно. Выбрось эту мысль из головы — даст бог, ты просто ошиблась. А нет — придется подумать о надлежащих мерах.

«О каких мерах, Видкун?» — хотелось ей спросить. Не спросить, а крикнуть. Но — стиснула зубы, смолчала, решив, что для взятия этой крепости потребуется длительная осада.

А Видкун действительно приходил домой поздно вечером, уставший, с натруженными красными глазами, наскоро ужинал своими любимыми «клопс» — маленькими котлетками из рыбьего фарша — и запивал стаканом молока. Привычка к простой деревенской пище сохранилась у него еще с детских лет.

В один из февральских дней 1923 года он сообщил Асе, что Нансен снова посылает его в Харьков.

— В Генштабе, однако, не испытывают восторга от моей новой командировки, — сказал он. — Но Нансен всех растормошил, всю Европу поднял на ноги. Снова голод на Украине и в Поволжье. Понимаешь, Нансен — великий человек, но делать всю практическую работу приходится мне, и именно я отвечал за всё, а вовсе не Нансен. Он идеалист. Он только указывает дорогу. А камни расчищать должен Видкун Квислинг, твой муженек.

— Твое имя сейчас знает весь мир.

— А Нобелевскую все же дали Нансену. Конечно, если над попом дождь, то и на пономаря капает. И мне эта слава не помешает. Тем более, что я хочу заняться политикой.

— Голодающим безразлично, кто им даст кусок хлеба — ты или Нансен. Главное — не умереть с голоду.

— Это общие слова, пропаганда. Кусок хлеба они должны добыть себе сами. Я хочу, чтобы ты научилась рассуждать. Ты полгода живешь в Норвегии... Вокруг тебя трудолюбивые мужественные люди, которые надеются только на свои силы. А что же сделали большевики со своим народом? Наиболее крепких и дееспособных выкорчевали из земли, перебили или сослали в Сибирь. А их угодья, которые были житницей всей Европы, отдали беднякам. Вроде бы справедливо, да? А те все пропили и ждут милостыни с протянутой рукой. От нас. Дикари!

Снова, после финской границы, за окном вагона потянулась нескончаемая вереница убогих русских деревень. Станци-

онные постройки с выбитыми окнами. Взорванные церквушки. Поваленные столбы. Они возвращались в нищую обездоленную Россию.

Приплюснув носик к холодному стеклу, Ася задавала себе один и тот же вопрос: «Почему?». Почему ее страна не может жить так, как малюсенькая Норвегия? С гирляндами цветов на подоконниках? С приветливыми улыбками на лицах? Почему на остановках тянут руки к окну несчастные женщины с закутанными в лохмотья младенцами? Боже, чем мой народ хуже других? За что ты так покарал нас?

В Москве они задержались на несколько дней. У Видкуна были срочные дела в дипломатической миссии. Остановились в том же отеле «Савой». Обедали в памятном им обоим ресторане, где когда-то мучительно долго сидели перед ждущей их первой брачной ночью.

На второй день Видкун неожиданно сказал Асе, что хочет показать ее профессору.

Она удивилась. Пробовала пошутить:

— Болит у меня или не болит, об этом известно в первую очередь тебе. Зачем мне профессор?

— Тебе ни в коем случае нельзя рожать в России. Профессор посмотрит, можно ли безболезненно и безопасно избавиться от плода.

— Избавиться... от плода? Видкун... что ты говоришь? Я рожу, и мы уедем в Норвегию.

— Нет, Ася. Я офицер и себе не принадлежу.

— Но я могу остаться бездетной.

— Значит, такова воля Бога.

— Не Бога, Видкун, а дьявола! Бог не может убить живое существо.

— Но тогда я дьявол. Да?

— Да, Видкун. Если хочешь лишить жизни своего малыша, имя тебе — дьявол!

Что было дальше, она помнила как в каком-то ужасном сне. Увезли. Сделали укол. В голове все кружилось, тошнота, мрак. Польшнуло пламя, пронзило как боль. И она увидела дьявола. С рогами и волосатыми лапами. На кого он похож,

старалась припомнить. Это чудовище с косыми хохочущими глазами она уже где-то видела. Где? Где? Развернулась страшная книга, которую показывал ей Юн Лоренц, ее свекор. Перевернулось несколько страниц. Она закричала. Морда чудовища обратилась в холодноглазое насмешливое лицо, до боли знакомое. Лицо Видкуна.

Очнувшись от анестезии, Ася услышала, будто издали, как сквозь вату, голос медсестры: ребенок был девочкой.

Могла ли она, встретившись с Марой в Харькове, рассказать ей всю правду? Она играла роль счастливой дамы, фру Квислинг.

22.

Из коричневой папки

В. Квислинг. «Россия и мы» (фрагменты)

«У России есть только один шанс не превратиться в восточную полуколонию наподобие Китая и Индии. Возможно, что в великом русском народе ещё сохранились не только отдельные таланты, но и целые массы ценных людей, которых революция не может уничтожить сразу в один день».

«Большевицкая власть не довольствовалась уничтожением 10 тысяч человек. Её удары были направлены против всех верхних слоёв русского общества. **Революция уничтожила русскую интеллигенцию** и среднее сословие, которое было основой всей страны. Одной из частей большевицкой политики была прямо — таки смена населения и уничтожение лучших людей. Подавляющая часть одарённых русских людей либо убита, либо предпочла уехать из страны. В той серой массе, которая наполняет сегодня русские улицы, театры и железные дороги, вы найдёте мало умных лиц. Это уже фабричный товар».

«Уже давно Россия не страдает от обилия умных голов. Сегодня мы спрашиваем, а не лишило ли революционное кровопускание страну возможности подниматься своими силами».

«Главное различие между коммунизмом и социал-демократией состоит во взгляде на претворение в жизнь социалистического общественного устройства; социал-демократия хочет проводить его мирными политическими и экономическими реформами; коммунизм, как он был сформулирован Марксом и Лениным, насилем, революцией и диктатурой пролетариата. Эта разница во мнениях по поводу методов борьбы образует глубокую пропасть между коммунистами и социал-демократами. Коммунисты, по сути, рассматривают социал-демократов как союзников буржуазии и почти как наихудшую преграду для осуществления социалистической революции, так как с их точки зрения социал-демократия представляет собой защитный вентиль, который предотвращает лопание капиталистического общества».

23.

— Ты не права, Асенька, — мягко, но упорно твердила Ирина Теодоровна, выслушав печальный рассказ дочери. — Тебе все завидуют. Повидала мир, замужем за таким известным человеком. Скажи спасибо судьбе.

— Не скажу.

— Не надо бодаться, милая. В каждой семье свои страсти — мордасти. Надо уметь прощать друг другу.

— У меня могла быть дочка, мама. Моя доченька. Ты это понимаешь?

— Как никто. Я потеряла пятерых, пока родила тебя.

— Прости, мамулька.

— И твой отец не заботился обо мне так, как Видкун.

Они сидели на скамеечке в парке крымского санатория — бывшего имения князя Голицына «Александрия». Была середина мая 1923 года. Роскошно цвела глициния, облепив каскадами серые стены бывшего княжеского замка. С гор доносилось прерывистое стрекотание цикад.

Путевку в санаторий «ЦеКУБУ» Видкун достал благодаря ходатайству самого Христиана Раковского, председателя правительства Украины.

— Тебе надо отдохнуть, дорогая, и хорошенько подлечиться, — сказал он. — Особенно оздоровить нервную систему. Она у тебя никуда не годится. Чуть что — слезы.

— Це-ку-бу — прочитала Ася напечатанный на плотной бумаге текст. — Что за название такое? Птица какая-то или... Ага, вот тут расшифровка. «Санаторий Центральной Комиссии по улучшению быта ученых им. Л. Н. Толстого». На два человека?

— Конечно. Для тебя и Ирины Теодоровны. Ты не рада?

— Спасибо, Видкун.

— Ведь ты родилась в Ялте? Вот и вспомните с мамой родные места. А вернешься здоровенькой и веселой. С улыбкой на лице. Да, вот еще ...У вас будет немало свободного времени, поспрашивайте у знакомых — может, у них есть какие-нибудь ценности — картины, изделия из золота или серебра... Многие аристократы, когда бежали от красных, бросали все на произвол судьбы. В том числе и подлинные произведения искусства. Ведь даже в пословице у вас говорится, что в старину знатные люди «ели на золоте и пили на серебре». Жаль, если эти бесценные сокровища пропадут. Мы должны их спасти для мировой цивилизации. Денег я дам, немного, правда. Поэтому надо будет очень сильно торговаться. Очень сильно. Если у человека нет денег на кусок хлеба, он обязательно уступит.

Холодные порывы ветра и начавшийся дождь заставили их поспешно скрыться в здании санатория. В столовой разносили вечерний чай. Со сладкими булочками из серой муки, присыпанными маком.

— Хочу сказать тебе, Ася...

Ирина Теодоровна замолчала. Обдумывала, как сообщить дочери о своем решении.

— Не осуждай меня, девочка. Я не поеду с тобой назад.

— Мама! Что ты такое говоришь?

— Останусь в Ялте. Да, да... посуди сама. Видкун тебя увезет, что мне делать в этом Харькове? Здесь у меня подруги. Буду жить с Лидией, все же веселее, чем одной.

— А если бы я не поехала с Видкуном?

— Неужели ты настолько глупа? Я не слышала этих слов. Запомни, что я тебе скажу. *Ты — этого — никогда — не сделаешь*, заклинаю тебя. Сама же говорила, что любишь его. Куда же она делась, любовь твоя?

— Он сложный человек. Я, конечно, благодарна ему за то, что он сделал для меня. Я знаю, чувствую, я у него единственная, а может быть, первая женщина. Но иногда... иногда мне кажется, мама, что я живу с дьяволом. Страшным и беспощадным. Который навалился на меня и хочет сожрать целиком. При нем я немая и бесправная, рабыня и все. Каждую ночь, слыша рядом его хрипкое дыхание, я испытываю страх. Боюсь его, мама, боюсь.

Через неделю Ирина Теодоровна провожала Асю на вокзале Севастополя. Носильщик нес за ними два тяжелых чемодана. В одном из них были купленные по дешевке старинные ценности. Из окна купе Ася глядела на маму. Та что — то кричала ей, размахивая руками, но Ася уже ничего не слышала. Зычно рывкнул гудок, и поезд стал отходить. Мама побежала рядом с вагоном, потом стала отставать, но еще бежала, обливаясь слезами. Поезд набирал скорость, и фигурка мамы постепенно растаяла в темноте. Больше Ася ее никогда не видела.

24.

На письмо из Китая Мария не ответила. Сперва хотела бросить его в камин, но потом передумала. Пусть полежит, кушать не просит. Видкун учил ее бережно относиться к каждой бумажке.

И раньше, при его жизни, и теперь, оставшись вдовой, она всегда, если представлялась надобность принять какое-нибудь непростое решение, мысленно советовалась с ним. Видела перед собой его ясные твердые глаза — он все знал, он подсказывал и не давал отступить.

Об их отношениях можно было сказать, что это был тот редкий случай, когда любовь вспыхивает еще до знакомства. Еще до самой любви. Когда Ася бездумно болтала о Вид-

куне, Мария, слушая, молчаливо примеряла ее рассказы на себя. Как платье или кофточку подруги. Оценивая, к лицу ли и как бы она это платье или кофточку носила. Женским недоверчивым чутьем она догадывалась, что майор, наигравшись с миниатюрной симпатичной девочкой, уже не испытывает к ней прежнего влечения. Легкомысленная, верткая Ася не могла надолго увлечь такого серьезного солидного человека. Ему нужна другая.

В коридорах «Помгола» они с Видкуном никогда не виделись — иностранцы работали наверху, на последнем этаже. Им категорически предписывалось не общаться с русскими. Дежуря на коммутаторе, Мара каждый вечер надеялась, что раздастся стук в дверь и зайдет майор Квислинг. С первой зарплаты купила себе модную блузку, следила за прической. Но чудо второй раз упорно не хотело повторяться — на то оно и чудо.

И все же однажды майор очутился на первом этаже, вблизи коммутатора. Мара как раз шла от референта с текстом телефонограммы. Увидела его, все в ней встрепенулось, но, не подав виду, она достойно и гордо прошла мимо в свою каморку. В осколке зеркала, уже у себя, увидела свое лицо: черные, огромные от неожиданной встречи глаза, матовую смуглость щек, четко очерченные пунцовые губы. Она могла бы чем угодно поклясться, что майор поглядел ей вслед долгим примечающим взглядом. Она просто чувствовала на себе его глаза.

Но в ближайшие за этим дни ничего особенного не последовало. В комнатах «Помгола» царил суматоха. Ожидали приезда Нансена. А с ним — сопровождающих лиц, корреспондентов. Украинское правительство решило дать банкет в честь знатных иностранных гостей.

За пару дней до банкета секретарша «Помгола» позвонила на коммутатор и приказала Маре подняться на пятый этаж в комнату 27. Трепеща сердцем, Мара поднялась наверх, сидевший на входе вахтер пропустил ее, у массивной дубовой двери она перевела дыхание и тихо постучала.

Предчувствие ее не обмануло, это был кабинет майора Квислинга. Он вышел из-за стола ей навстречу, протянул руку и, любезно поздоровавшись, указал на стоящее у стола кожаное кресло. Несколько минут ушло на расспросы: кто она, где училась, давно ли здесь работает, кто родители. Толстые его пальцы с массивным бирюзовым перстнем барабанили по зеленому сукну.

— Хочу попросить вас, Мария, о небольшой услуге, — сказал он. — В честь приезда господина Нансена в вашем Оперном театре будет дан банкет. Я бы вас попросил принять участие в организации этого мероприятия. Проследить, чтобы не было каких-либо глупостей и просчетов. Например, воровства... И вообще посидеть с нами за столом. Такая красивая русская девушка, как вы, была бы его украшением.

Все-таки чудо может повториться дважды!

Мария была захвачена своей новой ролью. Перед банкетом Квислинг представил ее как свое доверенное лицо. Она давала распоряжения буфетчикам, следила за сервировкой стола, гоняла уборщиц. Не хватало стульев, не все скатерти были свежими. Ей приходилось на ходу выпутываться, чтобы не допустить оплошности. На бегу встретила глазами с майором. Он дружески подмигнул и подошел к ней.

— Будете сидеть за столом рядом со мной. Моя жена сейчас в отъезде, лечится в Крыму. А без дамы не принято. Хорошо?

Банкет проходил в фойе театра, обрамленном колоннами в стиле ампир. Нансен сидел в центре длинного стола, рядом с ним — первый заместитель председателя украинского правительства — в полувоенном защитном френче, с орденом Красной звезды на груди. Он же руководил столом. Тосты следовали один за другим. За Нансена, за полученную им недавно Нобелевскую премию, за норвежский народ, за майора Квислинга, за всех, чей труд спас сотни тысяч голодающих России и Украины.

Легендарный человек, Фритьоф Нансен, казался Маре старым и уставшим. Седые висячие усы и отеки под глазами усиливали это впечатление. Не верилось, что этот отчаянный

норвежец когда-то прорывался, как рассказывала ей Ася, на лыжах к Северному полюсу, замерзал в землянке из моржовых шкур, выдерживал холод, от которого гибли даже тренированные самоедские лайки.

Произносились речи, Видкун переводил. Все ждали, что скажет Нансен. Наконец человек-миф встал, обвел глазами весь огромный, замерший в тишине стол, и сказал неожиданно звонким молодым голосом:

— Дорогие друзья, я ничего не понимаю по-русски, но свою фамилию на любом языке я уловить могу. Нансен, Нансен, Нансен! Как — будто этот Нансен один помогал вам бороться с голодом. Нет! Как говорится в пословице, одна ласточка не делает весны. Нас были тысячи, одни доставали деньги, другие приобретали продукты и медикаменты, третьи грузили их на пароходы и везли вам. Сообщество людей не могло равнодушно взирать на то, как гибнут люди, миллионы людей. В Поволжье и Украине я ходил по вымершим избам и всюду встречал одно и то же зрелище — покойники и умирающие. Страшнее всего было видеть оборванных, беспомощных детей, подчас совсем раздетых, настоящие скелеты со вздутыми животами и старческими личиками... И эти огромные молящие детские глаза. ...Не буду говорить сейчас, сколько тысяч людей нам удалось спасти от голодной смерти. Сегодня мы можем с уверенностью сказать — голод отступил, у вас есть виды на хороший урожай. И, если сделать выводы из недавней трагедии, можно надеяться, что народ Советской России навсегда исключит из своего лексикона слово «голод». У вас богатая плодородная земля. Она должна кормить миллионы. Вы в состоянии обойтись без всякой посторонней помощи. Нужно только умело хозяйствовать на этой земле. Механизировать крестьянский труд, применять новейшие методы сельского хозяйства. Я решил часть присужденной мне Нобелевской премии отдать на строительство двух показательных сельскохозяйственных станций, а потом их опыт использовать по всей стране.

— То есть дать голодному человеку не рыбу, а удочку, чтобы он эту рыбу поймал, — добавил зампред правительства.

За это выпили, но, как водится, тут же эти слова забыли. Пир продолжался. Рюмок на столе не было, граненые стаканы наливали до краев, иностранцы вскоре одурели от крепких напитков и сизого табачного смрада. Заедали в основном картошкой в мундирах, которую непрерывно подносили из буфета, и шоколадом.

Вскоре Нансен, сославшись на недомогание, ушел. Около двенадцати начали расходиться и остальные. Обслуга стала собирать грязную посуду, драить полы. Видкун шепнул Маре:

— Пойдемте, Мария, мы свое дело сделали.

Ночь была теплая, звездная. Он предложил проводить ее домой. Они шли вдоль реки. Квакали, переключаясь, лягушки.

— Как у нас за столом, — рассмеялся Видкун. — Гул такой стоял, что мне трудно было переводить. Все хотели говорить хором, абсолютный беспорядок. А как некрасиво вели себя за столом. Ладно, русских еще можно извинить, они просто ничего не знают о приличных манерах. Но американцы! Один держал вилку правой рукой, какой стыд! А другой подцепил горячую картофелину и принялся дуть. И это на правительственном приеме! Но буфетчицы под твоим руководством работали, как слаженный оркестр. Молодец! Ты достойна того, чтобы тебя поцеловать за это.

Они остановились, и Видкун торжественно и крепко прижался к ней губами. Он был здорово навеселе.

— Может быть, зайдём ко мне? — нерешительно спросил он.

Мара приняла его предложение. И после этой ночи, пьяной, загульной, неожиданно закончившейся в его квартире, Мара поняла: майор Квислинг полностью в ее власти.

25.

Вместо ответа от Марии Квислинг, в Циндао с дипломатической почтой пришла депеша о неполном служебном соответствии почетного консула Жоржа Юрьева. Это означало, что в Париже им недовольны и ждут отставки. Было ли это связа-

но с прошлым Аси или с другими обстоятельствами, ни она, ни Жорж не знали.

На удивление, сам консул принял это известие спокойно, даже с некоторой, присущей ему иронией:

— Министр Шуман, видно, здорово соскучился по мне. Мечтаю его порадовать. Собирайся, дорогая.

— Но чем ты будешь заниматься в Париже?

— Я же архитектор. Перестрою Нотр-Дам в стиле «модерн». Или отгрохаю башню выше Эйфелевой. Что, разве мало дел?

— Я серьезно, Жорж. Чувствую, эти неприятности из-за меня.

— Выбрось из головы. Мне действительно порядком надоело здесь, в Китае.

— Тень Квислинга будет преследовать нас и там.

— Ты все-таки думаешь, что твоя соперница сподличала?

— Уверена.

Коварство Марии, ставшей любовницей ее мужа, простодушная Ася сперва даже не замечала. Приехав из Крыма, она часто виделась с Марой. Та запросто приходила к ней домой, с удовольствием пила кофе с имбирным печеньем и выслушивала болтовню Аси.

— Видкун сказал, что не позже, чем через месяц уедем домой, — сообщила Ася в начале августа.

— На Украине ожидается неплохой урожай, я это слышала на банкете в честь Нансена, — сказала Мария, наблюдая сквозь полуопущенные ресницы за лицом Аси. Но та не насторожилась, ее не удивило, каким образом телефонистка могла попасть на банкет. Доверчивая, во всем откровенная, Ася не заподозрила в этих словах никакого намека на коварную и вероломную игру за своей спиной. Даже тогда, когда муж сказал ей:

— У тебя много работы по сборам, я пришлю тебе в помощь девушку, которая работает вместо тебя на коммутаторе. Очень славная и добросовестная. Она дежурит в основном по вечерам. А днем может тебе помочь.

И опять-таки Александра не сделала стойку, не насторожилась, как могла стать известной ее мужу добросовестность девушки с коммутатора. Наоборот, она обрадовалась, что теперь может принимать подругу легально. И есть с кем отвести душу до прихода мужа.

Вещей было не так много. Основная забота была с теми ценностями, которые Ася привезла из Крыма. Особенно порадовали Квислинга норвежский пейзаж Коровина и две прелестные головки Венецианова. Ценным был, на его взгляд, серебряный столовый прибор с гербом Нарышкиных, а старинной работы каминные часы восхищали его своим боем. Все это, а также серьги, кольца, портсигары и прочее надо было тщательно упаковать, изделия из фарфора обернуть в бумагу и обшить все пакеты суровой ниткой.

12 сентября 1923 года чета Квислингов уезжала из Харькова. Несмотря на холодный морозящий дождь, проститься пришло много асиных друзей, сотрудники «Помгола». Все было торжественно, играл даже небольшой духовой оркестрик. Мама, мамочка, где ты сейчас? Как жаль, что я не могу с тобой проститься?

Накинув на плечи свою заграничную кожаную куртку, Ася стояла у окна международного спального вагона. Окно было наполовину открыто. Она махала рукой, улыбалась, хотя сердце сжималось и наворачивались слезы. Несколько деревенских баб, стоящих поблизости, недобро пялились на нее. Одна из них сказала во всеуслышание:

— Наверняка чекистка — эти свиньи всегда ходят в кожанках!

Это были последние слова, которые она слышала в родном городе. Она уезжала навсегда.

26.

Поезд тащился черепашьям шагом, подолгу выстаивал на остановках, у водокачек и куч угля. Когда польские названия на станционных зданиях сменились немецкими, Ася удивилась:

— Как мы едем? Почему не прямо?

— Так надо, — сухо ответил Видкун, не отрываясь от газеты, только что купленной у проводника.

— Левой рукой через правое ухо? — улыбнулась Ася. — Так это называется по-русски.

— Ох, Ася, дай мне уже опомниться от всего русского. Осточертело! Мы в Европе, прошу не забывать об этом. Хотя и здесь не сладко. Кризис, инфляция. Двухстраничная газетенка, смотри, стоит пятнадцать миллионов марок! Раньше за такие деньги можно было купить замок. Какой ужас, что будет с Германией? А почему? Здесь тоже баламутят красные. Неужели немцы не видят, что стало с Россией? Нет, нужен общий фронт борьбы с коммунистами.

Это был сейчас его любимый «конек». Он говорил продуманными, без запинок, железными фразами. Ася не прислушивалась к его словам, безразлично и отрешенно глядела в окно. Видкун заметил это.

— Тебе неинтересно. А знаешь, почему? Ты не образована, деточка. Что могло сойти в вашем убогом Харькове, здесь не имеет никакой цены. Поэтому тебе трудно меня понять. Я решил, что тебе необходимо получить университетское образование. Но до этого ты должна окончить пансион для девушек из хороших семей. В Париже или Швейцарии.

— Я не против, Видкун. Но почему я не могу учиться дома, в Христиании?

Он поглядел на нее холодными синими глазами:

— Потому что я хочу развестись с тобой.

Он произнес это самым обыденным тоном.

— Как развестись? Ты шутишь.

— Пойми, ты слишком юная для меня. Других причин нет. Придет время, и ты увидишь, что развод — лучший выход.

На ее щеки вытекли горькие слезы.

— Но, когда ты на мне женился, я не была для тебя слишком юной?

Он не отвечал. Снова уткнулся в газетный листок. Разговор был окончен.

Даже не пытался успокоить меня. Или хотя бы предложить стакан воды. В его полной безмятежности было что-то бесчеловечное.

К вечеру поезд прибыл в Париж. В город, где ей предстояло прожить долгих шесть лет. Видкун заранее снял комнату для Аси в пансионе мадам Глэз. Чувствовалось, что всю затею он продумал, как штабную операцию, во всех деталях. На следующий день он уехал по вызову Нансена на Балканы. Кофры с крымскими ценностями забрал с собой.

— Я буду заботиться о тебе, не волнуйся, — пообещал он ей на прощание.

Двадцать пять долларов на ее расходы были оставлены на буфете.

Ася лежала в оцепенении почти сутки. Свернувшись калачиком, с головой укрывшись клетчатым шерстяным пледом. Без движения. Без всхлипов и уже без слез. Все выплакалось там, в Москве, когда она лишилась своей девочки.

Мадам Глэз несколько раз заглядывала к ней, но не будила. На следующее утро она принесла чашечку кофе и круасан.

Ася уже не спала. Мадам Глэз помогла ей умыться. Это была небольшого роста старушка с короткими седыми волосами голубоватого оттенка. Ее милое добродушное лицо с розовыми щечками всегда улыбалось.

— Вижу, моя маленькая, как вы устали после такой дороги. Шутка ли, из самой России, это ведь так мучительно. Здесь много русских, которые бежали после революции. Думаю, со временем вы познакомитесь с ними и вам не будет так скучно, пока ваш муж в отъезде. Мадам Глэз вышла вместе с Асей, чтобы показать новой жилище окрестности. Пансион находился на бульваре Распай.

— Мы с вами в самом центре Парижа, — объясняла мадам Глэз, с видимым удовольствием исполняя роль гида. — Здесь неподалеку жил великий Бальзак. Этот памятник ему создал другой гений — Огюст Роден. Отсюда начинается бульвар Монпарнас. Слышали, надеюсь? Давным давно здесь существовала земляная насыпь. Сюда приходили студенты декламировать стихи. Они и прозвали этот холм Парнасом. Так на-

звалась гора, где согласно древнегреческим мифам обитали музы.

Прогулка с мадам Глэз вывела Асю из ступора. Она ощутила себя крохотной частичкой этого вечного города. Надо впитать в себя его историю, его великую культуру. Не все так плохо, как ей представлялось в первый день. Нет, надо быть благодарной судьбе, которая мановением своего перста перебросила ее сюда, в центр мировой цивилизации. Видкун обещал приезжать, заботиться о ней. Может быть, все наладится, он забудет свои жестокие обидные слова. Впервые за несколько лет она остановилась перед трюмо в вестибюле пансионата и улыбнулась самой себе.

27.

Из Циндао до Марсея чета Юрьевых добиралась долгим морским путем. В Париже первое время Жорж и Ася жили в дядюшкином особняке на улице Риволи. Потом, по его же протекции, сняли небольшую квартирку поблизости, на улице Сент-Антуан.

— Жилье временное, — предупредил Жорж, — поэтому особенно не благоустраивайся.

На полках купленного по случаю стеллажа он разложил свои альбомы с древними китайскими монетами, расставил фигурки Будды из бронзы и камня и прочие раритеты. «Хотей», смеющийся Будда черного дерева, приносящий благополучие дому, занял почетное место на тумбочке в спальне.

Александр не терпелось вырваться на парижские улицы. Пройтись по залитым огнями большим бульварам, постоять на набережной Сены, потолкаться в шумной разноязыкой толкучке в Галерее Лафайет. Но прежде всего они с Жоржем пошли на бульвар Распай. Ася с дрожью в сердце подошла к потемневшему от времени дому с облупившейся штукатуркой и давно не крашеными окнами. Пансион по-прежнему принимал жильцов, о чем свидетельствовало объявление при входе. Но вместо улыбчивой мадам Глэз их встретила новая хозяйка, сухая, средних лет женщина в больших роговых оч-

ках. Правда, когда Ася объяснила ей, что жила здесь более двадцати лет тому назад, хозяйка оттаяла, она оказалась племянницей недавно скончавшейся мадам Глэз. По просьбе Аси она привела гостей в ту комнату, где та когда-то жила. К счастью, она оказалась не занятой.

— Каждый день я надеялась, что появится Видкун и заберет меня, — рассказывала Ася мужу. — Однажды ночью, я крепко спала под снотворным, вот здесь, на этом диванчике, как вдруг хлопнула входная дверь, послышались чьи-то голоса, шум, кто-то бесцеремонно открыл мою дверь. Чей-то знакомый голос позвал меня по имени. Я включила ночник и — о Боже! — передо мной стояла Мара Пасечникова!

Сон мигом отлетел. Я ничего еще не понимала. Сварила на спиртовке кофе. Мара была оживленна, разговорчива, Ася ее никогда раньше не видела такой веселой и уверенной в себе. Видкун ждал ее в Софии, где миссия Нансена помогала армянским беженцам. Мара везла ему важные документы из Харькова. Мне сразу же показалось подозрительным, что какая-то телефонистка, рядовая сотрудница ликвидированного «Помгола», выполняет такую важную дипломатическую миссию. Кроме того, она чувствовала себя уязвленной: ведь это Мара, а не она, вскоре увидит ее мужа и будет ему помогать. Мара сказала, что будет секретарем в его миссии на Балканах. Говорила свысока, деловым, официальным тоном.

— Майор приказал мне ехать на Восточном экспрессе из Парижа через Швейцарию, — сказала Мара, — так проще миновать пограничный контроль. Пока же я поживу в Париже, у тебя. Можно? Знаешь, что сказал мне твой муж? «Я очень надеюсь, что вы с Асей станете добрыми друзьями. Не забывай, что ты, Мария, старше ее и ты взрослая женщина. Она — дитя. Будь к ней добра и снисходительна. Она — хорошая, у нее золотое сердце». Видишь, как он ценит тебя.

Эти слова должны были смягчить удар, усыпить асину бдительность, но это она осознала впоследствии. Тогда не понимала, что оказалась под полным контролем Марии. Поселившись у Аси, та следила за ее перепиской, за каждым шагом. Но все же Ася была довольна тем, что есть с кем побол-

тать, пошататься по улицам и магазинам. Кстати, денежки у Мары были, но она тратила их весьма расчетливо. Впоследствии Ася узнала, что она получила в Париже перевод от Квислинга на 1000 норвежских крон; половина этой суммы причиталась Асе. Но никаких денег Мара ей не дала.

Не изменившаяся за эти годы обстановка комнаты вызывала в асиной памяти новые и новые воспоминания.

— И вот настал день ее отъезда, — рассказывала она Жоржу. — Я буду помнить его всегда. С утра Маре принесли телеграмму. Мне было интересно — от кого? Но она ничего не сказала, положила в сумочку и стала собирать чемодан. По тому, как она повеселела, как засияли ее обычно спрятанные за ресницами глаза, я поняла, от кого телеграмма, но не подала виду. Мы обнялись.

— Передавай привет Видкуну, — сказала я.

— Ты скоро увидишь его, не скучай, — ответила Мара, загадочно улыбнувшись. — Мы через месяц приедем в Париж, он и я.

— Он и ты? — переспросила я. — Вдвоем?

— Конечно. А ты что, ничего не поняла? — Она сделала паузу и сказала победно и гордо. — Мы с ним муж и жена. Я фру Квислинг!

— Ты врешь! — крикнула я, схватившись за спинку стула, чтобы не упасть.

— Нет, Ася, я не вру.

Мара сказала это жестоким спокойным тоном и тут же, порывшись в сумочке, вынула небольшую картонную книжечку, похожую на паспорт. Развернула, не выпуская из рук. Буквы дрожали перед моими глазами. Там было написано: *«Предъявительница сей карточки норвежская подданная г-жа Мэри Квислинг и владеет норвежским дипломатическим паспортом»*. И еще какие — то слова, не помню... За Фритьофа Нансена расписался никто иной как сам Квислинг, я узнала его почерк. К удостоверению прилагалось письмо заместителя председателя Совнаркома Украинской республики с указанием всем агентам ГПУ и другим органам власти оказывать содействие супруге майора Квислинга.

— Она была агентом ЧК, — сказал Жорж, выслушав Асю.

— Может быть. Но в тот момент я думала совсем о другом. Я была потрясена до глубины души. Не столько коварством Мары, сколько вероломством Видкуна. Как мог такой принципиальный человек, как он, вступить в брак с другой женщиной, даже не начав разводиться со мной?

Пришла горничная и позвала меня за табльдот — все постояльцы уже собрались, не хватало только меня. Я просила извиниться: мол, болит голова, и не хочется есть. Я чувствовала, что во мне сломалась какая-то жизненно важная пружина. Я металась по этой комнате в отчаянии и слезах. Даже не заметила, как ушла Мара. Офицер, сын пастора, думала я, а на самом деле подлый двоеженец! Дьявол, исцарапавший мою душу своими кровавыми когтями! Погубил моего ребеночка, мою доченьку, я одна, одна! Зачем жить? В полном отчаянии, не понимая, что делаю, я механически, точно сомнамбула, открыла свой новый несесер. Вытащила бритву и полоснула по венам обеих рук.

28.

Став любовницей Видкуна Квислинга, замкнутая и скрытная Мария не стеснялась ночью становиться жаркой, раскрепощенной и ненасытной. Он подхватывал ее чувственный порыв, мигом снимавший дневную усталость. А сама Мара была горда тем, что пробудила в этом холодном и не молодом уже северянине юношескую страсть, которую, по-видимому, не могла вызвать маленькая застенчивая Ася.

Чем ближе становился приезд законной жены из Крыма, тем сладостнее пролетали эти пламенные запретные встречи. Часы, потом минуты... Однажды, когда Видкун сообщил ей о закрытии «Помгола» и последующем отъезде, Мара задала ему прямой и, как он понимал, неминуемый вопрос:

— А что будет со мной?

Он ответил не задумываясь:

— Я вывезу тебя из России. Ты будешь со мной. Больше ни о чем не спрашивай, доверься мне.

17 сентября, на перроне Харьковского вокзала, провожая Асю и Видкуна, Мара выглядела спокойно, без всяких следов волнения на лице. В сумочке у нее лежало удостоверение Лиги Наций на имя Мэри Квислинг, жены майора Квислинга, открывающее ей дорогу в Европу. Наилучшее подтверждение твердости его слов. С первых дней знакомства и до последнего своего часа он ни в чем никогда не солгал ей. Она верила ему, и это в течение многих лет питало их любовь.

Из Болгарии они приехали в Париж вдвоем. Видкун хотел остановиться в пансионе мадам Глэз, там, где жила Ася. Но Маре удалось отговорить его: жить рядом с поверженной соперницей она не желала. Видкун снял недорогой двухкомнатный номер в гостинице у Лионского вокзала. На следующий день после приезда он отправился на бульвар Распай. Мадам Глэз встретила его радушно, но когда майор пытался расспросить ее об Асе, старушка, как и было договорено, отделялась общими фразами. Ни о попытке суицида, ни о том, как она выводила Асю из депрессии, она не сказала ни слова.

— Ты выглядишь превосходно, — сказал Видкун, прикоснувшись щекой к прохладной щеке жены. — Парижский воздух тебе на пользу.

После всего пережитого, после всех проклятий в адрес Видкуна, Ася часто спрашивала себя: как я буду вести себя при встрече с ним? С тем, кто растоптал мою жизнь, выбросил как ненужную тряпку. Ей казалось, что, увидев его, не сумеет сдержать себя: расцарапает самодовольное холодное лицо или бросит чем-нибудь в голову. Но сейчас... Она снова была кроликом перед безжалостными глазами удава. Забытый мужской запах лосьона ударил ей в нос. Ей хотелось сказать: «Уйди из комнаты и из моей жизни». Но он уже говорил. Короткими жесткими фразами, будто отдавал приказ солдатам. И остановить, прервать его она уже не могла.

— Сейчас мы захватим Мару и поедem в посольство Норвегии. Там нас разведут в соответствии с законом. Заграницей эта процедура проще, чем в Норвегии. И мы с Марой официально оформим брак. Тогда я смогу вписать ее в свой паспорт и ездить вместе с ней. Я объясню в посольстве, что брак с то-

бой был заключен с целью вывезти тебя из Советской России, спасти от голода. Ты была предупреждена об этом и дала мне согласие на фиктивный брак. Если посол тебя спросит, подтвердишь, что согласна на развод. Ты поняла? Я буду заботиться о тебе, как о своей дочери.

— У меня нет выбора. Я сделаю все, как ты скажешь, — тихо сказала Александра.

В посольство они явились втроем. Посол, не выказав удивления, принял их с любезной дипломатической улыбкой. Видкун и Мара сели рядом, Ася с другой стороны письменного стола. Слабое зимнее солнце падало на их лица. Электрический свет в дневное время старались не включать в целях послевоенной экономии. Поэтому посол, сидящий на фоне норвежского флага, спиной к окну, оставался в темноте.

Мужчины заговорили друг с другом по-норвежски. Ни Ася, ни Мара не понимали, о чем речь, но слышали, что разговор идет на повышенных тонах. После этого посол обратился к Асе по-французски:

— Можете ли вы, мадам, сказать мне откровенно, почему вы хотите развестись со своим мужем?

— Она полностью согласна на развод, господин посол, — поспешно вмешался Видкун.

— Извините, майор. Я хочу выслушать мнение вашей жены.

Ася молчала, опустив голову. Она чувствовала на себе внимательный взгляд посла.

— Я удочерю ее, дам образование. Что же ты молчишь, Ася? — сказал Видкун по-русски.

— Не хочет она удочеряться, майор. Вам в военном училище преподавали психологию? Нет? А вот нас, извините, учили. Ответ вашей супруги написан на ее лице. Не могу я оформить развод. Нечистое дело. Не могу. По норвежским законам мадам Александра Квислинг остается вашей женой, а если вы действительно вступили в новый брак, вас надлежит привлечь к ответственности за двоеженство. И скажу в заключение: я шокирован тем, что вы посмели привести сюда вместе с вашей женой другую женщину.

Это была маленькая победа над Видкуном. Но зачем она ей? Разве только для того, чтобы позлить его. Он был в ярости, еле сдерживал себя. Не мог он смириться, если ломались его планы.

Они вышли из посольства и молча разошлись в разные стороны.

Мара видела: самолюбию Видкуна нанесен неожиданный удар. Вернувшись в номер отеля, оба некоторое время молчали. Видкун ходил из угла в угол. Мара вынула из холодильника бутылку шампанского. Поставила на стол два бокала, улыбнулась:

— У русских пьют и в радости, и в горе. А это горе не беда. Мы с тобой вместе, это главное. И я тебя буду любить всегда, даже без разрешения посольства! А она как собачка на сене, пусть пососет лапку. Никак не хочет понять, что я твоя жена перед Богом и людьми. Открывай бутылку, Видкун. За нас!

Через день они выехали в Норвегию.

29.

Ася и Жорж вышли из пансиона и медленно пошли по улице Сиде к станции метро Вавен. Обогнули небольшую площадь, где всюду кипел огромный, играющий всеми красками уличный рынок. Надрывно зазывали к своим прилавкам продавцы скоропортящихся продуктов — фруктов и овощей. Солидно поджидали покупателей мясники с колбасами и окороками. Суетились разноголосые торговцы морепродуктами.

Ася остановилась, потащила Жоржа по рядам.

— Вечерами, когда утихала торговля, я ходила среди опустевших прилавков, зорко вглядываясь в асфальт. То пару томатов найду, то закатившуюся картофелину. При мне была открытая плетеная сумочка, настолько элегантная, что никому, наверное, не могло прийти в голову, что ее владелица самая настоящая побирушка. Я нагибалась и поднимала свой трофей так грациозно, с такой обворожительной улыбкой, будто только что обронила.

— Неужели этот мерзавец ничего не посылал тебе на жизнь? — спросил Жорж.

— Он оплачивал только жилье. И то неаккуратно. После того, как я пыталась порезать себе вены, за мной ухаживали, как за ребенком. Особенно заботилась одна из наших пансионеров, немолодая дама польского происхождения, пани Ядвига. Она знала весь Париж, в бесплатные дни водила меня по музеям. Ядвига тоже нуждалась, и я скрепя сердце написала Видкуну, не может ли он нанять ее за скромную плату в качестве *date de compagnie* — компаньонки. На удивление, он дал согласие, но ни разу не перевел ей, как я узнала позже, ни сантима. Вдвоем мы одалживали друг у друга — то на метро, то на зубную пасту. Ты понимаешь, что такое жить в Париже без гроша в кармане?

— Извини меня, нет. Не понимаю. Я бы повесился.

Ася протянула ему обе руки и показала синие полоски на запястьях.

— Эти шрамики спасали меня. Напоминали. И удерживали. Ведь жить все-таки лучше, как ни говори. Хотя на каждом шагу я испытывала унижение и позор.

Они миновали рынок и пошли к станции метро.

— Однажды я по пути зашла в сад Тюильри. Хотела присесть, ведь я тогда еле держалась на ногах. Но скамеечки были заняты — там сидели рантье и бонны с детьми. Свободных мест не было. Вдруг я увидела стоявший в тени стул. Села, блаженно вытянула уставшие ноги. Но не прошло и пяти минут, как ко мне подошла женщина и потребовала платы.

Жорж засмеялся:

— А, ты не знала, что эти стулья сдаются напрокат!

— Ну да. Женщина раскричалась, стала стыдить меня. А у меня даже кошелек при себе не было. Я сняла с пальца обручальное кольцо с бриллиантом и протянула ей. Она испугалась взять такую дорогую вещь. «Русская?» — спросила она. Я кивнула. «Ладно, не плачь, иди с Богом».

— Не понимаю, почему ты не вернулась в СССР. Там осталась мать, твои близкие. Наверное, этот вариант приходил тебе в голову.

- Приходил.
- В чем же дело?
- Один человек не посоветовал.
- Интересно, кто?
- Маяковский, — сказала она после паузы.
- Маяковский? — удивленно переспросил Жорж. — Советский поэт?

— Он самый, Владимир Владимирович. Моя компаньонка Ядвига была без ума от него, знала его лично. Когда он приехал в Париж, затащила меня в кафе «Вольтер» на площади Одеон, где он читал свои стихи. Про новую жизнь, без царя и попов. Могучий, сильный, рубит воздух ручищами. Обаяние невероятное. Ядвига пригласила его к нашему столу.

— Давно из России? — спросил он меня, перебросив папироску в другой угол плотно сжатых губ. — С беляками приехала?

Я молчала, не зная, как ему ответить.

— Коль не с беляками, айда к нам. Дел навалом, и для тебя найдется. Только подумай прежде, девочка. Чтобы не жалеть. Кое-чего у нас нетути. И, наверное, никогда не будет. Поняла?

30.

Поездку к родителям долгое время откладывали. Видкун ссылался на болезнь отца. Юн Лауритц, действительно, недавно перенес тяжелейший инфаркт, с трудом передвигался по дому. Но на самом деле, как сразу же поняла Мара, когда они все-таки приехали в Фюресдаль, было резко отрицательное отношение родителей к новой жене сына.

Мара старалась использовать все свое обаяние, чтобы расположить старика к себе. Приготовила украинские вареники, которые вызвали его восхищение. Подолгу сидела у его кровати, выслушивая и якобы понимая его слова. Однажды к ним подсел и Видкун. О чем он говорил с отцом, Мара догадывалась. Речь шла, конечно, о ней. Видкун пытался склонить отца на свою сторону, с нежностью смотрел на нее. Но старый пастор был хмур, резок и даже отвернулся к стене, не желая про-

должать разговор. Видкун вспыхнул, наскоро попрощался с ним и матерью и, несмотря на ее уговоры остаться еще на парочку дней, они в тот же вечер уехали.

— О чем вы спорили? — спросила Мара, едва они отъехали от дома.

— Не о тебе, успокойся, — сказал он, не отрывая глаз от дороги. — Родители ничего против тебя не имеют. Их заботит только судьба Аси. Видимо, она сумела покорить их добрые сердца. Я пытался убедить его, что у нас троих великолепные отношения... Что обе женщины подружки, и у них...

— Ты сказал отцу неправду, Видкун.

— Сказал, как должно быть. Иначе в глазах общества я буду считаться двоеженцем. А с такой репутацией можно пасти овец, а не делать политическую карьеру. Я спас девочку от гибели, как иначе я мог вытащить ее из России? Это, если хочешь знать, мой самый бескорыстный поступок за всю жизнь. И как же истолковали его близкие мне люди? Как бы то ни было, несмотря на сложности и горечь, я буду по-прежнему делать все, чтобы Александре было обеспечено достойное будущее. Я хочу ее удочерить.

— Она свою родную мамку кинула. Как же я стану ей матерью?

— Если любишь меня, станешь.

Она наклонила голову.

— Мне безразлично, Видкун, как думают о наших отношениях другие. Буду кем прикажешь: женой, любовницей или подругой. И матерью твоей первой жены — меня ничего не страшит.

— Ценю тебя, Мария, за искренность.

— *«Не та прекрасна, что красива, а та, которая правдива».*

Так у нас говорят.

— Снова русская пословица? Сколько их у вас! — рассмеялся он. — Ты забыла упомянуть еще одну должность при мне — верного помощника в моих делах. Кстати, ты закончила разборку «крымского чемодана? Поторопись, дорогая. У меня есть хороший покупатель.

Вскоре их дом посетил невзрачный господин в рыжем пиджаке с живыми бегающими глазами.

— Магнус Ланг, ювелир и коллекционер, — представился он. — Мы с вашим супругом договорились, что я сегодня познакомлюсь с кое-какими вещичками.

Мара провела его в ту комнату, где стоял раскрытый чемодан с холстами, привезенными Асей из Крыма. На журнальном столике были заранее выставлены изделия из серебра и бронзы. В японской шкатулке, инкрустированной перламутром, которую Мара достала из сейфа, лежали украшения из золота и драгоценных камней.

Коллекционер вооружился налобной лупой и стал тщательно рассматривать каждое изделие. Прежде всего, он запустил свои крючковатые пальцы в шкатулку, подолгу держал на ладони каждый предмет — кольца, серьги, колье — и что-то записывал карандашом в маленьком с ключиком блокноте. Серебро и бронзу осмотрел бегло и отобрал только серебряную супницу с гербом Нарышкиных. Дольше всего он занимался холстами, рассматривая подписи художников и даты. К трем часам, когда Мара уже теряла терпение, Магнус закончил работу, отложил отобранное на большой обеденный стол и, сняв со лба лупу, сказал скучным голосом:

— Меня могут заинтересовать эти 19 предметов. Если мы с майором сойдемся в цене, я их заберу. Больше ничего интересного вы не вывезли из России?

Он пробежался быстрыми прыгающими глазами по стенам, увешанным картинами старых мастеров.

— Нет, нет, — поспешила Мара на их защиту, — это наши.

— Вот этого Ван Дейка я бы приобрел. И морской пейзаж чудо как хорош. Может быть, добавим сюда? — Он показал взглядом на стол. — Я поговорю с майором.

Магнус загадочно улыбнулся, положил блокнотик в карман рыжего пиджака и удалился. Вечером, когда пришел Видкун, она подозвала его к столу с отобранными предметами. Он бегло посмотрел их и равнодушно махнул рукой.

— Пускай забирает. Только мы еще в цене не сошлись. За каждую крону торгуется, а я уступать не хочу.

— Противный тип.

— По всей видимости, еврейчик.

— Ему понравились еще два холста. Твои любимые. Ван Дейк и «Закат на море». Я сказала: «Не продается».

— Он мне звонил, я знаю.

Видкун посмотрел на Ван Дейка.

— Давай продадим, Мара, нужны деньги.

— Будешь жалеть.

— За Ван Дейка я с него три шкуры сдеру.

— Зачем тебе понадобились деньги?

— В политике нищим нечего делать. А я хочу создать партию. Это требует больших средств.

К концу недели Видкун позвонил Маре, что они с Магнусом сторговались. Коллекционер приехал с помощником, выложил на стол несколько пачек денег в банковских упаковках и, закатив глаза, произнес с театральной возмущенностью:

— Боже, боже, облапошили меня, дурака.

Пока Мара пересчитывала деньги, помощник ловко запаковал купленные предметы и снял со стены картины. Когда они ушли, она поспешно завесила пустые места другими холстами.

Придя домой, Видкун пересчитал деньги и спрятал их в стенной сейф. Настроение у него было приподнятое. Ужинали с бутылкой «Кьянти». Граммофон играл увертюру к «Волшебной флейте» Моцарта.

А через несколько недель разразился неожиданный скандал. Мара никогда не видела Видкуна таким разъяренным. Он прибежал взъерошенный, с красным от волнения лицом:

— Сволочи! Жиды проклятые! Посмотри, что тут написано!

Он выхватил из портфеля скомканный номер «Арбейдер-бладет».

— Меня обвиняют в том, что я за бесценок скупал у русских фамильные драгоценности... Мол, наживался на голоде! А мой любимый Ван Дейк подделка, и я сознательно ее сбыв.

И угрожают мне судом. Ну, как тебе нравится? Это Магнус нагадил, обычные жидовские штучки! А те, из рабочей газеты, рады подхватить любой поклеп, лишь бы затоптать меня в болото. Сволочи! Теперь ты понимаешь, почему мне нужна своя партия?

31.

Мара сидит, вжавшись правым плечом в стенку большого слабо освещенного зала полицейского суда Осло. Раскатистые, усиленные микрофоном слова общественного обвинителя тяжело падают в зал. Щелкают камеры, вспыхивают «молнии». Объективы впиваются в отечное бледное лицо подсудимого. Он часто вытирает лоб носовым платком, хотя в зале не жарко. Но старается отвечать спокойно, с достоинством, не юлит и не пытается хитрить. И это ей нравится

— Обвиняемый Квислинг, когда и с какой целью вы создали свою партию?

— Партию «Национальное единство» я создал в 1933 году. Целью ее было противостояние Норвежской Рабочей партии, которая на выборах получила более 40 процентов голосов и ставила своей задачей создание Советской Норвегии наподобие республик СССР. Как патриот я всеми силами старался предотвратить свою страну от возможной катастрофы. Да, ваша честь, партия строилась по образу и подобию национал-социалистической партии Германии. Он, Видкун Квислинг, был провозглашен ее вождем, «форером», получил партийный билет № 1 и за все ее действия несет личную ответственность.

— Символом вашей партии стала несколько видоизмененная свастика?

— Нет, с этим я не могу согласиться. На эмблеме был изображен солнцеворот — так называемый крест святого Олафа.

— Но с загнутыми как у фашистской свастики краями, не так ли?

— Я старался подчеркнуть общность нордических народов, их единый исторический корень.

— Расскажите о ваших контактах с вождями Третьего Рейха.

— Во время своих поездок в Германию я встречался с адмиралом Редером, рейхслейтером Альфредом Розенбергом и два раза с канцлером Адольфом Гитлером. Я пытался привлечь внимание правительства Германии к Норвегии, чтобы не допустить ее захвата англичанами.

— Таким образом, вы призывали фашистов к оккупации Норвегии?

После молчания:

— Можно сказать: «да».

— Вы получали от Гитлера финансовую помощь?

— Да, 200—300 тысяч марок ежегодно.

В давящей тишине зала вдруг возник шум, гневные выкрики: «Предатель!», «Иуда!». Председательствующий постучал деревянным молоточком, успокаивая публику.

— Вы, Квислинг, обвиняетесь в организации государственного переворота в стране и капитуляции. Расскажите подробно о ваших действиях.

— 18 декабря при встрече со мной в Берлине Гитлер обещал в случае государственного переворота в Норвегии военную помощь.

— Вы опирались на обещания фюрера?

— У меня не было иного выхода, если я решил спасти страну. Черчилль отдал приказ начать операцию по минированию территориальных вод Норвегии. С последующей высадкой десанта.

— Как и при каких обстоятельствах вы совершили государственный переворот?

— 9 апреля 1940 года вермахт начал высадку десанта в прибрежных городах Норвегии. Норвежские армия и флот оказали сопротивление. Как вы понимаете, силы были неравные. Страна была бы раздавлена германскими танками, как Польша... Я действовал во спасение...

— При помощи вооруженных штурмовиков вы захватили государственную радиостанцию и обратились к народу, провозгласив себя премьер-министром?

— Да, ваша честь. Я должен был действовать решительно и без промедления.

32.

Мара помнит, как вечером 9 апреля радио начало говорить взволнованным, сбивающимся голосом Видкуна. «Норвежцы, сограждане!.. В этот трудный для нашей родины час я волею Божьей принимаю на себя ответственность за судьбу страны... Я призываю воинов сложить оружие и прекратить сопротивление. Как премьер-министр Норвегии я приказываю вам подчиниться Германии — нашему дружественному государству, стоящему во главе нордической расы...» Радио хрипит, какие-то помехи... или это автоматные очереди? Боже, Видкун, куда занесла тебя эта распроклятая политика! Ты нарушил закон, сдал страну немцам! Как карточный игрок, стремящийся сорвать банк, ты в азарте позабыл обо всем! Мне страшно, Видкун, за тебя, за нас обоих. Дай Бог, чтобы предчувствие обмануло меня!

На следующий день только и разговоров было об этой речи по радио... Служанка, придя с рынка, рассказывала Маре:

— Вам лучше не выходить на улицу, йомфру Мария. Люди бросаются друг на дружку, как уличные псы. Кто за господина Квислинга, кто против. Многим, честно говоря, не нравится, что пришли немцы. Вы же знаете, их у нас особенно не чествуют. В трамвае одному мужчине с партийным значком старушка прямо в лицо крикнула: «Фашист, убирайся к себе в Германию!» И пассажиры, что рядом сидели, повскакивали с мест и ехали стоя.

Он на самом деле смахивал на свастику, этот придуманный Видкуном партийный значок «солнцеворот». Видкун и его помощники копались в старинных манускриптах, в скан-

динавских рунах и сказаниях, знакомились с восточной символикой. Остановились на солнечном кресте в красном круте.

— Копия свастики, — сказала Мара, увидев окончательный вариант.

— Помолчи, много ты смыслишь, — оборвал он ее. — Норвежцам это должно напоминать крест святого Олафа, покровителя нашей страны. И цвета выбраны неслучайно — это колеры нашего национального флага. Тебе как русской этого не понять.

Тысячи «солнцеворотов» чеканились в мастерских Осло и Тронхейма — ряды партии «Национальное единство» росли. Значки вручались в торжественной обстановке. Лично фюрер партии прикрепил золотой «солнцеворот» к лацкану лауреата Нобелевской премии Кнута Гамсуна. Непросто было залучить всемирно известного писателя в ряды «Национального единства», но зато какой блестящий пример для блудливой и неуправляемой интеллигенции! И для тысяч норвежцев, которых с началом войны против СССР отправили на Восточный фронт в составе дивизий СС «Викинг» и «Норд». У каждого из них красовалась на мундире изобретенная Видкуном «солнечная свастика».

33.

Из синей папки

Воспоминания Ларса Паульсена.

22 июня 1941 года мой радиоприемник „Telefunken“ прямо разрывался от ликующих, перебивающих друг друга голосов. Случилось то, что давно ожидалось. Германская армия начала войну против большевизма. Мы, норвежцы, не можем оставаться в стороне, когда речь идет об установлении нового порядка во всей Европе. Об этом сказали, обращаясь к нашему народу, фюрер партии «Национальное единство» Видкун Квислинг, писатель лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун и другие. Они призывали записываться в легион «Норвегия», вербовочные пункты были открыты по всей стране.

Ближайший к нашему дому был в помещении гимназии недалеко от морского вокзала. Там уже стояла толпа молодых парней, все были возбуждены, ругали военных за медлительность. Среди них я видел и Арилда Гамсуна, сына писателя. Всем не терпелось быстрее покончить с формальностями и поехать на фронт. После принятия присяги меня зачислили в полк СС «**Норвегия**» в составе 5-й танковой дивизии СС «**Викинг**».

С июля по сентябрь 1941 года нас отправили в Германию, в Киль, где в тренировочном лагере Фаллинбостел нас обучали немецкие офицеры. Легионеры получили эсэсовскую полевую форму цвета «фельдграу» и знаки различия СС, также на левом рукаве были нашиты норвежские флажки под орлом СС, а на запястье лента с названием батальона. В петлицах красовался родной норвежский геральдический лев. Третьего октября 1941 года в присутствии Видкуна Квислинга, прибывшего в Германию, в Фаллинбостеле первый батальон легиона принял присягу на верность Адольфу Гитлеру.

16 марта 1942 года легион прибыл на Ленинградский участок фронта. Мы расположились в нескольких километрах от Ленинграда в составе 2-й пехотной бригады СС. После прибытия части легиона стали нести патрульную службу, а затем приняли участие в боях на фронте. В мае 1942 года к нам приезжал уже ставший министром-президентом Видкун Квислинг, который вручил награды отличившимся легионерам. «Вы воюете за великую Норвегию, — сказал он нам перед строем, — это священная война, родина ваш подвиг не забудет». Я был награжден орденом Святого Олафа.

Части Красной Армии делали отчаянные попытки прорвать блокаду в районе Красного села, Константиновки и Урицка. Но мы героически отбивались, хотя и несли значительные потери.

Самый ожесточенный бой был у с. Константиновки, где нам пришлось весь день сдерживать натиск русских. Как нам сказали позже, это был лыжный батальон ленинградских комсомольцев. Наш легион понес большие потери — около 450 наших ребят осталось в ленинградской земле. Мне оскол-

ком снаряда оторвало левую руку. Пятеро раненых, в том числе и я, были отправлены самолетом в Норвегию.

В 1941—1945 гг. в составе войск СС прошли службу около 6000 норвежцев. За время боёв на Восточном фронте погибло более 1000 норвежских добровольцев СС. (Мария Квислинг).

34.

Сразу же после окончания войны начались расправы над теми, кто сотрудничал с оккупантами. Власти уже никакой не было. 8 мая 1945 г. рейхскомиссар Норвегии Йозеф Антон Генрих Тербовен покончил жизнь самоубийством, взорвав 50 кг динамита в бункере Скаугум. Там же было обнаружено тело обергруппенфюрера СС Вильгельма Редисса, который ранее застрелился. Министра полиции Ли убили участники сопротивления. Видкун Квислинг, его ближайший помощник Хагелан, министры были арестованы. Добрый друг Марии безрукий Ларс Паульсен тоже угодил за решетку.

Норвежских предателей — их теперь называли «квислинговцами» — помогали выявлять сами люди. Вспоминали, кто разгуливал с фашистским «солнцеворотом» в петлице, кто пошел добровольно в СС, кто помогал выдворять евреев. Подверглись преследованиям и женщины, имевшие связи сексуального характера с германскими солдатами. Их избивали прямо на улицах, а некоторых даже отправили в концентрационные лагеря. Не пощадили даже детей, рожденных от германских солдат, они получили прозвище «нацистская икра» и в личных документах у них был проставлен специальный штамп¹.

Добрались и до Нобелевского лауреата писателя Кнута Гамсуна. Восемидесятилетнего старика увезли в полицейском фургоне из его любимой усадьбы Норхольм в Северной Норвегии. Конечно, думала Мара, ему многое могут припомнить нынешние хозяева жизни. Хотя бы его откровенное заявление

¹ Кампания по реабилитации этих граждан Норвегии началась в 1981 году.

при поступлении в партию «Национальное единство»: «Я всегда руководствовался своим крестьянским чувством здравого смысла и моим собственным умом, кроме того и интуиция подсказывала мне, что я должен стать человеком Квислинга. И я его человек уже многие годы, в несчастьях и радостях».

Это были слова человека, который никоим образом не зависел от власти. Не ждал от нее ни поправок, ни наград. Он просто был убежденным нацистом, идейным борцом за победу нордической расы. Еще в 1934 году, когда у партии Видкуна были не лучшие времена, Гамсун выступил по радио с призывом поддержать Квислинга. Ох, и досталось же ему! В тот же день двор усадьбы Норхольм стали забрасывать его книгами. Сотни, тысячи книг. На некоторых из них бывшие читатели писали свои отзывы о Гамсуне, называя его лакеем нацистов и оккупантов. Книги приходили потоком по почте, перебрашивались через забор в сад. Каждую неделю грузовик вывозил с виллы Гамсуна тысячи книг.

Припомнили ему и призывы к норвежцам бросить винтовки и не сопротивляться оккупантам, а с началом войны против СССР — записываться добровольцами и принять участие в борьбе против большевизма.

Мара с Видкуном лишь однажды посетили виллу Норхольм. Это было осенью 1943 года. Писатель недавно вернулся из Вены, с Международного конгресса журналистов. Но не речи писак из Германии и оккупированных стран интересовали Квислинга. Из Вены по приглашению Гитлера Гамсун летал в Бертехсаден, альпийскую ставку фюрера. И Квислингу не терпелось узнать, каково самочувствие Гитлера после поражения под Сталинградом.

Пока мужчины беседовали, уединившись в кабинете писателя, их жены, обмениваясь улыбками, пили чай с пирожными. Обе оказались тезками — Мариями. Но сближало их не только это. Хозяйка Норхольма оказалась очаровательной, абсолютно открытой и разговорчивой женщиной. Бывшая актриса Национального театра, она за полчаса успела рассказать в лицах, как впервые увидела Гамсуна, эту неуклюжую знаменитость с огромными крестьянскими лапищами, знакомую ей

только по пьесам, в которых она с наслаждением играла. Каково же было ее удивление, когда этот всемирно известный драматург заявил, что он ненавидит театр — царство притворства и жеманства. Актрисы же вообще, сказал он, рассадники разврата. И моя жена должна будет даже забыть слово «театр».

— И как же вы пришли к соглашению? — рассмеялась Мара..

— Сама удивляюсь, — сказала Мария Гамсун. — Ведь я была замужем, меня обожали зрители. Но Гамсун был сумасшедшим в своей страсти. Он заваливал меня букетами цветов и каждый час писал страстные письма. Я слабая женщина и не могла сопротивляться.

— А как же сцена? — спросила Мара и тут же пожалела, что задала этот, возможно бестактный, вопрос.

Но вторая Мария захохотала:

— Я его просто обдурила! Читаю со сцены его произведения. Он не считает это театром, ну и Бог с ним, молчит. В основном езжу по Германии, выступала перед солдатами на фронте. Мы с ним оба в одной упряжке.

Вскоре к дамам присоединились Видкун и хозяин дома. Горничная поставила на стол коньяк и легкое испанское вино. Писатель, отметила Мара, плохо слышал, все время переспрашивал. И как все глухие, предпочитал говорить сам, нежели слушать других. Узнав, что Мара из России и побывала во многих странах мира, кроме Англии, Гамсун предложил выпить за это, ибо, считал он, побывавший в Англии становится рабом этой страны.

— Я до глубины души англофоб, антибританец, — сказал он, — и, сколько себя помню, никогда этим убеждениям не изменял. Не подумайте, будто я ставлю это себе в заслугу, нет, речь идет просто о позиции. Мне рано довелось уехать из родной страны, и я встречал чужестранцев, в том числе и англичан. Поверьте, я никогда не сталкивался с народом более неучтивым, нежели англичане, самодовольные, спесивые, заносчивые. Скажите, Видкун, почему наши дорогие соотечественники, которые еще в школе познакомились с англичанами,

с их историей и кровавым их шествием по всему земному шару, тем не менее упорно лелеют англичан в своих сердцах? Почему гордая Франция склонилась перед ними свою головку? Почему только одна страна бросила вызов Альбиону? И какая?

— Не надо быть ни политиком, ни историком. Конечно, Германия.

— Да, дорогой Квислинг. С эпохой национал-социализма в страну пришла жизнь, — подтвердил Гамсун и увлеченно продолжал. — Но Англия хотела войны и Гитлер обнажил меч. Он, крестоносец и реформатор, желал создать новую эпоху и новую жизнь для всех стран, прочное международное единство на благо каждой страны. Вот чего он хотел. И труды его не пропали даром, народы и нации стали с ним плечом к плечу. Включая и нашу бедную страну. Да, после Сталинградской битвы, где Сталин уложил миллион своих солдат — ему же их не жалко! — Германия испытывает трудности. В беседе со мной Гитлер этого не скрывал. Но он держится, Адольф Гитлер, этот выдающийся человек, который потихоньку — полегоньку поставил весь мир на ребро и теперь переворачивает его на другой бок! Он справится! С ним рядом его великий итальянский соратник, с ним главные континентальные державы Европы. Сообща они справятся — и войне придет конец! Но я совершенно убежден: недостаточно победить большевиков и янки, необходимо одолеть Англию, иначе миру на земле не бывать.

Он говорил с пафосом, потрясая сидящих за столом громовыми фразами, не сбиваясь, словно читал по написанному. Кроме глухоты и некоторой склонности повторяться, Мара никаких отклонений от нормального поведения не заметила. Каково же было ее удивление, когда вскоре после ареста Гамсуна она узнала от знакомого врача, что его на основании тщательного медицинского обследования признали слабоумным и будут пожизненно держать в специализированной Психиатрической клинике.

Она понимала: спасли не старика, спасли гордость нации.

Помочь Видкуну подобным образом не удастся. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его психически здоровым и полностью вменяемым. Он без ошибки, конечно, ответил на смешные вопросы экспертов: где родился, сколько лет, кто родители, как зовут братьев и сестер и прочую белиберду. Потом приступили к определению уровня самооценки

Трое эскулапов в белых халатах наперебой задают каверзные вопросы:

— Вы провозгласили себя «форером», т. е. вождем нации? На каком основании?

— Я полагал, что 99 процентов норвежцев одобряют мои действия.

— А движение сопротивления, в котором участвовали тысячи человек, вы не учитываете?

— Этих людей нельзя считать норвежцами. Их купили за английские фунты.

— Одним из ваших указов установлен национальный праздник — 1 февраля. С чем это связано.

— 1 февраля 1942 года закончилось безвластие в нашей стране, и я был назначен министром-президентом страны. Я считал, что это выдающийся день в нашей национальной истории.

— Когда вы были в чине майора, была ли у вас мечта стать руководителем правительства страны?

— Была. И я ее добился. К сожалению, я не успел всего сделать.

— На петлицах мундиров вашей лейб-гвардии были буквы «В. К.». Это ваши инициалы?

— Да.

— Такого не позволял себе даже Наполеон.

— Наполеон был великий полководец, но знатным происхождением похвастаться не мог.

— А вы?

— Мое генеалогическое древо, над восстановлением которого я продолжаю работать, находясь в заключении, восходит к древнему скандинавскому богу Одину.

— Вы не ошибаетесь, господин Квислинг?

— Я могу показать вам свои разработки, чтобы не быть голословным.

— Спасибо. Нам это не требуется.

К заключению о полной вменяемости были добавлены слова: «неадекватно завышенная самооценка, высокомерная позиция, честолюбие».

35.

Вдруг ее осенило. Будто ужалило внезапно вспыхнувшей в беспокойном сне мыслью. Не на медиков надо надеяться. Не короля просить о помиловании, нет. Видкун прав: этот англофил только злорадно усмехнется, прочитав просьбу поверженного. Она напишет другому человеку, в его царстве не крохотная Норвегия, а полмира. Он всеми признанный герой-победитель в этой кровавой войне. А победители должны быть милосердны.

Одевалась, пила утренний кофе, а в голове уже складывались строчки. Глубокоуважаемый маршал Сталин, напишет она, к вам обращается жена бывшего министра-президента Норвегии Видкуна Квислинга, Пасечникова Мария. Я русская, до 1924 года жила в Советском Союзе, из рабочей пролетарской семьи. Отца своего я не помню, он бросил нас, а мать работала домработницей в богатых домах. В 1924 году я стала женой норвежского подданного Видкуна Квислинга, который в те годы руководил миссией Ф. Нансена по борьбе с голодом на Украине. Он лично сумел организовать труд сотен людей, которые осуществляли доставку и распределение продуктов по наиболее нуждающимся областям. Благодаря его усилиям были спасены десятки тысяч голодающих и ожидавших неминуемой смерти людей. Неужели русский народ забудет об этой гуманной миссии?

Сейчас этот человек, мой муж Видкун Квислинг, находится на скамье подсудимых. Его обвиняют в измене и предательстве, пособничестве фашизму. На самом деле, управляя страной рейхскомиссар Норвегии обергруппенфюрер СА Йозеф Антон Генрих Тербовен. А Видкуну Квислингу приходилось

только скреплять его указания своей подписью. И только потому, что этот немецкий фашист покончил жизнь самоубийством 8 мая 1945, всю ответственность за карательные акции оккупационного режима суд возлагает на моего мужа.

Мара осталась довольной — выстроенное в голове начало было логичным, кратким, деловым. Длинных писем, говорил Видкун, никто не читает, их просто бросают в корзину. Нужно написать, что карательными акциями против участников сопротивления занималось гестапо, к их пыткам и расстрелам обвиняемый Квислинг не имеет никакого отношения. Антиеврейские законы тоже принимались под давлением Германии, напишет она. Хотя и покривит душой, ибо Видкун в действительности ненавидел евреев, не раз публично провозглашал, что от них главное зло. В 1918 году, как атташе норвежского посольства в Петрограде, он встречался с Троцким, Зиновьевым, Урицким и другими вождями революции, которых считал лично виновными в большевистском терроре и разорении великой страны. Поэтому планы создания нордической арийской расы, очищенной от инородцев, были близки ему. И как обойти этот вопрос, она пока еще не знает.

Напротив их дома на Эккербергс-гате жила еврейская семья. Глава ее, известный в городе адвокат, каждый день без четверти десять обычно уезжал на извозчике в свою контору. Жена его, Даниела, миловидная брюнетка с миндалевидными огромными глазами, часто гуляла с двумя детьми в скверике возле их дома. Мара, проходя мимо, раскланивалась с нею, потом, познакомившись, даже останавливалась и подолгу беседовала. Ей нравился норвежский язык Даниелы — живая разговорная речь и вместе с тем четкое произношение. Когда Видкун пошел в гору, он запретил Маре поддерживать эти отношения. Даниела, по-видимому, сразу поняла, почему госпожа президентша теперь не замечает ее, и не порывалась возобновить их знакомство. Вскоре извозчик перестал приезжать без четверти десять к дому напротив, а адвокат от нечего делать сидел со своими двумя детьми на скамеечке в сквере. Спустя полгода на курточках детей и пальто адвоката появились желтые звезды. Зимой 1942 года в квартире, которую они

занимали, уже не горели огни. Темные окна смотрели на Мару с печальным укором. «Куда их увезли?» — наконец, решилась она спросить мужа. «В Освенцим, — сказал он. — Не волнуйся, им будет там хорошо».

Что было, то было. Люди возмутились, на рынке, в трамваях открыто ругали правительство Квислинга. Из Фюресдаля приехал брат Видкуна. Заперлись в кабинете, спор был ожесточенный. «Ты марионетка у немцев! — кричал брат, — народ тебя ненавидит». Хлопнул дверью и уехал.

Мара посмотрела на часы, стала торопиться в суд. Не коснуться в письме сотрудничества с Германией было нельзя. Но представить Видкуна «марионеткой», как назвал его брат, было бы спасительно. Она вспомнила, как в январе 1941 года вместе с Видкуном они встречали Гимmlера на военном аэродроме под Осло. На следующий день две сотни норвежских добровольцев в присутствии руководителя СС Генриха Гимmlера, рейхскомиссара Норвегии Йозефа Тербовена и министра-президента Видкуна Квислинга дали присягу на верность «вождю германцев» Адольфу Гитлеру. А вечером того же дня Видкун поил главного эсэсовца и его свиту на своей даче «Вилла Гранд». «У вас настоящий музей, фрау Мария, — сказал ей один из людей Гимmlера, оберштурмфюрер СС, показывая на висящие в зале картины. — Ваш муж коллекционер с высоким вкусом». Офицер раскачивался, еле держась на ногах. «А вот фюрер его почему-то не любит, знаете, как он его называет? Только на ушко». Он загадочно закатил свои пьяные глазки, обнял ее за талию и притянул к себе. «Адольф назвал его своей надувной игрушкой! Ха-ха-ха! Понимаете, фрау Мария? Надую — она двигает ручками и ножками. А выпущу воздух — все, кусочек резины. Не обижайтесь только. *Unter uns gesagt*».

Она вспоминает об этом на ходу, уже приближаясь к зданию суда. Конечно, представить его марионеткой, беспомощной игрушкой в руках Гитлера. Это путь к спасению. Унизит его, но сохранит жизнь.

24 августа, четвертый день вопросов и мучительных ответов. У подсудимого, это заметно всем, иссякают силы защиты и сопротивления.

— Германия не просила нас о помощи, но мы считали себя обязанными выполнять свой союзнический долг, — признается подсудимый.

Господи, зачем он все берет на себя?

— Участие норвежцев в боевых действиях на стороне Германии должно было обеспечить нам привилегированное положение в новой Европе. После победы над большевизмом часть Русского Севера отошла бы нам, реально это район Мурманска и Печенги. Это было частью моего плана создания Великой Норвегии от моря до моря. Кроме того, я вел переговоры с Берлином о норвежской колонии на Украине.

— По вашему распоряжению в Норвегии были созданы концентрационные лагеря. В каком количестве и для кого?

— Точно не помню, но, кажется, около 400. В основном для советских солдат и офицеров. Они использовались для строительства береговых оборонных укреплений. Кроме того, в лагерях содержались террористы и подрывные элементы, совершавшие диверсионные акты против германских военнослужащих.

— Партия «Национальное единство» и вы как министр-президент Норвегии проводили последовательную расовую политику. В чем это выражалось?

— Будущее Европы нам виделось как союз стран нордической расы. Поэтому мы руководствовались общими теоретическими принципами, выработанными в Германии для борьбы против большевизма и еврейского засилья.

— Поясните, что это означало на практике.

— Норвегия была очищена от евреев. Их было всего около 1800 человек. Но зараженных еврейским духом, особенно в среде интеллигенции, гораздо больше.

— Вы называли их «искусственными евреями». Вам принадлежит этот термин?

— Да, я так говорил в одном из своих выступлений. Поэтому понадобились радикальные меры: увольнение всех евреев с государственной службы, запрет смешанных браков, специальные полицейские отметки в паспорте. Я подписал указ об аресте всех мужчин-евреев старше 15 лет, как представляющих собой потенциальную опасность для безопасности страны. Был также издан указ, по которому имущество евреев конфисковывалось и передавалось государству. Они награбили его у народа, и я имел нравственное право на эту акцию.

— Сколько евреев было направлено вами в лагерь уничтожения Освенцим?

— Я точно не помню. По-моему, около шестисот человек.

— Могу уточнить эту цифру, — говорит прокурор. — Депортировано было 759 человек, включая детей. То есть почти половина еврейского населения Норвегии. Из них, по нашим данным, осталось в живых двенадцать.

— Я посылал их в живом виде. Никто не желал их смерти. Пусть бы жили себе отдельно по своим законам. Я руководствовался принципом «Норвегия — для норвежцев».

Мара чувствует, как холодеют пальцы. Письмо Сталину? Какая нелепая выдумка. Видкун признал себя виновным по всем пунктам. Доказывать, что он марионетка, игрушка — нелепо. Она не поможет, а только унизит, предаст его. Он хочет уйти с гордо поднятой головой. Уйти, чтобы остаться в истории. Пусть будет так...

37.

Десятый день. Не было сил идти в суд на оглашение приговора.

Пошла. До последнего дня, до последнего вдоха быть с ним рядом.

Обвиняется в этом... Обвиняется в том... Вины столько, что на тысячу человек мало не покажется. Каждое обвинение как камень направлено в мученика, ведомого на Голгофу. Мелкие, острые камни ранят кожу. Большие, тяжелые сбивают с ног. Почему председательствующий так медленно читает приговор? Упивается своими статьями и параграфами. Вы-

кручивает измученную душу. Быстрее бы, быстрее. Вот и звучат в притихшем зале ожидаемые, неминуемые слова:

«Виновен в государственной измене и преступлениях против народа Норвегии... К высшей мере наказания — расстрелу».

Расстрелу... расстрелу... расстрелу... Эхом отзывается в ушах, рвет сердце. Больше ничего она не слышит. Даже аплодисментов, которыми встречает зал приговор.

Последнее слово осужденный произносит, глядя прямо перед собой. Она знает, верит, что он видит ее среди сотни устремленных на него глаз.

Конец, представление окончено. Его уведут, лицо заслоняют спины полицейских, больше она его не увидит. Судьи собирают бумаги. Публика, хлопая стульями, шумно переговариваясь, направляется к дверям.

Еще в зале, при выходе, Мара опускает на лицо вуаль. Идет по улице, укрывшись зонтом от дождя и ледяного ветра. Но ее узнают, что-то громко кричат ей вслед. «Позор Квислингу! Смерть изменнику!» — слышит она. Уличные мальчишки свистят в два пальца. Женщины поднимают вверх кулаки. Она ускоряет шаг. На площади, возле фонтана, останавливает такси, но водитель, узнав ее, захлопывает перед ней дверь.

Дома, промокшая и истерзанная, Мара, наконец, чувствует себя недосыгаемой, защищенной каменными стенами. Надежная крепость, навсегда.

Некоторое время она сидит в оцепенении и слышит его последние слова: «Я умираю мучеником за великую Норвегию». Потом подходит к стене, где висят два мертвых, но для нее всегда великих и живых лица. Зажигает одну свечу, потом другую. Видкун Квислинг и Адольф Гитлер молча смотрят на нее из поглотившей их бездны.

38.

Из газет

Смерть вдовы национал-предателя

На днях в своей квартире в Осло скончалась Мария Квислинг, супруга бывшего министра-президента Норвегии,

расстрелянного по приговору суда за измену Родине в 1945 году. В течение тридцати пяти лет, прошедших после его смерти, Мария Квислинг вела одинокую затворническую жизнь. По ее завещанию, все ее имущество (ковры, мебель, картины, многие из которых были вывезены Квислингами еще из довоенной России) должно быть продано на аукционе, а из вырученных от продажи средств организован фонд помощи малоимущим старикам. Пособия и подарки из Фонда Марии Квислинг будут распределяться ежегодно в канун сочельника в здании гуманитарной миссии. М. Квислинг похоронена рядом с мужем на кладбище под Шиеном.

(Газета „AP“, Осло. Ноябрь 1980).

Сенсационная картина

Корреспондент газеты вчера побывал в мастерской известной калифорнийской художницы Александры Ворониной-Квислинг-Юревой. Несмотря на преклонный возраст, встретившая меня в инвалидном кресле маленькая седая женщина поразила юным блеском своих прекрасных сероголубых глаз, от которых, беседуя, я не мог оторваться. Готовясь к юбилейному вернисажу, художница показала мне ряд своих новых работ, как всегда сочетающих глубокую поэтичность и остроту мысли. Особенно интересным мне показалась ее последняя, еще не снятая с мольберта работа, которая, я уверен, вызовет споры и дискуссии. Тема и образы картины навеяны, как мне думается, жизнью и судьбой самой Александры. Написанный охрой крест, известный нам из скандинавских сказаний как крест святого Олафа, покровителя Норвегии (так называемый «солнцеворот»), взламывает, деформируя его, волосатая лапа то ли чудовища, то ли дьявола. Художница назвала свое произведение «Солнечный крест цвета ночи».

(Газета „Los Angeles Times“ март 1992)

Смерть магистра
Жандармский детектив

1.

Поэт никогда не видел магистра. Магистр математики? Из Харькова?

Множество знакомых лиц пронеслось в его памяти. Художники, сельчане, военные, литераторы, артисты... Нет, он не мог ошибиться — никакого магистра он не знал.

Магистру тоже не пришлось встречаться с поэтом, хоть тот со студенческих лет был властителем его дум. Томик «Кобзаря», первый, издание Фишера, затрепанный, ветхий, с заботливо вклеенными выпавшими страницами, всегда был под рукой — и там, в Харькове, и в северной столице империи, где теперь жил Николай Головки.

Раньше этот «кобзарик» лежал себе на столе или на подоконнике. Открыто, ни от кого не таясь, а теперь, после ареста поэта, приходилось прятать его в еловом ларце с секретом, где хранилось самое заветное — недозванные цензурой вирши, мамины письма из дому, политические листовки, рукописи и на самом дне, под бумагами, два пистолета, недавно приобретенные магистром в оружейной лавке на Лиговке.

Пистолеты были капсюльные, отличной бельгийской работы, системы Мариетта, для нападения и обороны.

— Не пожалеете, сударь, — угодливо убеждал его рыжеусый приказчик с умильно бегающими глазками. — Отменно надежны и безотказны. Не сравнить с *лефоше*, а тем паче с *колиером*.

Глядя на тонкие длинные пальцы покупателя, которые боязливо поглаживали ствол, нежно касались курка, он сразу же сообразил, что перед ним человек, не только пороху не нюхавший, но и вообще, по всей видимости впервые держащий в руках оружие.

— Дозвольте сугубо ознакомить ваше благородие, — не выдержал он наконец, — для наглядности способностей сего предмета.

И пистолет, оказавшись в его нетерпеливых и умелых руках, ожил и стал вытворять подлинные чудеса: целился прямо в глаза, «стрелял» из-за спины, прятался под поллой сюртука.

— Смотрите, милостивый государь: бьет из любой позиции. Бранд-трубка — лучше этой штуkenции люди пока еще ничего не придумали. Спускаем курок, капсюль возгорается и поджигает основной заряд. Дождь, снег — стреляйте себе на здоровьице, осечки практически не случается.

Последние слова рыжеусого, видимо, произвели впечатление.

— Беру, — произнес магистр, отсчитал сорок восемь рублей ассигнациями и вышел из лавки, прижимая локтем ящичек с оружием.

Зачем же они вам понадобились, Николай Алексеевич, эти капсюльные пистолеты бельгийской работы, которые бьют с любой позиции и практически не дают осечки? Ведь вы весьма добропорядочный человек, ученый к тому же. Математика, астрономия, физика — вот три кита, на которых зиждется ваша Вселенная, а ее тайны открываются без всякого оружия. И на родине, в Харькове, и здесь, в Петербурге, самые видные ученые предрекают вам, 25-летнему магистру, славное будущее, блестящий научный взлет. Так что же тогда вынудило вас отдать последние деньги за эти проклятые пистолеты? И, право слово, действительно же дьявольские они, роковые — ведь один из них в самом, как говорится, непродолжительном времени, пальнет прямехонько в ваше сердце. Да, Николай Алексеевич, приказчик в оружейной лавке не соврал — осечки не будет...

Но мы забежали далеко вперед — месяцев этак на десять, а то, может, и на целый год. Пока что купленные пистолеты тихо-мирно лежат себе на дне елового сундучка с секретом. Хоть и не такие, правда, новенькие, как в тот зимний день, когда были приобретены: от их вороненых стволов уже изрядно веет горьким запахом пороха. Потому что магистр время от времени пристреливал их — на Голодае, в Сестрорецком лесу и на других окраинах города Санкт-Петербурга.

Но никому, ни единой живой душе, даже другу задушевному, Асеньке Левицкой, не открылся ни словом, ни намеком — зачем они понадобились ему, эти пистолеты. Переводил разговор на другие темы или шутил:

— А если другого полюбишь? Вызову на дуэль и пальну.

Она отвечала в тон ему:

— Они тебе, дурачок, никогда не понадобятся, понял?

И глаза ее, обрамленные длинными ресницами, нежно улыбались ему, трепетали как крылышки дивных мотыльков.

Но на самом деле, в глубине сердца, она, разумная и чуткая, догадывалась, конечно, что дело в другом. Но не доискивалась, не лезла в душу. Ибо прекрасно знала горячий нрав своего любимого: никчемный пустяк вмиг мог вывести его из равновесия, а то и вовсе вызвать вспышку гнева.

Асе было известно, что после ареста членов Кирилло-Мефодиевского братства, выходцы из Малороссии считались в столице особами неблагонадежными. За многими из них, шептались люди, установлен негласный полицейский надзор. Может быть, и он, ее Микола, значится в каких-то там черных списках, которые составляют — это ведь всем известно — в мрачном доме на набережной Фонтанки, неподалеку от Цепного моста. И тогда, выходит, это оружие предназначено для... Да нет же, нет! Она гнала от себя эти назойливые мысли. Ее возлюбленный — человек науки, зачем ему лезть в эту политику?

Но, рассуждая так, она тут же обрывала себя: а Костомаров разве не ученый? Как же, как же — адъюнкт-профессор университета, и ведь тоже с ними. А Белозерский? Кандидат наук. Шевченко — поэт известный. А полезли ж все эти умники в пекло. И теперь они уже не ученые, не профессора, не писатели, а *политические преступники*, которые пытались — о Боже, страшно подумать даже! — убить государя императора.

Так раздумывала она, Ася Левицкая. И с полным основанием можем сказать: была недалеко от истины. Ибо в бывшем Кочубеевом дворце у Цепного моста, в Третьем отделении Собственной Его императорского величества канцелярии,

в скором времени будет заведено жандармское следственное дело «О коллежском секретаре Левицком, магистре Головке и рядовом Шевченко».

2.

Чиновник Оренбургской приграничной комиссии Сергей Левицкий, родной брат Аси, собирался в отпуск сразу же после нового, 1850 года.

Поездка в Петербург по бескрайним заснеженным просторам империи была мучительно тяжелой и изнурительной даже для такого молодого и в общем весьма крепкого здоровья человека, каким был Сергей. В легкой почтовой карете на санном ходу, продуваемой лютыми метельными вихрями, предстояло преодолеть не больше и не меньше, как ровно две тысячи сорок с половиной верст. Целых девять, а то и все десять суток пути...

Предусмотрительный, домовитый Сергей заранее подготовился к путешествию. Тяжелые фибровые чемоданы, ручные дорожные сумки и саквояжи были уже полностью уложены. Лишь небольшой баульчик стоял раскрытый — на дно его он решил положить те бумаги, которые должен был передать ему Шевченко. Доставка их в Петербург и была, по сути, главной целью сергеева вояжа.

Идея начать новые хлопоты для облегчения участи ссыльного поэта возникла у Федора Лазаревского, который тоже служил в Оренбургской приграничной комиссии.

— Гляди, Тарас, — горячился он, — сейчас самый благоприятный момент. После Аральской экспедиции Бутакову удалось оставить тебя в Оренбурге. Тебя не погнали назад в Орскую крепость, ты живешь на приватной квартире, имеешь возможность закончить рисунки, сделанные в походе. И, между нами говоря, другими художествами заниматься тебе не возбраняют. Офицеры гарнизона и даже сам генерал Обручев относятся к тебе по-доброму, с уважением. Значит самое время действовать.

— Теперь или никогда! — поддержал друга Сергей.

Поэт усмехнулся, пряча улыбку в русых усах. Славные парни они — и Сергей, и Федор, верные друзья. Сколько раз выручали его из беды, заступались за бесправного ссыльного. Да вот до смешного наивны, дети малые. Чистые души, свято верующие, что у страшной сказки должен быть обязательно счастливый конец.

Обручев, Бутаков... Разве они решают его судьбу? Увы, она в руках неблагоприятного «Тормоза», ненавистного *Карла Ивановича* — так называл и поэт, и его однодумцы единовластного палача с выпуклыми оловянными глазами. Именно он, извер, запретил ему писать и рисовать. (Да лучше бы руки по локоть отрубил, сучий сын!)

Что толку хлопотать, унижать себя и других, надеяться? Разве царь отступится хоть на йоту от своего приговора? Ни в коем разе! Зачем же гнуть колени, писать, унижаться — пустое это дело, зряшное. Только солью ядреной рану томить, больше ничего.

Но отцепиться от друзей, убедить их было нелегко.

— Нужно двинуть за вас людей уважаемых, авторитетных, имеющих влияние на царя, — продолжал свои рассуждения Федор Лазаревский. — Это Гоголь, Жуковский, академик Остроградский. Пусть обратятся к «Тормозу» — неужто откажутся подать за вас свой голос? Пиши им письма, Тарас, пиши. А я передам.

В конце концов уломали, поэт пообещал подумать. Сперва написал княжне Варваре Репниной — душа добрая, святая, он знал: сделает все, что в ее силах. За три года неволи не забыла его, рискуя, переписывалась с государственным преступником, обращалась к самым высоким лицам державы, чтобы облегчить его участь.

Поэт написал ей:

«Поздравляю Вас с Новым годом, молю Господа о ниспослании Вам всех благ. Я теперь сию один-одинешенек и вспоминаю то прошлое, когда мы с Вами в первый раз встретились в Яготине, — и многое пришло в мою грустную бесталанную голову — ужели и конец моей жизни будет так же печален, как настоящий день? В нещастии неволью делаешься суете

верным, теперь почти убежден, что мне не видать веселых дней, и сердцу дорогих, и милой моей родины!..»

Написал и вдруг отбросил перо. Поплыли перед глазами пронизанные теплым солнечным светом купы цветущих вишен, пестрые ковры безграничных, до самого горизонта, степей, и милые сердцу, чисто выбеленные хатки.

Он смахнул пальцем набежавшую на щеку слезу, подошел к печи и прислонил ладони к горячей кирпичной кладке. Животворное тепло пронизало все тело. Поэт подкинул в топку несколько поленьев, огонь с веселым урчанием накинулся на них.

Эх, Тарас, Тарас, подумал он, досадуя на себя. Размяк, распустил себя, друже. Не может такого быть, чтобы ты никогда больше не увидел своей милой Украины. Не допустит Бог, чтобы ты сгнил в этой клятой пустыне. Правы, тысячу раз правы друзья: бороться надо. Надеяться и верить!

Он сел за стол и закончил письмо Репниной:

«Я сегодня же пишу Василию Андреевичу Жуковскому ... Напишите и Вы, ежели Вы с ним знакомы. Или напишите Гоголю, чтобы он ему написал обо мне. Я теперь, как падающий в бездну, готов за все ухватиться — ужасная безнадежность».

Затем быстро, одним духом написал короткую цидулку академику Остроградскому, более подробное послание — художнику Чернышеву и, наконец, облегчил душу в пространном письме Осипу Максимовичу Бодянскому, профессору Московского университета, одному из основателей славистики в России:

«Тяжко мне, друже, и очень тяжко! Да что же делать? Прошагал я всю киргизскую степь аж до Аральского моря — плавал на нем два лета. Господи, ну и погань! Аж гадко вспомнить! Не то, что рассказывать добрым людям... Меня из Киева загнали сюда, и за что? За вирши! И запретили писать их, а что самое горькое... рисовать... Не знаю, за что. Тот, кто привезет тебе письмо мое, наш земляк — Левицкий, поприветствуй его, друже мой добрый! Добрая, чистая душа! Он мне здорово помогает на чужбине».

Вечером Тарас Григорьевич отнес письма Сергею. Пришел Федор, принес конверты.

— Пстой, Тарас, а где письмо Жуковскому? Он — наше главное орудие, которое ударит прямехонько по Зимнему дворцу. Бери перо, пиши. Ведь он и Брюллов выкупили тебя у помещика, сделали свободным человеком. Они и сейчас, я уверен, не будут стоять в стороне.

— Ох, как ты ошибаешься, казаче, — поэт положил руку на его плечо. — Я еще в первый год ссылки написал Карлу Павловичу. И что же? Да ровным счетом нуль. Не удостоил, вот так... Брюллов действительно великий человек, можно сказать — гений. А небожителям негоже заниматься непотребными мирскими делами.

— Замараться боится, задумчиво произнес Сергей. — А Жуковский? Может все-таки стоит?

Поэт пожал плечами.

— Василию Андреевичу набросал письмишко, да вот не перебелил — раздумал. Бог с ними. Я им обоим по гроб обязан. А больше ни о чем просить не хочу. Баста!

Спорить с ним никто не решился.

Сергей молча положил письма на дно баула, прикрыл их клеенкой и загрузил сумку умывальными принадлежностями, книгами и всякой всячиной, которая может понадобится в дальней дороге.

3.

Сегодня магистр не зашел, как обычно, в кухмистерскую — нечем было платить за обед. Вообще день выдался нелегкий. С утра он читал корректуру своей статьи в редакции журнала. Потом пошел «по частным урокам» — ничего не напишешь, приходилось репетиторствовать, чтобы хоть как-то свести концы с концами. В роскошной квартире купца Парамонова, где он натаскивал к экзаменам ленивое и бестолковое купеческое чадо, внезапно начался приступ удушливого кашля, стиснуло грудь от острой пронзительной боли. А Парамонов-младший, радуясь такой неожиданной паузе, тихонечко, прикрыв ладошкой рот, смеялся.

Магистр знал — это давала о себе знать коварная аневризма, смертельная болячка, которую он с детства носил под сердцем. Харьковский лекарь Розе объяснял ему: «У вас, молодой человек, стенка сердечной мышцы истончилась, произошло выпячивание ее, а это вызывает сдавливание окружающих органов — других кровеносных сосудов, нервов, дыхательного горла». Он даже набросал схемку, чтобы пытливый юноша мог представить себе весьма простой механизм, который, коль скоро сработает, непременно приведет к летальному исходу.

«Берегите себя, — предупреждал его харьковский эскулап. — Избегайте физического напряжения, старайтесь поменьше нервничать, отменяйте от себя всякие житейские неурядицы: большинство из них, смею вас уверить, решается само собой. Помните, милостивый государь: аневризма, не хочу от вас скрывать, это смертельный приговор Бога. Когда он свершится, никто не ведает, но отменить его мы, медики, бессильны».

Хороший совет, только как, объясните, можно жить без нервов? Идиотик он, что ли, всему радующийся, или труп окоченелый, которому уже все равно? Когда-то были выписаны в тетрадку мудрые слова Иоганна Готлиба Фихте: «От моей жизни и моей судьбы не зависит ничего, от деяний моей жизни зависит безмерно много». Жить только так — действовать, волноваться, забыть про бомбу в груди! Нет ее, подлой, и точка! Только так!

Вот и сегодня, когда он вдавливал в дурью голову купеческого оболтуса десятичные дроби, тот своими своим бессмысленным мычанием довел его до иступления. Он едва сдержался, так хотелось треснуть мальчика по ухмыляющейся порослячьей харе — и тут вдруг подкатило к горлу, он стал задыхаться. Прибежали женщины — мать этого недоумка, весьма милостивая барыня, ее старшая дочка, горничная. Николая Алексеевича уложили на софу, помазали под носом нашатырным спиртом и кое-как, с визгом, ахами и охами, привели в сознание. Лишь выйдя на улицу, он спохватился, что купчиха Парамонова ввиду этого неожиданного происшествия за-

была вручить ему конверт с деньгами, на что магистр очень рассчитывал. Возвращаться же он не хотел — не позволяло самолюбие. Поднял воротник и гордо прошествовал мимо кухмистерской на Мойке, где всегда обедал и откуда вырывался густым паром сочный аромат свежих щей.

Магистр нащупал в кармане пальто несколько медяков и зашел по дороге в Гостиный двор. Здесь, он это знал, можно было дешево и по-быстрому перехватить. Он довольствовался парочкой пирожков с требухой, закусил сладкой сайкой и уже через десять минут был там, где он, как правило, проводил почти все свои вечера — в читальном зале Публичной библиотеки.

Здесь он сразу же забыл и про леденящую уличную стужу, и про свою аневризму и про щи в кухмистерской, каковые не довелось ему сегодня отведать, и даже про своего квартирного хозяина Людвиг Францевича, который ждет и никак не дождетя денег за сентябрь, хотя на дворе уже январь.

Боже мой, да все это просто отлетело от него, просто перестало существовать. Осталось где-то там, за толстенными стенами библиотеки, в химерном городе богачей и нищих. Он сейчас пребывал уже на иной планете, где в мерцающем сиянии газовых фонарей вели с ним беседу, выходя из массивных кожаных переплетов, мудрецы прошлого.

Пока он углубился в лежащие перед ним толстые фолианты, пока, даже не заглядывая в словари, делает выписки из научных работ итальянца Меллони и француза Френеля, у нас есть время рассказать подробнее о нашем герое.

Родился Николай Головкин в 1825 году в семье коллежского асессора и мелкопоместного дворянина Волчанского уезда Харьковской губернии. Единственный ребенок, матушкин любимчик. Сызмальства задавал он своим родителям немало забот. Выучился грамоте — и не расставался с книгой ни днем, ни ночью. Вставал после частых бессонниц с головной болью, бледный, безмолвный. Иногда из носа шла кровь — приходилось подолгу лежать на кожаном диване с мокрым полотенцем на лбу.

И отца, и мать настораживало, конечно, что Николушка почти не водился со своими одноклассниками, упрямо отказывался ходить с ними купаться на Донец, а коль уж покидал дом, то блуждал в окрестных лесах в одиночестве, с неизменной книгой в руках.

Когда отец отвез его в Харьков — продолжать учебу, Николай уже успел самосильно перелопатить почти всю домашнюю библиотеку. Запоем, несколько раз подряд, проштудировал Плутарховы «Сравнительные жизнеописания» про выдающихся греков и римлян, легко справился с «Арифметикой» Магницкого, но так и не сумел одолеть «Математические начала натуральной философии» Ньютона — девятилетнему пареньку, ясное дело, это было не под силу.

Учить Миколку решили не в гимназии, а в приватном пансионе. Посоветовавшись со знакомыми харьковцами, коллежский асессор Алексей Головка определил сына в пансион Зимницкого, лучший в городе, где обучалось на тот момент около 60 дворянских и купеческих сынков.

В дортуаре, кроме него, находилось еще трое. Все, как назло, проказливые и задиристые — не такие, как он. Миколка и тут старался держаться в сторонке — он по природе, видать, был дичком. С первых же дней приклеилась к нему обидная кличка «дятел». Обижало... Да разве хлопцы правы? Разве он действительно долбил древо знаний с тупой настойчивостью этого клеваки?

Отнюдь, преподаватели пансиона сразу же обратили внимание на одаренного юношу, который легко схватывал, буквально на лету, любые сложности учебной программы и цепко держал их в уме: память у Николая была феноменальная. Так какой же, скажите, дятел? Но он не обижался, дятел так дятел, лишь бы в душу не лезли.

В учебе, в коротких наездах родителей, в быстро летящих летних каникулах проходили годы. И вот на долгожданном торжественном акте надушенный и сияющий пан Зимницкий вручил Николаю Алексеевичу Головку свидетельство о завершении образования по гимназическому курсу с отличными

оценками по всем предметам и пожелал талантливому питомцу «порадовать всех нас на научной ниве».

Только вот — на какой именно? Он сам еще этого не знал. Математика или словесность? Чародейство слов или магия чисел?

Люди ошибаются, считая, что эти дисциплины принадлежат к разным и несовместимым, как полюса, проявлениям человеческого духа. Будто точность и строгость формул и теорем противостоит волшебному миру грез и фантазий. Но, позвольте, разве это так? Всем сердцем он чуял, что поэзия и математика, по своей глубинной сути, родственно переплетены одна с другой. Ведь чувство гармонии и меры присуще и математику, и поэту.

Почему, например, оба влечения так мирно связались в его душе? Почему с наслаждением переводил он латинские пассажи Цицерона, в которых явно чувствуется математическая выверенность каждой фразы? И, с другой стороны, как можно не видеть утонченной поэтической красоты пифагорова треугольника или доказательства Лагранжа?

На распутье он пребывал до самого августа 1841 года. Наконец, царица чисел одолела поэтическую музу, и юноша поступил на первый курс математического отделения философского факультета Харьковского императорского университета.

Именно такую запись мне удалось разыскать в фондах книгохранилища ХГУ. Единственное упоминание о будущем государственном преступнике, даже имя которого было строгойшше запрещено произносить. Но бдительные жандармы, очевидно, не доглядели. В списке студентов второго отделения философского факультета, значилось: *«Николай Головки, время поступления в университет — 28 августа 1841 года, из дворян, на собственном содержании, раньше учился в пансионе Зимницкого».*

Одна строка — и — это все, что осталось в тщательно выскобленной памяти «альма матер» о человеке, который в течение пяти лет здесь учился и блестяще защитил магистерскую диссертацию.

А изучал науки он с увлечением и самозабвенно. Харьковский университет в те годы считался едва ли не лучшим на

юге империи. Теоретические лекции, читавшиеся такими опытными профессорами, как Калениченко, Соколов, Лапшин, чередовались с практическими, экспериментальными занятиями в специализированных кабинетах — физическом, астрономическом, химическом. Родным домом для Николая Головки, как и следовало ожидать, стала научная библиотека. В ее хранилищах было собрано почти 50 тысяч томов. Многие книги, необходимые ему, были на иностранных языках. Но это препятствие было вскоре преодолено. На третьем курсе он уже свободно мог читать научные труды французских и немецких физиков и математиков, успешно постигал английский и потихоньку подбирался даже к итальянскому.

Ох, и морока была с этим итальянским! Не удалось раздобыть учебник, и он стал шаг за шагом переводить не что иное, как терцины Данте из «Божественной комедии» — едва ли не самый сложный опус во всей мировой поэзии.

И вот сейчас, сидя в блаженной теплоте читального зала Публичной библиотеки, он достаточно свободно, почти не заглядывая в словарь, переводил весьма любопытную статью итальянского физика Македонио Меллони. Основываясь на серии довольно простых экспериментов, тот доказывал, что тепло, свет и ультрафиолетовые лучи — явления одной природы. Это совпадало с точкой зрения и самого Николая Алексеевича и вызвало у него чувство радостного волнения от того, что где-то за тысячи верст, в далекой Италии, он заимел такого авторитетного единомышленника.

И тут же, спохватившись, он заметил, что стрелки стенных часов показывали, Боже ты мой! — четверть шестого! А ведь Ася обещалась прийти в библиотеку в четыре. Что-то случилось? Где она? Сам никогда не опаздывавший, он терпеть не мог безалаберности, необязательности у других. Но Ася всегда была точной и пунктуальной.

Когда девушка появилась наконец в дверях читального зала, часы показывали без пяти семь, а он весь кипел от возмущения. Ася быстро подошла к его столику, села рядом. Но Николай Алексеевич молчал, будто не слышал рядом с собой ее прерывистое, взволнованное дыхание.

Ася закрыла ладонью страницу журнала, он сердито глянул на нее, но ничего не сказал.

— Не злись, милый, сейчас все тебе расскажу, — сероголубые мотыльки ее глаз запорхали перед его лицом. — Радость у нас — Сергей приехал! Ждали послезавтра, а он... Вот и опоздала немножко...

— Совсем чуть-чуть, — произнес он наконец, показав глазами на часы.

— Сережа десять суток почти был в дороге. И накормить нужно было, и согреть... Ну и поговорить брату с сестрой тоже ведь хотелось. Ой, он столько интересного порассказывал! Я обязательно тебя с ним познакомлю.

— Зачем? — недовольно повел он плечами. Магистр избегал случайных знакомств, ограждая свой внутренний мир от посторонних глаз.

— Да ты сам меня попросишь, он ведь приехал из Оренбурга.

— Ну и что?

— Он видел там ЕГО. Понял?

— Кого — «его»? Знаешь, Ася, оставь-ка эти загадки. — Магистр еще пребывал в мире иных загадок — физических проблем света и тепла.

Ася внимательно поглядела по сторонам. Вроде бы никто за соседними столами не прислушивался к их разговору. Наклонившись к нему, она тихо, одними губами произнесла:

«Реве та стогне Дніпр широкий...»

Господи, какой он непроходимый болван! Кого — «его»? Ведь там в Оренбурге Шевченко! Вот кого, значит, видел Сергей. Совсем отупел он от этих заумных книг.

4.

Вечером к парадному подъезду был подан экипаж с четверкой высоких и гладких лошадей. Княгиня впервые после длительной болезни выезжала в свет. Ася проводила ее до кареты, тщательно увернула ноги меховой полостью и пожелала

весело провести ночь: она знала, что раньше пяти утра ее сиятельство домой не возвратится.

Девушка уже несколько лет жила в доме княгини Голицыной как ее компаньонка. Круг ее обязанностей был весьма широким. Она читала княгине душещипательные амурные романы, большей частью на французском, играла на фортепиано несложные пьески, раскладывала вместе со старухой пасьянсы и выслушивала одни и те же, докучливые как назойливый осенний дождь, ее рассказы о многочисленных поклонниках. Каждый рассказ, как правило, начинался словами: *Il etait tel homme*, он был красавец...

Приехавшему к Асе брату княгиня милостиво разрешила остановиться в ее доме. Гостю отвели просторную комнату на третьем этаже с высоким, почти до лепнины по верху стен окном. Когда Головкин в точно назначенный час явился во дворец княгини, его проводили именно сюда.

Некоторое время мужчины молча присматривались друг к другу, разговор пришлось вести Асе. Но лишь вначале. Сергей, как оказалось, был разговорчивым и живым человеком и не мог долго хранить молчание. К тому же магистр сразу понравился ему. Когда же он узнал, что тот еще и земляк, с Украины, то сразу же стал рассказывать Асе и Николаю о Тарасе Шевченко — подробно, начиная с их первой встречи.

— Привезли Тараса Григорьевича в Оренбург поздно ночью. Бросили в ордонанс-гауз, где он, бедолага, провел ночь на голом полу. Мы узнали об этом только под вечер. Федя Лазаревский, мой приятель и коллега, кинулся к начальству — разрешите, мол, повидаться с нашим земляком. И часа через полтора... Что вам сказать, мы с Федором волновались так, будто к нам должен явиться сам апостол Петр. Открылась дверь, и мы увидели обыкновенного человека... глаза какие-то утомленные и грустные. Был он в серой студенческой шинели с голубым воротничком — в чем арестовали, в том и привезли. Минуту-другую мы молча стояли, не зная, как нам вести себя с таким известным человеком. Но тут добрая улыбка осветила его лицо, и мы трое бросились в объятия друг друга.

А потом... До поздней ночи он читал нам свои вирши. И те, которые мы уже знали, и самые последние....

Сергей остановился, испытующе поглядел на Асю и Николая и, понизив голос до шепота, продолжал:

— Страшно даже вспомнить... И про царя, и про царицу. Именно за эти стихи его погнали в ссылку.

В комнату неожиданно, без стука, вошла горничная Катюша и поставила на стол кофейник с затейливыми фарфоровыми чашечками и пирожные на серебряной тарелке.

— Это была незабываемая ночь, — продолжал Сергей, когда Катюша покинула комнату. — Тарас Григорьевич остался у нас ночевать. Мы сняли с кровати матрацы, положили их на пол и погасили свечи. Но заснуть никто не мог. Вдруг в темноте мы услышали его голос:

*Забілили сніги
Заболіло тіло,
Ще й голівонька...*

Мы с Федором тут же подтянули:

*Ніхто не заплаче
По білому тілу,
По бурлацькому...*

Это была его любимая песня. Потом пели другие: „Зіроньку“, „Тяжко-важко в світі жити...“ Были минуты — мы слышали в темноте, как он рыдал. До самого рассвета никто из нас не сомкнул глаз. А на следующий день мы узнали: его отправили отбывать срок в Орскую крепость. Погань-город, как говорят казахи.

— Эти стихи, которые... Их можно переписать? — спросил магистр.

— Вы что, милостивый государь! — ужаснулся Левицкий. — Во-первых, Тарас Григорьевич читал их нам по памяти. А, во-вторых, вы же сами понимаете... За каждую строчку либо Сибирь, либо... — И он обвел пальцем вокруг шеи.

— Вы полагаете, что поэты пишут только для двух-трех своих друзей?

— Послушайте, сударь! — Сергей даже подскочил от возмущения. — Вы знаете, чем это пахнет? По вашему, пусть сгниет на каторге, да? Ради каких-то политических декламаций? Поймите, речь идет о судьбе великого поэта, о будущем нашей национальной культуры. Мы с Федором считаем, что надо любой ценой спасти его. Ради этого все годится. Покаяться? Хорошо. Прикинуться покорным? Пусть эта сволота верит, что он стал другим. Лишь бы спасти его от верной гибели.

— Думаете, что те челобитные, которые вы привезли, дойдут до царя и он милосердно отменит свою высочайшую волю? — спросил с ироничной улыбкой магистр.

— Если бы не верил, не вез бы их сюда, — с холодным достоинством отрезал Сергей Левицкий.

— И есть уже результаты? — продолжал допытываться Николай Алексеевич.

Сергей замялся.

— Я ведь всего несколько дней в Петербурге. Но кое-что успел сделать. Передал письмо княжне Репниной. Варвара Николаевна весьма влиятельная особа, имеет связи в высшем обществе, обещала помочь. Профессор Бодянский сразу же включился. Дал мне записку к очень влиятельному лицу — секретарю министра внутренних дел Редькину. Пообещали принять в пятницу. Есть еще несколько адресатов — Остроградский, Бутаков... Не волнуйтесь, до всех достучусь.

— Дай Боже нашему теляти волка съесть, — снова усмехнулся магистр.

— Что-то я не возьму в толк, земляк, — сквозь зубы процедил Сергей. — Сдается мне, вы тут здорово успели набраться петербургского духа. Вижу, вам до нашей беды и дела нет.

Ася заметила, как мгновенно отлила кровь со щек Николая. Пальцы его судорожно вцепились в подлокотники кресла.

— Ты же часто бываешь у Остроградского, милый, — поспешно сказала она и нежно улыбнулась, чтобы вывести его из

напряженного состояния.-Попробуй поговорить с ним — я знаю, сам государь император принимает его во дворце.

Магистр рванулся с кресла, стал ходить по комнате.

— Император! Добрый, справедливый, да? Отец родной! Как вы верите в него — и ты, Анастасия, и твой брат. «*О царю поганый! Царю проклятый, лукавый, аспиде насытый!*»

— Замолчи! — резко крикнула Ася. — Ты в своем уме? Что ты несешь?

— Так сказал тот, кто знает цену доброму царю.

Сергей подошел к Николаю Алексеевичу и чуть слышно, едва сдерживая себя, произнес:

— Зачем же вы просили у меня эти стихи? Это же «Сон» Шевченко. Может, решили проверить меня? Асенька, сестренка, что тут творится, не понимаю...

Вновь появилась горничная, на лице угодливая улыбочка.

— Вы меня звали, барышня? Нет? Значит, мне показалось. Может, господам принести что-нибудь?

— Спасибо, Катюша, ничего не надо.

5.

Живут отдельно Небо и Земля. Так полагают, наверное, все, кроме астрономов и поэтов. Обычные люди редко глядят ввысь — их постоянно заботят самые что ни на есть простые земные дела. И только небольшая кучка людей — тех, что не от мира сего — чудаков и безумцев, с гусиным пером в руке или с подозрительной трубой у глаза, оторвавшись от Земли, парит где-то там, за облаками, вблизи сияющих небесных светил. Вот им-то, мечтателям этим, доподлинно известно, что небесное и земное, твердь и эфир — суть не что иное, как единое целое, необозримое в своем величии и до сих пор еще не разгаданное.

Вот что говорит, например, один из этих одержимых:

«Астрономия-это одна из самых великих наук... Вступая в область этой науки, мы сразу же переносимся в бескрайний межзвездный простор, у нас исчезают все особые отношения планеты, на коей мы живем, нет больше ни верха, ни низа, ни

конца, ни начала, ни падения, ни взлета: мы в мировом пространстве, мы в середине природы».

Это ваши слова, магистр. Сызмальства вы были влюблены в звездное небо, и поэтому не удивительно, что и диссертация ваша была посвящена таинственным явлениям мироздания.

Ее, этой вашей научной работы, нет в Харькове — жандармы с корнем изъяли все, что могло напомнить о вас. Но мне посчастливилось — вашу магистерскую диссертацию я нашел в Публичной библиотеке Санкт-Петербурга. Еще даже не веря в такую удачу, беру из рук библиотекарки тоненькую книжечку, ваш автореферат, и несу ее к своему столику — быть может, именно в том зале, где когда-то сиживали и вы.

«О падающих звездах. Разсуждение Николая Головкава» (кстати, откуда появилось это конечное «в», не знаю). Дальше, внизу: «Харьков. Печатано в университетской типографии 1847».

С давних времен, пишете вы, камень, упавший с неба, считали божественным. Плутарх, описывая один из подобных небесных пришельцев, называет это явление чудом. Древние люди, жившие на берегах Ориноко, считали падающие огоньки волосами звезд. По поверьям литовцев, богиня судьбы Верпея прядет из звезд нити жизни. Когда она разрывает нить, звезда падает на землю, а вместе с нею исчезает и чья-то жизнь.

Как же относится наука к этим волшебным сказаниям? Сотни пытливых глаз вглядывались в звездное небо, пытались раскрыть загадку падающих звезд. Наблюдатель обычно лежал на крыше, помощник находился рядом. Стоило в небе появиться падающей звезде, помощник тут же, взглянув на часы, делал запись в журнале, например: «7 час. 28 мин. — яркая, первой величины, определена в Персее — начало и конец». При свете фонаря помощник наносил на карту путь звезды. Это было похоже, сказали бы мы теперь, на увлекательную детскую игру. Но уже таким незатейливым способом удалось доказать, что звезды не только «падают», но и летят вверх и вообще движутся по самым разнообразным и беспорядочным направлениям.

Химический анализ этих небесных тел показал, что они состоят в основном из тех же самых элементов, что и Земля (это ли не еще одно доказательство единства и взаимосвязи небесного и земного!): железо, кремний, хром. Но чем же объяснить падение звезд? Некоторые ученые — такие, как Лаплас, считали, что небесные тела падают на Землю с Луны. Гаусс, наоборот, был приверженцем космической теории, объясняя появление метеоритов и комет остатками первозданного вселенского хаоса. Третья теория провозглашала земное происхождение небесных пришельцев, например, в результате извержения вулканов.

Двадцатидвухлетний претендент на соискание ученой степени подверг анализу все три научных концепции. Решительно отбросил «лунную», а оставшиеся две посчитал необходимым проверить путем дальнейших научных экспериментов.

Не будем, понятное дело, пытаться дать современную оценку диссертационной работе нашего героя. Ведь с той поры наука взлетела в такие выси! Но заметим, что на торжественном акте в университете доклад вызвал неподдельно живой интерес ученых. Отмечали богатую эрудицию соискателя, умелый анализ тщательно подобранного научного материала, а также свойственный автору научный романтизм. Молодому ученому порекомендовали непременно продолжить свое исследование — желательно в Пулковской обсерватории, оснащенной новейшими астрономическими приборами.

Это был незабываемый день — 15 МАЯ 1847 ГОДА. Поздравления, цветы, напутственные речи, дружеские объятия, поцелуи и слезы восхищенных родителей...

А далеко от Харькова, в городе Санкт-Петербурге, именно в этот день жандармы доставили в Третье отделение арестованного Тараса Шевченко на очную ставку со студентом Георгием Андрузским, который, как и поэт, был членом преступного Кирилло-Мефодиевского братства. Стремясь выгородить себя, тот, как свидетельствует сохранившийся протокол, показал, что Шевченко всех сторонников монархии называл поддателями и призывал славянское общество к более решительным действиям. «Синие тюльпаны» на Фонтанке с удовлетворени-

ем потирали руки: дело, которое они лепили, превращалось в раскрытие особо опасного антигосударственного заговора.

Так впервые, лишь во Времени, а не в Пространстве, случайно соприкоснулись лучи этих отдаленных друг от друга звезд — поэта и магистра. Лишь позднее судьба свяжет эти лучи в один трагический узел.

Но пока никто из них не знает о своем будущем. Поэт ждет своей участи в каземате Петропавловской крепости, а магистр, имея при себе рекомендательное письмо к самому академику Остроградскому, едет на заднем сиденье тряского дилижанса в северную столицу. Навстречу своему будущему... Своей смерти...

6.

Леонтий Васильевич Дубельт, генерал-лейтенант, начальник штаба корпуса жандармов, попивал маленькими глотками кофий и в который раз просматривал лежащие перед ним на зеленом сукне бумаги.

Дело было весьма деликатным, ибо под прошением стояла подпись высокопоставленного и влиятельного человека — генерал-адъютанта графа Василия Алексеевича Перовского. И адресована она была не шефу жандармов графу Орлову, а именно ему, Дубельту, чьею дружеской поддержкою, очевидно, автор рассчитывал заручиться.

Зная, что у вас крайне мало свободного времени, писал граф Перовский, я не имею намерения докучать вам личными пояснениями, и поэтому, прилагая при сем записку относительно одного дела, прошу покорно ваше превосходительство ознакомиться с ней в свободные минуты, после чего известить меня: можно ли что-нибудь, по-вашему, сделать для облегчения участи Шевченко. Заслуживает ли он, на ваш взгляд, особого ходатайства?

Несмотря на кажущуюся деликатность стиля, граф ставил вопрос прямо, без всяких дипломатических выкрутасов: *заслуживает* или *не заслуживает*. Спрашивать легко, бумага все стерпит, а вот над ответом приходится ломать голову. Ведь Ду-

бельт отлично помнил, что на обращение княжны Репниной еще два года назад монаршьё волеизъявление не было получено.

Что же изменилось с тех пор? В справке, приложенной к письму графа, этот политический преступник Шевченко выглядел агнцем божьим: и ведет себя, мол, безукоризненно, и принес много пользы за время Аральской экспедиции как отличный рисовальщик, и вообще он слаб здоровьем — неоднократно страдал цингой и другими хворобами.

Смех да и только! Мужик, бывший крепостной, ему бы впору плут на себе тягать, а они из него какую-то барышню кисейную делают, принцессу на горошине, черт возьми! Не нужно, господа, играть в кошки-мышки с Дубельтом, имя которого — это ведь он точно знал! — наводит страх на всю империю. Недаром люди, лишь услышав его имя, в ужасе крестятся, будто отгоняя от себя нечистую силу, и шепчут: „Храни нас Господь“.

Самодовольная усмешка появилась на его иронично изогнутых тонких губах, полуприкрытых длинными светлыми усами. Коль боятся — значит, он на своем месте, на страже порядка и спокойствия державы. Когда он, армейский офицер, пришел на службу в Третье отделение, его первый наставник, незабвенный Александр Христофорович Бенкендорф, сказал: „Государь назначил нас, высшую полицию, недреманным оком и карающим мечом“. Эти слова Дубельт запомнил на всю жизнь. А вот горячо любимая супруга несколько не уразумела тогда неожиданного поворота в его армейской судьбе. В тот день, когда он впервые явился домой в голубом мундире штабс-офицера, мадам Дубельт, всплеснув полными белыми ручками, прямо-таки пырнула со смеха: „Боже мой, что за маскарад, Леон! Я обожаю все цветы, кроме синих тюльпанов!“ Будучи родной племянницей адмирала Мордвинова, либерала и вольтерьянца, она тоже, к сожалению, исповедывала многие никчемные идейки своего дядюшки. Леонтий Васильевич, разумеется, не стал поддерживать ее иронично-насмешливый тон и ответил серьезно и уверенно:

— Понимаешь, шер ами, ежели, вступая в корпус жандармов, я сделаюсь фискалом и осведомителем, тогда доброе имя мое, безусловно, будет запятнано. А вот коль скоро пожалованной мне властью я стану опорой обездоленных и несправедливо обиженных, тогда как ты назовешь меня и мою новую должность?

Может быть в ту пору, у самых истоков своей полицейской карьеры, он искренне верил в эти красивые слова. Но со временем осознал, что жандарм надевает белые перчатки только на плац-парадах. А в прочие дни, когда приходится иметь дело с грязью и кровью, их надо снимать.

Бронзовые часы с амуrom на мраморной полке камина пробили одиннадцать. В половине двенадцатого шеф жандармов граф Орлов ждет его с докладом, а он еще до сих пор не определился, какую позицию занять, чтобы продемонстрировать начальству свой ум и политическую интуицию.

Поддержать прошение Перовского либо скомпрометировать его в глазах шефа? Вот над чем он сейчас напряженно раздумывал, отставив на край стола пустую чашку и пуская одно за другим сизые табачные кольца. Его сухое жилистое лицо, о котором говорили, что оно в зависимости от обстоятельств, напоминает либо волка, либо лису, теперь явно было похоже на остренький лисий лик, вынюхивающий след своей жертвы.

Чтобы попасть точно в цель, нужно знать, кто именно стоит за этим Перовским. Чего это ему, генерал-адъютанту, вздумалось лезть в эти запутанные малороссийские дела? Вот где заковыка. Неужели, действительно, граф восторженный почитатель этого стихоплета Шевченки? Глупости, полнейший бред! Голову на отсечение, что ни одной строчки этих поганых виршей он и в глаза не видал. Тогда какого дьявола берет под защиту смутьяна и мерзавца? Значит, за спиной этого негодяя стоят очень влиятельные особы, не желающие светиться. Но кто именно? На этот самый важный ключевой вопрос генерал Дубельт ответить не мог.

Ему не было известно, каким причудливым образом послание Перовского очутилось в Третьем отделении. И то, как

незадолго до этого Сергею Левицкому удалось наконец добиться аудиенции у Редькина, секретаря министра внутренних дел Льва Алексеевича Перовского, который был родным братом генерал-адъютанта Василия Алексеевича.

Сергей вручил Редькину записку Осипа Бодянского с просьбой оказать помощь в деле Шевченко. Разговор с секретарем министра был коротким и сугубо официальным. Напоследок, правда, Редькин пообещал при случае замолвить словцо министру, но это, как показалось тогда Сергею, был скорее вежливый способ избавиться от назойливого и разговорчивого провинциала, нежели действительное обещание помощи.

Прощавшись с ним, Сергей ушел без всякой надежды. Но, вопреки его предположениям, эта «канцелярская крыса» незамедлительно стала действовать. В тот же день Редькину удалось в разговоре с министром осторожно коснуться этой скользкой темы. Лев Алексеевич был весьма шокирован и даже разгневан.

— Не понимаю вас, милостивый государь. Государственный человек, а мелете какую-то чушь собачью. Я своими распоряжениями как министр внутренних дел запрещаю распространение произведений этого проклятого Шевченки как вредных и опасных для государства. Приказываю изъять из продажи то, что было напечатано. А что предлагает мне мой секретарь, на коего я полагаюсь как на своего ближайшего помощника? Чтобы я другой рукой подписал петицию в защиту того, чьи книжки уничтожат по моему же приказу?! Абсурд!

Редькин молча склонил голову в знак того, что осознал свою вину. На самом же деле он был уверен, что разговор этот не останется без последствий. И словно в воду глядел. Спустя несколько дней министр сказал своему секретарю:

— Мой братец Базиль поедет к Дубельту — можешь радоваться. Они вместе служили, в одном полку. Крутили там амуры с дамочками — короче, ты понимаешь — друзья. Во-вторых, братец сейчас не у дел, ему рисковать нечем.

Так послание графа Василия Алексеевича Перовского попало на стол его бывшего однополчанина генерал-лейтенанта

Дубельта. Оно и лежало сейчас перед шефом жандармов начальником Третьего отделения графом Орловым.

Сидя визави, в глубоком кожаном кресле, Дубельт внимательно следил за круглым холеным лицом Алексея Федоровича и невольно вдыхал тончайший аромат парижских парфюмов. Мысленно Дубельт осуждал шефа за эти дамские причуды. И правда же, мужику шесть десятков стукнуло, зачем же прикидываться молоденьким? Ведь каждому известно, что в тщательно завитых буклях прячется приличная (или скорее неприличная!) лысина. Шутили еще втихомолку, что александровскую ленту через плечо шеф жандармов никогда не снимает (даже ложась в постель с любовницей), ибо она, т. е. лента, скрадывает солидное генеральское брюхо.

Вторая персона в государстве, которую сам император называет не иначе, как „брат Алексей“, пыжится из всех сил, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что он уже старик. Смех да и только!

Всем при дворе было хорошо известно, что их с императором дружеские отношения возникли в тот приснопамятный зимний день на Сенатской площади, когда бравый командир лейб-гвардейского конного полка Алексей Орлов первым привел к присяге на верность новоявленному государю своих солдат, а потом яростно атаковал ряды бунтовщиков. Эта преданность в роковые минуты не была забыта царем. Особо оценил он подвиг молодого офицера, узнав, что среди восставших был его родной брат Михаил. Поэтому, возможно, царская милость была безмерно щедрой: Орлов был пожалован графским титулом и со временем возглавил едва ли не важнейший департамент державы — тайную полицию.

Год за годом он строил свое маленькое царство — незримую сеть, опутывающую все города и веси громадной империи. Тысячи агентов, филеров, сыщиков в голубых мундирах и партикулярном платье высматривали, вынюхивали, выискивали то, что хоть отдаленно напоминало крамолу. В курьерских сумках сюда, на набережную Фонтанки, стекались секретные документы о нигилистических настроениях, неосторожно сказанных словечках, недозволенных цензурой виршах. Дер-

жава страха и сыска, которой не было равных во всей Европе. А человек, сидевший сейчас перед Дубельтом, был ее некоронованным властителем.

Орлов перевернул последнюю страницу и сказал:

— Умница этот Перовский, не правда ли?

Голос шефа был доброжелательным, в прищуренных глазах Дубельту почудилось даже некое подобие обычно не свойственной им улыбки, и он решил, что это добрый знак благорасположения к просьбе Перовского.

— Шевченко, — начал он, — безусловно, политический бунтовщик и подстрекатель. Однако наш великодушный монарх не лишил его жизни. Хотя за подлые клеветы на особ императорской фамилии стоило бы приговорить этого мерзавца к высшей мере. Но мудрость его величества в том, что даже три года армейской службы прочистили мозги этому государственному преступнику. По данным Перовского и по имеющимся у нас сведениям, этот Шевченко стал иным, полностью осознав свою вину. Представим теперь, что мы несколько ослабим его армейский режим. Не нужно быть большим психологом, чтобы предположить с очевидностью: он станет *нашим*. За разрешение малевать продаст и собственную мать!

Рифма сорвалась с языка неожиданно, и Дубельт позволил себе рассмеяться, рассчитывая, что и Орлов поддержит его и, таким образом, дело будет решено.

Увы, он тут же осознал, что обмишурился.

— Может, приставить к пану Шевченко парочку денщиков, чтобы растирали ему краски? — гаркнул Орлов.

Дубельт понял: вышла осечка. У шефа, видимо, были иные соображения. Но отступать уже было некуда. Надо постараться отстоять свою позицию, не уронить свои мозги перед начальством.

— Речь идет вот о чем, ваше сиятельство, — начал он спокойным и уверенным тоном. — Шевченко, как известно, проявлял свою неблагонадежность в стихах. Что касемо рисунков, то именно в них крамольное содержание не обнаружено. Поэтому, позволю себе заметить, что ходатайство генерал-адъютанта Перовского о дозволении Шевченко занимать

ся рисованием можно было бы поддержать. И еще одно немаловажное обстоятельство, вам, очевидно, известное: Василий Алексеевич Перовский был в свое время адъютантом нашего государя, и его прошение могло бы встретить благожелательное расположение нашего дорогого монарха.

Орлов некоторое время молчал, внимательно рассматривая свои белые длинные ногти.

— Если согласиться с вами, милостивый государь, — сказал он раздумчиво, — то человек способен быть одновременно и дьяволом, и ангелом. Скажите, можно ли в стихах выливать грязь и желчь на наш государственный строй, а на своих картинках, наоборот, прославлять его? Это категорически противоестественно. Вспомните, голубчик, что вы сами же рассказывали мне про Пушкина. Ведь именно вы после смерти поэта пересмотрели весь его архив прежде чем опечатать кабинет. Не так ли? И что же вы увидели на полях рукописей? Декабристы, виселицы, карикатуры на высших лиц державы. И этот Шевченко той же породы. Ибо пишет и рисует одна рука. И не верю я, что этот мерзавец стал другим. Черного кобеля не отмоешь добела. Вот так.

Он макнул перо в чернильницу и что-то коротко черкнул на уголке первого листа записки Перовского. *Еще рано* — прочитал Дубельт, складывая бумаги в сафьяновую папку.

— А ваш Перовский, вместо того, чтобы заступаться за других, лучше бы навел порядок в собственном доме.

— А что такое? — насторожился Дубельт.

— Разве не слышали? — самодовольно усмехнулся Орлов. — Его сын, офицер-артиллерист, оказался замешан в расхищении армейского имущества. Продавали дельцам и маклерам за большие деньги, которые потом просаживали в игорных и прочих увеселительных заведениях. Неужели ваши люди не доложили вам?

Орлов не скрывал своего превосходства, глядя на растерянную физиономию своего помощника. Оба они никогда не пропускали случая подколоть друг друга. На этот раз верх взял Орлов, а вот он, Дубельт, проявил свою полнейшую неосведомленность.

Прижав папку под мышкой, Леонтий Васильевич поспешил к себе. Еще в коридоре почувствовал, как заныла старая, еще с бородинских времен, рана. Припадая на левую ногу, тяжело проковылял к себе.

Так осрамиться, ужас! На душе было горько от того, что этот надушенный и напомаженный бонвиван так поиздевался над ним. Как же он, Дубельт, мог так опростоволоситься? А все потому, что ни одна собака из этих подлых выжиг сыщиков, которых он содержит, не дала рапорта на Перовского — младшего. Вот и сел в лужу, поставил не на ту лошадку, опозорил себя в глазах шефа.

В приемной, перед его кабинетом, сидели и стояли люди. Цепким глазом он сразу увидел того, кто был ему сейчас нужнее всех — филера Рябикина. Легким кивком головы генерал приказал ему следовать за собой.

— Скажи, любезный, тебе что-нибудь известно о злодействе в артиллерийском корпусе? — спокойно, даже с приветливой улыбкой спросил Дубельт.

Но филер видел перед собой только серые, с металлическим отливом глаза, буравящие его насквозь. Волк, остромордый, безжалостный, который вот-вот вопьется в горло.

— Что-то слышал об этом, вашество, — пролепетал Рябикин.

— Может, и про Перовского тоже краем уха, а?

Дубельт подошел к филеру, задышал прямо ему в лицо.

— Чего молчишь, сволочь? Где рапорт на Перовского?

И, размахнувшись, влепил бедняге филеру такую оплеуху, что тот брякнулся на навощенный паркет.

— Бездельник! Лодырь! — кричал он. — Тебе лишь бы деньги, да? На улицу выброшу, мерзавец! Почему о Перовском я должен узнавать от других? Где мои агенты? Где?

— Не губите, вашество!.. Деток пожалейте!.. — извивался под ударами дубельтовых башмаков филер. — Перовский — это же казнокрадство, а вы... Вы же приказали, вашество, докладывать вам только о политических делах.

«Логично» — промелькнуло в голове Дубельта, но он не подал виду, хотя несколько смягчил тон.

— И какие же политические дела ты раскрыл ?

Агент, почувствовав, что буря, вроде бы, проходит, поднялся с пола, вынул из кармана какую-то бумажку.

— Поглядите, ваше превосходительство, с этим направлялся к вам.

— Что там, говори.

— У княгини Голицыной собираются малороссийские бунтовщики. Один из них прибыл из Оренбурга. Привез наказ от Шевченки...

— От Шевченки?

— Так точно, вашество. Его подстрекательские вирши, письма.

Вот так фортель! Какой реванш он возьмет теперь у Орлова! Блеск!

— Хочешь сказать, что княгиня замешана в малороссийских делах? — спросил он насмешливо.

— Ни в коем случае. Это ее компаньонка, Анастасия Левицкая. Она принимала этих двоих.

— Кого именно? Фамилии!

— Один из них ее родной брат Сергей... Второй... Они называли его Николай Алексеевич, магистр.

— У нас под наблюдением есть один магистр. Просмотри картотеку.

— Слушаюсь, вашество.

— А от кого извет?

— Горничная княгини. Бегунова Екатерина. Источник проверенный.

— Возьми Дьякова и наблюдайте днем и ночью. За магистром и тем, из Оренбурга. Докладывать немедленно.

Дубельт вынул из ящика стола пачку денег, протянул филеру трешку.

— От меня твоим детишкам.

Леонтий Васильевич всегда выдавал агентам суммы, кратные трем. Может быть, имея в виду те тридцать сребреников, которые получил первый в мире доносчик Иуда Искариот.

После лекций в Артиллерийской академии Михаил Васильевич Остроградский отправился домой. День выпал нелегкий — даже могучий организм академика испытывал переутомление и усталость. Утром он читал лекции по математической физике в Институте путей сообщения, потом надо было ехать на южную набережную Васильевского острова, в Морской кадетский корпус, на заседание кафедры математики. А заканчивался этот нескончаемый четверг уже на Петербургской стороне, в Артиллерийской академии, лекцией по теории баллистики.

Маленькое окошко кареты было сплошь залеплено мокрым снегом. Он припал к нему глазом — тем, которым еще видел, живым — но так ничего и не мог различить: знакомые здания с трудом угадывались за сплошной метельной пеленой. Лишь когда лошади побежали по Благовещенскому мосту, Остроградский ощутил, что он уже дома.

Двери открыла сама Марья Васильевна, его супруга.

— А у нас гость, — сказала она с улыбкой, снимая с него тяжелую бобровую шубу.

— Хороший гость хозяину в почет, — сказал он, вопросительно глядя на нее.

— Хороший, будешь рад.

Он направился в кабинет, и оттуда тотчас же грянула «иерихонская труба» — так студенты промеж себя называли зычный бас академика.

— Здорово, казаче! Каким ветром завяло?

У окна, в стареньком продавленном кресле, сидел магистр Головки.

Два года тому назад, приехав из Харькова, он впервые пришел в этот дом. Волновался, ожидая увидеть заносчивого и спесивого старца, недовольного вторжением в его цитадель.

Но перед ним стоял отнюдь не академический сухарь, а громадного роста человек, широкоплечий, краснолицый, шумный, радушно обхвативший его могучими мужицкими лапищами.

Головко сразу же пришелся по душе Михаилу Васильевичу. Умен, скромн, а главное — земляк, с Украины, которую Остроградский, в прошлом полтавец, никогда не забывал.

Мельком пробежал рекомендательную цидулку декана математического отделения Харьковского университета, который просил «ученого с мировым именем» помочь молодому и талантливому земляку. Более внимательно академик полистал страницы автореферата диссертации, но ничего не сказал ожидавшему с затаенным дыханием магистру — потом, мол, покалякуем. Зато засыпал гостя десятками самых разнообразных вопросов. Не утратила ли своей былой славы Харьковская математическая школа? Над чем работают профессора Соколов и Павловский? Почему сейчас фунт сала на Конном рынке? А на Благовещенском? Построили ли в Харькове водопровод или до сих пор по улицам ездят водовозки?

И так без конца. Остановить его было невозможно. Гость из Украины пробудил в его душе сладкие воспоминания.

— Судьба моя спервоначалу не с той ноги плясать пошла. В своих Кобеляках, где я родился и вырос, равного мне по крепости среди молодцов-огольцов не было. Любому мог морду свернуть или ребра пересчитать. Кулачищи железные, а вот разума — ни-ни: был, понимаешь, глуп по самый пуп. К чему ж, думаю, силу свою приложить? Вот и решил: стану воякой. Солдатом или генералом — тогда мне было все едино. Лишь бы врагов колошматить, царя-батюшку оборонять. А где учиться? Ясное дело — в столице. Вот отец и повез меня в Петербург. Из Полтавы прибыли в Харьков, ждем дилижанс. День ждем, два, что-то там стряслось, не можем дальше ехать. А я гуляю себе, по улицам шатаюсь, однажды возле университета очутился. Вижу — студенты кучкой стоят, спорят, доказывают что-то друг дружке. Подошел к ним, а они с задачкой какой-то морочатся. Протиснулся я, условия прочитал и мигом решение выдал. Они рты поразевали: кто ты, мол, и откуда. А я рукой махнул, пошел себе дальше. Вот тут судьба и шепнула мне на ушко: «Здесь твое место, Михайло. А царь-батюшка других защитников себе сыщет».

Он громко захохотал — едва не погас огонек свечи в старинном серебряном шандале.

С той поры магистр частенько захаживал к Остроградскому. По протекции академика Николаю Алексеевичу удалось устроиться в университете, на кафедре математической физики. Курс, правда, был небольшой, с почасовой оплатой, в основном проведение коллоквиумов и консультаций. Магистру, конечно, этого было мало. Он верил в свои силы, мечтал о великих открытиях — недаром же он приехал сюда, за тысячу верст от родного дома.

Душой он снова рвался к звездам — хотелось продолжить начатое в Харькове. Но Остроградский был иного мнения. Сперва он раздела под орех диссертацию: школярская работа, поэтика подавляет точную науку. Нет, нет, сейчас необходимо другое.

— Ты, Николай, не экспериментатор, поверь мне. — Он уже обращался к магистру по-свойски, как к давнему знакомому. — У тебя немалый научный багаж, есть умение отрываться от эмпирического материала. Твоя дорожка в науке — теоретическое мышление. Тебе нечего делать в Пулкове. Я бы посоветовал взяться за... Ну скажем, почему тебе не заняться физической оптикой? Есть интересные работы Форбса, Юнга, чуть раньше этим занимался Френель. Думается, настало время разобраться и обобщить то, что уже сделано. Тебе это по плечу. Такая работа может вывести на теорию. Ну как, аппетитно? Сам бы кинулся в эту баламуть, да поздно. Был конь, да изъездился, как говорят у нас на Полтавщине. А у тебя, казаче, в твои двадцать три — все козыри на руках!

У «старого хрена», как он сам называл себя, была, конечно, зверская интуиция. Проблема сразу же захватила магистра. День за днем он перелопачивал труды могучих физиков прошлого. Разобраться подчас было не так-то просто.

Ньютон исходил из того, что свет — это поток корпускул, микроскопических частиц. Но как же тогда объяснить явления интерференции и поляризации света? А вот сторонники волновой теории Юнг и Френель, вслед за Гюйгенсом, рассматривали свет и тепло как явления одного процесса, кото-

рые различаются только длиной волны. Именно такое представление давало возможность теоретически допустить наличие электромагнитных волн, а это коренным образом изменило бы современные представления о природе света.

Вскоре все фонды Публички и библиотеки Академии наук были исчерпаны. Иноземные журналы по физике и химии, крайне необходимые магистру, были в обеих библиотеках с большими пропусками, а некоторые и вовсе не поступали в Россию.

Работу пришлось несколько приостановить. Пока что Остроградский посоветовал Николаю Алексеевичу обобщить и проанализировать собранный материал. Помог с публикацией: в одиннадцатом номере «Журнала Министерства народного просвещения» появилась большая статья Н. А. Головки «Очерк современного состояния вопроса о поляризации тепла». Математическое обоснование выводов автора было изложено во второй части и представляло собой серьезную заявку на построение в дальнейшем системы теоретических принципов.

— Нужно ехать за границу, — сказал Михаил Васильевич, прочитав и одоблив статью. — Только не спрашивай меня, где взять деньги, ибо я сам не знаю. Надеяться на Академию могут только идиоты: там даже голодной крысе нечем поживиться. Но не горюй, хлопче. Дай время, что-нибудь да придумаем.

Минул год. Головка иногда заходил к академику, но никаких разговоров о продолжении начатой работы не велось. «Наверное, забыл», — думал про себя магистр. Но гордость не позволяла ему напомнить Остроградскому о его обещании.

Вот и сегодня он пришел к Михаилу Васильевичу совсем по другому делу, далекому от науки. Николай Алексеевич не терпелось рассказать ему обо всем услышанном накануне от Сергея Левицкого. Может, знаменитый ученый, член Петербургской и нескольких иностранных академий, заступится за ссыльного Шевченко, замолвит где следует свое авторитетное словечко.

Маистру было известно, что Остроградский страстно любил Шевченко, знал на память десятки его стихов, был даже

лично знаком с поэтом. Рассказывал, как однажды, в шумном застолье, Тарас Григорьевич, сидевший напротив академика, заметил, что тот кроме воды ничего не пьет. Указав глазами на непочатый бокал вина, поэт сказал: «Я знал, конечно, что математики помимо своей науки ничем более не увлекаются, но чтобы совсем не пригубить — такое я вижу впервые». На это Михаил Васильевич рассказал поэту, что давно, еще в студенческие годы, в Харькове, выпил два погребца и учинил такой пьяный дебош, что по сей день стыдно. «Вот с той поры даже усов в вине не мочу». «А вы, друже, пейте так, чтобы они оставались сухими — это ведь очень просто», — сказал поэт и лихо опрокинул в себя полный бокал.

Эту байку вспомнил сейчас Головки, ожидая Михаила Васильевича. Пришел же он к Остроградскому, потому что обещал Асе поговорить с академиком, хоть и не надеялся, что тот захочет влезть в политическое дело. После ареста Шевченко академик стал реже вспоминать о своих встречах с ссыльным поэтом, быстро переводил разговор на другие темы.

Магистр решил начать разговор сразу же, как только придет Михаил Васильевич. Задать вопрос прямо, в лоб, без всяких дипломатических выкрутасов. Но, едва в дверях появился этот великан, оглушивший гостя своим зычным хохотом и стиснувший его в могучей обнимке, все планы Николая Алексеевича пошли кувырком и инициатива тут же перешла к академику.

— Молодчага, что явился. На ловца, как говорят, и зверь бежит. Так вот, казаче, есть новости и весьма приятные. — Он уставился своим единственным глазом на магистра, чмокнул губами. — А ты, голубь мой, с лица спал, не нравишься мне. Дело, конечно, ясное: живешь один как перст — когда поел, а когда и рукавом обтерся. Молчи, я все разумею! Пошли в столовую, знаешь чем нас попотчует моя благоверная?

Он сделал многозначительную паузу и тихо, чуть ли не шепотом, произнес:

— Натуральным украинским борщиком с растертым салом и пампушками. Страсть как люблю.

За обедом, не дав Николаю Алексеевичу и слово молвить, Михаил Васильевич в двух словах изложил суть своей идеи.

Она заключалась в следующем. У Пуассона, как известно, имеется ряд научных работ относительно влияния вращения Земли на полет снаряда. Французский математик изучал зависимость траектории от различных факторов. Эти научные труды попали каким-то образом в Санкт-Петербург, в военное министерство, а там очень заинтересовались ими. Генерал Философов, занимавшийся этим вопросом, доложил государю. А тот *высочайше повелеть изволил*, чтобы сим предметом занялся академик Остроградский.

— Я выполнил ряд исследований, касающихся баллистики, — продолжал Михаил Васильевич, — и передал все данные военному министерству. Как они распорядились ими, стали ли пушки стрелять лучше, — не знаю: никто меня не известили. И вроде бы на этом деле конец. Ан нет! — Он с хитринкой поглядел на магистра, который ровным счетом не понимал, к чему клонит Остроградский. — Позавчера меня вновь вызывают к генералу Философову и приказывают немедленно продолжить исследования по баллистике. Теперь уразумел?

Магистр пожал плечами: какое отношение он имеет к траектории артиллерийских снарядов?

— Ой, казаче, казаче... Да я же смогу командировать тебя за границу, понял? Во Францию или в Англию. Ну как? Здорово? Полдня моя баллистика, полдня твоя поляризация. Да плюс еще ночь можно употребить.

— Это ты уж хватил, Михайло Васильевич, — не выдержала «благоверная». — В его-то возрасте ?

— Права, матушка, права... Оставим ему ночку не для физики, а для физиологии.

И весь затрясся от хохота.

— Короче, разберешься на месте. Пакуй чемоданы. Побольше теплой одежки, пригодится. Я в Париже снимал каморку на чердаке за 80 рубликов. Экономил, естественно. А как зима накатила, так чуть Богу душу не отдал — холодина и сырость страшная. Пришлось разориться — снял комнату с камином. Отдал шестьсот рублей за зиму и еще глаз свой

впридачу. Спичка фосфорная чиркнула, искра как отскочит — и глаза нет.

Трапеза была окончена. Головка поднялся, поклонился хозяевам, поблагодарил за трапезу.

— Завтра начнем оформлять бумаги, — сказал Остроградский. — Не вижу радости на физиогномии. В чем дело, хлопче?

— Благодарю вас за доверие, Михаил Васильевич, но принять вашу пропозицию не могу.

Остроградский остолбенел.

— Ты что? Спятил? Голова дубовая, это ведь один путь прорваться в большую науку. Что тебя так пугает? Баллистика?

Николай Алексеевич кивнул.

— Согласен, с кондачка ее не схватишь. А я для чего, как ты думаешь? Помогу, не брошу тебя.

Головка ответил не сразу, но тихо и твердо:

— Да я не боюсь, Михаил Васильевич. А вот не нравится эта наука, не по душе.

— Не понимаю твоих слов. Поясни.

— Чтобы царские пушки били в цель? В мадьяр, в поляков? Пусть лучше мимо, я этим палачам не помощник.

— Заткнись! — взревел академик. Лицо его стало багровым, щеки тряслись от гнева. — Не слышал я этих поганых слов!

Тяжело дыша, он подошел к окну. Долго молчал. Потом, овладев собой, стал говорить. Не в обычной своей разухабистой манере, а просто и задушевно:

— Ошибся я в тебе, Николай Алексеевич. Извини, скажу тебе все начистоту. Не ученый ты, нет. Тебя разве влечет научный поиск, радость открытий? Меня мороз по коже продрал от твоих слов. Стены имеют уши, не малое дите, понимать должен. А при длинных ушах имеются еще и острые когти. Жаль мне тебя, Николай. Пропадающая ты душа. Глупо рассуждаешь, жизнь свою калечишь. Вспомни хотя бы своего предка-звездочета. Галилея имею в виду. Ради науки склонил

свою великую голову перед святой инквизицией. А ты? Чистеньким хочешь остаться?

Магистр молча подошел к двери, на миг остановился, чтобы попрощаться, но неожиданно для самого себя сказал другие слова — те, с которыми он явился в этот дом.

— Уважаемый Михаил Васильевич, я пришел сегодня к вам, чтобы просить за одного несчастного человека, которого вы хорошо знаете — за Шевченко. Он погибает там, на каторге. Есть несколько влиятельных людей, которые могли бы ему помочь. Вы в их числе. Я надеялся, что вы... Но после нашего разговора понял — зря я пришел сюда. Это же политика, а вы ученый...

Едкий кашель перехватил его горло. Магистр схватился за грудь: больно сдавило сердце, Остроградский понял: начался приступ. Он знал о крохотной бомбочке, которую магистр носил в груди. Мгновенно усадил его в кресло, расстегнул воротник сорочки, открыл форточку. Свежий морозный воздух ворвался в комнату.

— Успокойся, Николай, не держи зла на меня. Останемся друзьями, лады?

Он сел рядом с магистром, нежно взял его слабую бледную руку своими могучими лапами.

— Я тоже был когда-то молодым и отчаянным, как ты. Восхищался декабристами, посещал какие-то кружки, тайные общества. *Liberté, Égalité, Fraternité!* От этих слов ходуном ходила голова. Разве я знал, что за мной велась слежка? Замечаю только: раз не выпустили за границу, другой. А потом, Николай, пригласили меня куда надо... И рассказали там про меня такое, о чем я и сам даже не знал. Вы о Елисейских полях мечтаете, милостивый государь, а по вас, знаете, сибирские ветры плачут. Коль голова на плечах есть, напишите нам кое-что. Положили передо мной лист бумаги, а я сижу как каменный, молчу. Пишите, говорят, не то в скором времени пожалеете, да поздно будет. Так вот, друже... Можешь презирать меня... Взял я в руки перо и собственной рукой написал то, что требовали от меня «синие тюльпаны». Я, такой-то, имя рек, не принадежу к тайному обществу ни в самой империи, ни за ее

пределами. И обязуюсь впредь никаких отношений с оними не иметь. Так и написал, слово в слово. Что же ты хочешь теперь от меня, дорогой мой? Ведь этот лист бумаги, подписанный моей закорючкой, хранится где-то в железном шкафу в известном тебе доме на Фонтанке. Видишь, брат, прошел я сквозь сито и решето и больше не хочу встречаться с ними — баста! Никто не поможет Тарасу. Пойми, плетью обуха не перешибешь. Все мы ходим под НИМ.

Он показал глазами на потолок и низко наклонил голову. Магистр никогда раньше не видел академика таким бессильным, поникшим.

— Первому тебе исповедовался, Николай. О той бумаге на Фонтанке никто не должен знать. Даже моя Мария Васильевна...

8.

Окраина Петербурга, где проживал магистр Головки, неизвестно почему называлась Колодной, как старинный подмосковный городок. Здесь не было роскошных особняков, ажурных решеток, радующих глаз скверов с аккуратно подстриженными деревьями.

Издавна в Колодне селился рабочий люд — ремесленники, мастеровые, мелкие торговцы. Находили здесь пристанище неимущие чиновники, студенты и прочая разночинная беднота.

Сергею Левицкому пришлось порядком поплутать среди старых задымленных домов, пока он наконец не очутился в маленьком, стиснутом со всех сторон дворе, перед подъездом, на дверях которого среди многих цифр значился и номер квартиры магистра.

Головки жил здесь уже второй год, снимая две небольших комнатки на верхнем, под лестницей на чердак, пятом этаже. За жильем с самоваром и стиркой белья хозяин Людвиг Францевич брал совсем недорого — семь с полтиной. Но дошлый и въедливый немец требовал от своих жильцов невзирая ни на что платить за квартиру ежемесячно, день в день —

каждого пятого числа. А это не всегда получалось. Можно, конечно, было бы поселиться вдвоем, с компаньоном, и поделить расходы. Но Головка сразу же отбросил эту мысль. Ибо «кто не любит одиночества, тот не любит и свободы», как выразился его духовный наставник Шопенгауэр.

Сергею сразу же бросилась в глаза аскетическая простота головковского жилища. Словно для того, кто здесь проживал, это была временная обитель и ему было безразлично, что его окружает. В первой комнате, посередине, стоял небольшой стол с двумя старовенскими стульями, а у окна — бюро, на откинутой крышке которого громоздились в хаотическом беспорядке книги, бумаги, письма. Вторая комната служила спальней. Здесь, помимо деревянной кровати, застланной желтым одеялом, был еще одежный шкаф.

Магистр предложил гостю попить чаю — это было как нельзя кстати, так как Сергей сильно замерз, блуждая по коломенским улочкам. Вид у него был не такой бодрый, как в день их знакомства. И на это были причины. Шли дни, недели, шевченковское дело не двигалось, буксовало. Вот и сегодня он узнал от Редькина, что просьба генерал-адъютанта Перовского, на которую Сергей возлагал большие надежды, отклонена шефом Третьего отделения. А тут еще и Головка добавил, рассказав, что заручиться поддержкой академика Остроградского не удалось.

— Что же делать? — упавшим голосом произнес Сергей. Его ясные детские очи с надеждой глядели на магистра.

Тот молчал, пытливо всматриваясь в лицо гостя. Колебался: можно ли довериться человеку, которого он, по сути, совсем не знает? Сергей Левицкий был приятен ему своей открытостью, искренним желанием помочь ссыльному поэту. Настораживала, правда, чисто женская эмоциональность асиного брата, неуравновешенность его психики, способность чуть что впадать в панику. Короче — человек настроения, от которого можно было ждать непредсказуемых поступков.

— Что же делать, Николай Алексеевич? — повторил Сергей, с надеждой глядя на магистра. — Как же я возвращусь домой? Что сказать Тарасу Григорьевичу?

Головко подошел к окну, разукрашенному морозными узорами.

— Жаль, что сейчас не лето, — проронил он неожиданно. — Отсюда великолепный вид на Покровскую площадь...

Сергей глядел на него, ничего не понимая.

— Там, неподалеку, дом, где я часто бывал, — продолжал магистр. — У Петрашевского... Что? Вы не слышали о петрашевцах?

И Головко стал рассказывать, как однажды знакомый студент впервые привел его на квартиру Михайла Васильевича Петрашевского. Это было уже после разгрома Кирилло-Мефодиевского братства, и он, Головко, был удивлен, что есть еще отважные люди, не боящиеся ни арестов, ни пыток. Люди, которые продолжают бороться за правду и свободу.

С того дня, продолжал Головко, он стал участником тайных собраний петрашевцев, они происходили по пятницам. Слушал доклады и рефераты о мировоззрении Вольтера и Дидро, о политических концепциях Фурье и Луи Блана. Горячие споры возникали вокруг самых злободневных вопросов: о будущем империи, о необходимости ограничить самодержавие демократической конституцией, об отмене крепостного права.

«К чему он клонит?» — недоумевал Сергей. А магистр, продолжая рассказывать, прошел в спальню и вытащил нижний ящик одежного шкафа. Сергей с удивлением увидел, как он, разворошив лежавшую сверху старую обувь, достал небольшой ящичек, обернутый тряпкой.. Вынул оттуда какие-то бумаги, но Сергей, стоявший в дверях, заметил, как блеснули на дне стволы двух пистолетов. «Ученый человек, зачем они ему?», — поразился Левицкий.

Магистр же начал читать Сергею листовки и воззвания петрашевцев. Но Сергей почти не прислушивался — взгляды незнакомых ему людей, политических бунтовщиков, не вызвали у него никакого интереса. Не давало покоя только оружие, увиденное им на дне ящичка. Кто же на самом деле этот магистр, зачем я пришел сюда?

Он вынул из кармана жилета часы, было уже около десяти. Стал прощаться.

— Время позднее, Николай Алексеевич, нужно идти домой. — Он подошел к вешалке, снял шубу. — Было очень приятно узнать про этих самых... петрашевцев, спасибо, просветили провинциала. Только как нам помочь Шевченко — про это вы ничего мне не сказали. А я, откровенно говоря, надеялся...

— Неужели вы, Сергей, не чувствуете этой незримой цепочки: декабристы, кирилло-мефодиевцы, петрашевцы... Задержитесь на минутку, я кое-что вам прочитаю. Это записки Момбелли, одного из петрашевцев. Послушайте, это имеет прямое отношение к вашему вопросу. Кое-кто называет поступок Шевченко безрассудством, пишет Момбелли, но мало-россияне так не считают. Если поднимется Украина, вслед за ней восстанет Дон, возьмутся за оружие и юг, и запад России.

— Что за бред? — растерянно пробормотал Сергей. — Какое восстание? При чем тут Тарас Григорьевич?

— При чем? А к чему зовет его «Сон»? Одержите победу петрашевцы, где был бы сейчас Шевченко? Здесь, рядом с нами. А скорее всего — на своей родной земле, на свободной Украине. Без всяких записочек на имя царя и его сатрапов.

— Но петрашевцев нет.

— А мы на что?

— Мы? — удивленно переспросил Сергей хриплым чужим голосом. — Не понимаю вас, уважаемый.

— Тогда снимите, пожалуйста, свою шубу, попьем чайку-благо самовар еще не остыл — и вдоволь пообщаемся.

...Сергей ушел от магистра, когда уже начинало светать.

9.

Ася была удивлена: брат, сославшись на головную боль, не спустился к завтраку.

Сергей лежал на софе, закрыв глаза, под теплым пледом, но сон, хоть тресни, не брал его. Не уходил из памяти магистр, его ужасные, вызывающие спазм сердца, слова.

Рабство, вспоминал Сергей его речи, это самое презренное состояние человека. Собственно говоря, раб — это уже и не человек в высоком значении этого слова. Это животное, склонившее голову под кнутом своего хозяина, готовое пресмыкаться перед ним за кусок хлеба. Кусок этот, безусловно, следует понимать как метафору. Люди продают себя в рабство за орденскую ленту, за голландскую карету на дутых шинах, за дворянский титул, даже за благосклонный кивок своего господина. Но разве это не «кусок хлеба», брошенный собаке?

Магистр говорил спокойно, уверенно, выстраивая неопровержимую цепочку суждений. Словно выводил на доске сложную математическую формулу.

Все мы, говорил он, в большей или меньшей степени рабы. И крестьяне, и чиновники, и мы с вами, Сергей, тоже. Это не потому, что мы такие уж дрянные, ни на что не годные люди. И не потому что у нас нет разума или сердца.

Нет, мы рабы, потому что приговорены до конца дней своих жить в империи рабства, где иные отношения между людьми просто не существуют.

Шевченко же, продолжал далее магистр, это гениальный поэт, звезда первой величины, как говорят астрономы. Он мог бы слагать оды в честь государя императора. Как Державин, скажем. Или Жуковский. Имел бы все — и деньги, и ордена, и имения. Думаю, что именно этого ожидали от него те, кто дал волю. Но вот, оказалось, не на того напали. Не проданся, не стал холопом. И, ясное дело, расплатился. Что же надлежит нам делать? Надеяться, что цидульки и просительные записочки помогут Тарасу Григорьевичу — все равно что ждать манны небесной.

Тут вконец сбитый с панталыку Сергей не выдержал:

— Снова заговор, бунт? Кровь, аресты, каторга?

— А вы уже и хвостик поджали? Нет надобности, милейший. Никто лично вас никуда не тянет. Что касается меня, то жребий брошен. Только не думайте, пожалуйста, что я один в поле воин. Уверяю вас, есть не менее тысячи таких, которые готовы встать за все, к чему призывал Шевченко. У нас есть оружие, есть печатный станок — между прочим, принадле-

жавший петрашевцам — его, к нашему счастью, не сумели найти при обыске. Я готовлю обращение ко всем честным людям бороться за свободу Шевченко. Напечатаю его портрет, стихи...

Сергей Левицкий был потрясен этими словами. Страх сковал его язык. Он, чиновник пограничной комиссии, коллежский асессор, недавно получивший должность столоначальника, был всегда далек от политики. Сочувствовал поэту, но больше как несчастному человеку, попавшему в беду. Что же касается его бунтарских взглядов, то не все они, по правде говоря, находили сочувственный отклик в сердце Сергея.

Пусть себе Головки поступает так, как считает нужным, это его личное дело. У него, Сергея, своя голова на плечах. Нет, это вовсе не трусость. Просто «у каждого своя доля и свой шлях широкий». Сам поэт так сказал.

Конечно, Тарасу Григорьевичу этот магистр математики пришелся бы по душе. Поэту нравятся смелые, отчаянные, безрассудные. Такие, что и на эшафот взойдут с веселой улыбкой.

Лежа на софе, Сергей живо представил, как приедет домой и расскажет Тарасу Григорьевичу про магистра. Как обрадуется поэт, что там, на свободе, его не забыли, что есть люди, которые собираются напечатать его стихи.

Сергей отбросил плед, поднялся, начал ходить взад-вперед по комнате. И вдруг стукнуло в голову: зачем дожидаться приезда домой? Можно ведь написать Тарасу Григорьевичу, порадовать его. Ведь он, Сергей, настоящий свинтус — за два с половиной месяца не написал ни одного письма.

Он уселся за стол и начал:

«Вот уже третий месяц, как мы не виделись с Вами, мой дорогой земляк! Будто три года минуло, таким долгим мне показалось это время; простите, будьте милостивы, что я до сих пор не писал Вам...»

Дальше Сергей бегло описал свои хождения к Бодянскому, Редькину, Бутакову, но поскольку никакими результатами похвастаться не мог, сразу же приступил к рассказу о своем новом столичном знакомце:

«Много есть тут наших, да, кажется, люди такие, что променял бы их на немца, не только что на крещеного, а есть между ними пока, конечно, знаю лишь одного, это Николай Алексеевич Головкин, магистр математических наук из Харькова, вот где правдивая душа, и как сойдемся с ним, то первое слово его о Вас. Он сотрудником работает в некоторых журналах и парень очень разумный, жаль только — не наделает ли он своей правдивостью того, что упекут его куда подальше, ибо он уже теперь под надзором полиции, часто бывает у Остроградского, и я с ним когда-нибудь к нему отправлюсь; много тут есть таких, что вспомнят Вас, а Головкин говорит, что хоть Вас не стало, а вместо этого стало людей больше тысячи, готовых стоять за все, о чем Вы говорили и для которых правда такая звучная и великая истина, что хоть бы пришлось сказать при самом Карле Ивановиче, то не испугались бы...»

Сергей перечитал исписанные странички. Письмо, конечно, подбодрит Тараса Григорьевича, с удовлетворением подумал он и пошел на почту. Когда бы знал, что натворил! Какие крамольные слова доверил бумаге! Нет, ни капельки сомнения не возникло в его по-детски простодушной голове. Залепил конверт и аккуратно надписал сверху:

*В г. Оренбург, его благородию
Карлу Ивановичу ГЕРНУ*

В генеральный штаб с передачей.

Головную боль как рукой сняло, настроение Сергея стало чудесным. Из низких свинцовых туч вышло бледное северное солнце.

Было 6 марта 1850 года.

Жить магистру оставалось ровно 90 дней.

10.

Штабс-капитан Карл Иванович Герн проживал в Оренбурге, на Косушечной улице, напротив Неклюдовского кадетского корпуса. Здесь, в Старой слободке, царила патриархальная

тишина. Все было укрыто снегом — и дороги, и крыши. Казалось, животворное дыхание весны никогда не проникнет в эту забытую Богом глухомань.

Герн служил квартирмейстером Отдельного Оренбургского корпуса и адъютантом командира корпуса генерала от инфантерии Обручева. Несмотря на столь высокую должность, штабс-капитан не чурался тех, кто отбывал в этом краю долгие годы ссылки. К нему запросто заходили жившие здесь на поселении поляки, частым гостем был и Шевченко. После возвращения поэта из Аральской экспедиции Карл Иванович с разрешения генерала Обручева выделил Тарасу Григорьевичу на своем дворе флигелек, где тот устроил себе мастерскую.

Именно у Герна были спрятаны шевченковские произведения: стихи в корзине с грязным бельем, рисунки — за божницей. Через этого «добротного немца», как называл его поэт, тянулась незримая ниточка, которая связывала неволю с волей. Тарас Григорьевич так и писал друзьям: «Адресуйте ваши письма на имя Герна, а моего имени не пишите: он будет знать по штемпелю». И почтовая карета регулярно доставляла в штаб корпуса не только секретные депеши и министерские распоряжения, а письма и посылочки, в которых были книги, ватманский картон, карандаши и кисти.

Однажды, где-то в конце марта, Карл Иванович принес во флигелек письмо от Сергея Левицкого. Шевченко, волнуясь, разорвал конверт: ведь столько времени ждал весточки от своего посыльного.

Из первых же строк поэт понял, что из этой затеи, как он и предвидел, ничего не вышло. Говорил же этим упрямам, Федору и Сергею. Кого надо было слушать, дети вы немудреные, простота святая!

Он продолжал читать дальше. И вдруг — прямо в сердце стукнуло, слез не сдержатъ. Боже ты мой, какой-то незнакомый человек (Головко... Головко... Магистр математики из Харькова... Нет, такого он не знал) заявляет, что не только он один, а с ним целая тысяча — подуматъ только! — таких же отчаянных и бесстрашных, готовых встатъ на борьбу и, если придется, отдатъ жизнь.

Вот это новость! А ведь он, Шевченко, изверился в людях: «от молдавана до финна на всех языках все молчит, бо благоденствует». Черта с два! Не молчат люди. Недаром он возделывал свою тяжкую ниву, разбрасывая вокруг пламенные зерна. Взосли, значит, всходы, пробились сквозь гранит и железо — к ясному небу, к солнцу истины! Разве не об этом он мечтал? Эх, вот бы повидать когда-нибудь этого дивного человека, неизвестного своего друга, магистра математики из Харькова!

Два раза, смакуя каждое слово, он перечитал послание Сергея Левицкого. За три года ссылки всеми правдами и неправдами поэт получил немало писем от друзей. Но ни от одного из них не слышал таких безбоязненных и решительных слов.

Наоборот, его призывали к смирению, к покорности, старались всячески утихомирить его бунтарскую душу:

«Не рисуйте, не нарушайте приказ государя», — писал художник Алексей Чернышев.

«Молитесь не о том, чтобы Бог перестал Вас карать, а чтобы дал силу и волю переносить кару без ропота и скорби, — советовал давний друг помещик Андрей Лизогуб и наставлял дальше. — Начальство слушать, общество любить и жить, как Бог дает».

«Когда Вам станет уж очень тоскливо — вспоминайте о смерти», — убеждала его княжна Варвара Репнина.

Но хочется ли думать о смерти, когда тебе лишь несколько недель тому минуло тридцать шесть лет? Рано, батьку, хоронить себя, не отсырел в казематах порох в пороховницах и судьба еще не отвернула от тебя свое упоительное лицо!

Шевченко бережно положил письмо в потертый черный портфель — и сделал это очень своевременно, ибо как раз грянула калитка и во дворе появился молоденький офицерик, который быстро направился к флигелю.

Это был прапорщик Николай Исаев, который недавно, после окончания Полтавского кадетского корпуса, прибыл на службу в 3-й Оренбургский линейный батальон. Хорошенький, ладно сложенный, этот юнец, как Нарцисс, был самоза-

бвенно влюблен в себя. С презрением относился не только к рядовым («болваны, быдло вонючее»), но и своих коллег-офицеров ни во что не ставил. Все они недоумки, а кадрили танцуют, словно медведи на лужайке. Но в особенности гордился он тем, что может вскружить голову любой красавице. В гарнизоне его сразу же невзлюбили и называли не иначе как «Исайкой».

Этот Исайка и прицепился к Тарасу Григорьевичу, чтобы тот написал его портрет.

Шевченко пытался отказаться:

— Разве господину прапорщику неизвестно, что мне категорически запрещено рисовать?

Исайка зашелся смехом:

— Смотрите, какой послушный мальчик! А то я не знаю, что ты целыми днями малюешь? Кто Герна с женой нарисовал? А поляков ссыльных? А киргизов в степи? Молчишь? А как до меня дело дошло, так ему, видите ли, запрещено рисовать! Гляди у меня! Не на того напал!

Все ему было известно, этому пройдохе и хитрецу. Пришлось согласиться. Сеансы начались в начале февраля.

Ох, и мороки было с этим Исайкой! Верткий, суматошный, он и пяти минут не мог усидеть перед мольбертом. То и дело вскакивал — то к зеркалу, то глянуть на свой портрет, то представлял в лицах свои амурные приключения.

Тарасу Григорьевичу приходилось все время отрываться от красок и усаживать неугомонного прапорщика на место. Однажды, когда он, чтобы развернуть плечи Исайки, коснулся эпюлетов, тот вскочил как ужаленный:

— Прочь руки, скотина!

Кровь ударила поэту в голову: подлец, сейчас порежу твою морду на холсте!

Но Исайка сам понял, что погорячился и сказал примирительно:

— Нижним чином не разрешается прикасаться к офицеру, не знаешь что ли? Только в том случае, если выносишь раненого с поля боя. Другой бы тебя на гауптвахту законопатил

или шпицрутенами отдал. Но я к тебе очень симпатично отношусь, прощаю, так и быть, на первый раз.

И пришлось, проклятье, снова, стиснув зубы, продолжать работу. Но с того дня Шевченко начал торопиться, подгонять себя, чтобы как можно быстрее закончить ненавистный портрет. Каждый день теперь с мольберта глядел на него красавчик офицер в коричневом мундире с высоким красным воротничком. Сластолюбивый взгляд томных миндалевидных глаз, волнистые припомаженные волосы, полные, чувственные губы, жаждущие плотских ласк — ничего не утаил мастер, таким остался на шевченковском холсте этот гарнизонный Адонис.

Но читатель, вероятно, удивляется, с какой это стати мы занялись этим Исайкой и какое отношение имеют его любовные приключения к оставленному нами в Петербурге магистру.

А вот представьте себе, прямое.

Уже с первых сеансов Шевченко заметил, что прапорщика привело во флигелек не только желание запечатлеть свою физиономию на полотне.

Оказалось, что Исайка затеял новую игру в любовь. На сей раз его «амикой» стала супруга добрейшего Карла Ивановича Герна. Приходя на сеанс, Исайка непременно захаживал и в большой дом, причем всегда в то время, когда хозяина не было дома. А он и не нужен был хитрому ловеласу. В эти часы его с нетерпением ожидала Сонечка Герна, молоденькая жена штабс-капитана, которая томилась от скуки и жаждала развлечений. Доверчивый, всегда улыбающийся Карл Иванович, казалось, не видел ничего предосудительного в этих визитах, он был даже рад, что нашелся человек, который развлекает его супругу и скрашивает часы ее дневного одиночества.

Сеансы между тем закончились, Исайка забрал свой портрет, но его визиты к Софье продолжались. Шевченко не мог спокойно наблюдать, как эта веселая парочка дурит уважаемого и доброго человека.

Пришел к Федору Лазаревскому. С возмущением рассказал приятелю обо всем.

— Это не твое дело, Тарас, — пытался убедить его Федор.
— Не лезь в семейные свары.

Глубокие серые глаза поэта вспыхнули гневом.

— Нет, Федор, не позволю я этой каналье безнаказанно позорить честное имя благородного человека.

— Помни, Тарас: ты солдат, а Исаев, хоть и плюгавенький, но офицер.

— Карл Иванович мой друг. Такой, как ты и Сергей. Разве честно бросить друга в беде?

— Я тебя понимаю. Но даром, учти, тебе это не пройдет. Мелкая душонка Исайки ни перед чем не остановится. Накличешь на себя беду...

Как в воду глядел. Но Шевченко слушался только своего сердца.

Приближалась пасха. В страстную пятницу Шевченко сидел во флигелечке, работая над акварелью. Апрельское солнце уже растопило ледок на маленьком оконце, и ему видно было все, что происходило во дворе. Ближе к вечеру ушел куда-то Карл Иванович. А через каких-нибудь полчаса — ну точно в самых пошленьких водевилях! — Сонечка, играя глазками, уже открывала двери своему любовнику.

Ну что было делать? Он положил кисть, налил полстакана вина. Выпил, чтобы хоть как-то погасить гнев. Федору легко советовать: «Не лезь в семейные распри»: он далеко, а тут на твоих глазах подлец и негодяй обводит вокруг пальца достойного и честного человека. Прикинуться, что ничего не знаешь и не видишь? Тогда чего стоят твои стихи, все, что ты проповедовал? Правда, честь, дружба и товарищество — это что, звук пустой? Нет, он не смолчит, будь что будет!

Напялил на себя кожу и выскочил на улицу.

Карла Ивановича Шевченко нашел в доме лекаря Майделя. Оба немца, пыхтя трубками, не спеша передвигали шахматные фигуры. На столе стоял графинчик с красным вином. Фридрих Майдель радушно поставил на стол третий бокал, налил вина. Но поэт, извинившись, потянул Герна в переднюю.

Кругленький, румяный Герн сперва не мог сообразить, о чем идет речь. Потом толстые губы его задрожали — он что-то пытался вымолвить, но лишь беззвучно бормотал:

— Mein Gott, mein Gott... Was soll ich tun?

Тарас Григорьевич надел на него шинель — старик совсем был невменяем.

— Я с вами, Карл Иванович.

Герн внимательно посмотрел ему в глаза, пожал руку и сказал — неожиданно твердым и спокойным голосом:

— Спасибо, друг, я справлюсь с ним сам.

На следующий день всем стало известно, что прапорщик Исаев подал рапорт генералу Обручеву.

Читая лежащие перед ним листы, Владимир Афанасьевич никак не мог понять, какого рожна этому Исайке понадобилось совать свой нос в дело, которое ни с какой стороны его не касалось. А вот, поди же ты, доносит командиру корпуса, что Шевченко ходит в партикулярном платье, живет на частной квартире и, нарушив запрет, ведет переписку и занимается художественной работой.

Это была, конечно, сущая правда. Об этом знал весь гарнизон, но кому пришла в голову мысль написать по этому поводу донос? Почти все офицеры по-доброму, с искренним сочувствием относились к ссыльному поэту, ценя его ум и природный дар. Чем же не угодил этот несчастный прапорщику Исаеву и как следует теперь поступить ему, генералу Обручеву? Положить этот рапорт под сукно? Ни в коем случае — с этим мерзавцем следует быть настороже.

Генерал вышел из-за стола, крепко пожал руку доносчику.

— Благодарю вас за верную службу. Вот, оказывается, чем занимается этот Шевченко! За решетку его! За белое, черное, синее море! (Такая поговорка была у генерала, означающая, видимо, самую крайнюю точку света). Я лично займусь этим делом.

Обедать домой генерал приехал раньше, чем обычно. Но стол уже был накрыт: Матильду Петровну никогда нельзя было застать врасплох. Немка, католичка, она вела дом, как приучила Mutter — основательно и аккуратно.

За обедом генеральша не могла не заметить, что Владимир Афанасьевич чем-то сильно обеспокоен. Она догадывалась о причине, ибо прослышала уже о вчерашнем скандале у Гернов.

Говорили всякое. Кто-то вроде бы слышал выстрелы на Косушечной улице. Другие твердили, что Карл Иванович кинулся на Исайку с саблей, а Шевченко удалось вырвать ее из рук разгневанного мужа.

Но генерал, видимо, решил играть в молчанку, и разговаривать его Матильде Петровне удалось лишь после третьей чарки.

— Моя вина, матушка, и не надо утешать: все шишки теперь повалятся на меня, — заключил генерал свой рассказ и опрокинул четвертую. — Кто позволил ему жить не в казарме? Я. Кто смотрел сквозь пальцы на то, что он разгуливает в гражданском наряде, в пальто, будто по Невскому проспекту? Я, матушка, и никто другой. А кто, скажите, нарушил государев приказ о запрещении рисовать? Тоже ваш слуга покорный.

— погоди, Вольдемар, — прервала его Матильда Петровна, — но рисовал он, насколько я знаю, виды Аральского моря, во время экспедиции. И это было на пользу державы, разве не так?

— А это тоже Аральское море? — спросил генерал, указывая глазами на портрет Матильды Петровны, висевший на стене столовой. — Прикажете, голубушка, снять его, и сей момент, ибо я еще не знаю, как пойдет расследование.

— Что же вы решили предпринять? — спросила матушка — она всегда старалась быть в курсе всех событий в гарнизоне.

— Прикажу сделать обыск и арестую.

— Вольдемар! Умоляю вас!

— И не просите, матушка. Этот Исаев, действительно, первостатейный мерзавец. С него станется и на меня послать донос. Хотите, чтобы вся моя жизнь пошла насмарку? Я, голубушка моя, как вам известно, и на Бонапарта ходил, и с турками бился, и поляков усмирлял. Замни я это дело, не только про

мои заслуги никто не вспомнит, но такого феферу припустят, что и жить не захочешь. Вот так...

Он поцеловал Матильду Петровну.

— Не забудьте, матушка, снять портрет. Следы преступления следует прятать...

Матильда Петровна была женщиной решительной и энергичной. Она сразу же поняла, что над головой Шевченко нависли тяжелые тучи и нужно как можно быстрее что-нибудь придумать. Во время сеансов она охотно и подолгу беседовала с Тарасом Григорьевичем, чувствуя к нему глубокое расположение, сердце ее сострадало его горемычной доле.

Что же предпринять? Действовать открыто и наперекор мужу ей было, конечно, неловко.

Она позвала горничную.

— Слетай к Карлу Ивановичу и скажи, что я буду ждать его в костеле.

Костел был издавна наилучшим, самым безопасным местом для всяких секретных дел. Ксендз отец Кандид, в миру один из польских ссыльных Михаил Зеленка, был абсолютно надежным человеком. Когда появился Герн, матушка отвела его в дальний угол и поведала все, что услышала от мужа.

— Надо разыскать Тараса Григорьевича, — окончила она свой рассказ категорическим тоном. — И немедленно.

— Кто знает, где он, ведь сегодня великая суббота, — развел руками Герн.

— Он должен внимательно пересмотреть свои бумаги. Ничего лишнего, компрометирующего. Вы поняли, Карлхен?

— Так точно, ваше превосходительство. Не волнуйтесь, я все сделаю.

Герн, как и все в гарнизоне, называл Матильду Петровну «превосходительством», что было ей весьма приятно.

Карл Иванович поехал к Федору Лазаревскому — тот жил неподалеку от костела, в доме Кутина. Герн выглядел обеспокоенным и встревоженным. Но, зная о событиях прошлой ночи, Федор решил, что тот еще во власти семейного скандала. Однако уже первые слова ночного гостя заставили его насторожиться.

— Разыщите Шевченко, ему угрожает большая беда. Обручев дал приказ об его аресте. Будет обыск, надо сжечь все, что может ему навредить: письма, рисунки.

Не прошло и часа, как Лазаревскому удалось разыскать поэта. Федор был удивлен спокойствию, с которым тот принял тот известие о предстоящем аресте. Вывалил на стол кучу бумаг, картонов с рисунками, начатые холсты.

— Пали, инквизитор, — усмехнулся, будто ничего дорогого для него на столе не было.

Лазаревский поспешно растопил печку. Бросил в огонь несколько рисунков, какие-то бумаги. Тяга была скверная. Сизый дым наполнил мастерскую, резал глаза.

— Не хочет печка творить зло непотребное, — мрачно пошутил Шевченко. — Видишь, как протестует.

Федор между тем мельком просматривал письма из черного портфеля. В них, на его взгляд, не содержалось ничего недозволенного.

— Жги! — безжалостно махнул рукой поэт.

Ему, политическому арестанту, была «высочайше запрещена» всякая переписка. Зачем же подставлять и друзей, и самого себя?

Вспыхнула пламенем бумага, мигом превратилась в тлеющую черную паутину.

— Слушай, Тарас, — сказал внезапно Федор Лазаревский, — если мы все сожжем, то наверняка догадаются, что нас предупредили. И может пострадать наш добрейший Карл Иванович.

— И то правда, — согласился Шевченко. — Моих писем тут нет, друзья пишут, не забыли значит, ну и что? Оставь.

Лазаревский положил пачку писем назад в черный портфель. Среди них, к великому сожалению, осталось и то роковое послание Сергея Левицкого из Петербурга. Как мог забыть о нем Тарас Григорьевич? Почему не заметил Федор Лазаревский, просматривавший письма, страшных строчек о магистре Головки и тысяче его единомышленников?

Едва они покинули флигелек, как во дворе Герна появились трое военных во главе с плац-адъютантом Мартыновым.

В результате обыска были найдены и изъяты:
«Евгений Онегин» А. Пушкина;
произведения М. Лермонтова в трех книгах;
две книги Шекспира;
ящичек с художественными принадлежностями;
два альбома со стихами и рисунками;
цивильная одежда: два пальто и несколько пар брюк;
письма от В. Н. Репниной, братьев Лазаревских, А. Лизогуба и С. Левицкого.

12.

Утром следующего дня офицеры гарнизона собрались в кабинете генерала Обручева на пасхальное разговение. Столы были уставлены отборными блюдами и напитками. Провозглашались тосты за здоровье государя императора, за доблестное русское воинство, за командира корпуса генерала Обручева и его верную супругу.

Генерал похристосовался с каждым, особенно любезно — все это заметили — с прапорщиком Исаевым. Владимир Афанасьевич был в прекрасном расположении, шутил, вспоминал минувшие походы. На душе у генерала было легко и радостно: все утряслось наилучшим образом. Шевченко уже сидел за решеткой, вещественные доказательства находились в стальном шкафу. Он, генерал Обручев, как преданный служака, проявил бдительность и дал надлежащий ход делу.

Разговенье закончилось только к вечеру громозвучным пением захмелевших господ офицеров.

13.

Вернувшись к делам, командир Отдельного Оренбургского корпуса генерал от инфантерии В. А. Обручев направил секретной почтой рапорт военному министру князю А. И. Чернышеву.

Генерал сообщал, что ему стало известно о том, что рядовой Шевченко ходит иногда в партикулярной гражданской

одежде, занимается рисованием и написанием стихов, в связи с чем было приказано обыскать его и содержать под арестом.

В результате обыска у рядового Шевченко были найдены письма от разных лиц, большей частью на малороссийском наречии. Особо опасным является письмо от служащего Оренбургской приграничной комиссии коллежского секретаря Левицкого, который ныне находится в отпуске в Петербурге. К рапорту был приложен перевод этого письма.

Военный министр князь Чернышев, испросив аудиенцию у государя, всеподданнейше доложил императору о том, что государственный преступник Шевченко, нарушив высочайший приказ, продолжает рисовать и писать подстрекательские и вредные стихи. А получаемые им письма свидетельствуют о имеющейся в столице тайной организации, численностью до тысячи человек, которая ставит своей задачей организовать вооруженное восстание.

Выслушав доклад военного министра, государь император высочайше повелел немедленно передать все пересланные из Оренбурга вещественные доказательства Третьему отделению собственной его величества канцелярии для необходимого тщательного расследования.

Ознакомившись с документами, шеф Третьего отделения генерал-адъютант граф Орлов подал на высочайшее имя прошение о немедленном аресте Н. А. Головки и С. П. Левицкого.

В рапорте, подписанном Орловым и Дубельтом, говорилось, что из писем, отобранных у рядового Оренбургского № 5 батальона Шевченко, обращает на себя особое внимание письмо служащего Оренбургской пограничной комиссии коллежского секретаря Левицкого, который пишет Шевченко: «много есть тут наших... пока что знаю одного, это Николай Головка, магистр Харьковского университета, он сотрудник некоторых журналов и очень разумный человек, жаль только, если он своей правдивостью наделает того, что и его сошлют куда — нибудь. Головка говорит, что хотя вас (то-есть Шевченки) не стало, но на ваше место есть до 1000 человек, которые готовы стоять за все, о чем вы говорили и что говорят вам люди».

Это письмо, делают вывод главные жандармы империи, дает повод для сильного подозрения в неблагонамеренном содержании мыслей как коллежского секретаря Левицкого, так и магистра Головки, в связи с чем предлагается немедленно подвергнуть их аресту.

14.

После краткого доклада граф Орлов, вытянувшись в струнку, стоял, пожирая глазами императора. Когда-то, еще в начале своей карьеры, он сказал: «Если у меня отрубят голову, то мое тело станет на защиту государя». Сейчас это тучное, с огромным выпяченным животом тело в парадном мундире, белых лосинах, с александровской лентой через плечо являло собой именно эту верноподданическую любовь к престолу.

Царская рука протянулась к краю стола, где стоял малахитовый, уральской работы письменный набор, вытянула из массивного стакана синий карандаш и опустила на бумаги. Но вдруг она вновь поднялась вверх и застыла на уровне выпуклых свинцовых глаз. Орлов затаил дыхание, зная, что сейчас будет молвлено высочайшее слово, которое он должен будет донести в своей, уже частично утратившей память черепной коробке, до жандармского ведомства на Фонтанке и помнить о нем и днем и ночью.

Неподвижное, словно высеченное из камня лицо императора внезапно передернулось злостью.

— Мы удивлены, граф, — произнесли тонкие холодные губы, — что дело этого Шевченки, которое мы полагали законченным, еще смердит. Мы не раз говорили, что обнаружить зло — это еще полдела. Нужно вырвать эту пагубу с корнем, дотла. Иначе смуты и заговоры, которые прокатились по всей Европе, достигнут и нашей державы. Письмо этого магистра указывает на то, что в столице, под самым вашим носом, тысячи бунтовщиков спокойненько готовят новый заговор против монархии и порядка. Немедленно разыскать их! Магистра и всю тысячу! Всех до одного!

Синий карандаш разогнулся, но написал лишь одно слово на просьбе разрешить арест Левицкого и Головки: «ИСПОЛНИТЬ».

В тот же день в Третьем отделении было заведено новое следственное дело — секретное, особо важного государственного значения: «О коллежском секретаре Левицком, магистре Головки и рядовом Шевченко». Руководство всем ходом следствия было возложено лично на генерал-лейтенанта Дубельта.

15.

Леонтий Васильевич Дубельт заранее знал, что вести «Магистра» поручат ему. Во-первых, главной персоной дела станет Шевченко, а Кирилло-Мефодиевским братством, участником которого тот был, занимался лично он, Дубельт. Во-вторых, это же не секрет, что во всем многолюдном жандармском ведомстве нет равных ему по гибкости и широте аналитического ума, по опыту сыскной работы. Орлов, хоть номинально и является шефом жандармов, на самом деле отпетый лодырь и бабник. Станкевич, недавно прицепивший на плечи эполеты полковника, индюк надутый. Попов, начальник первой экспедиции, и Нордстрем — простые исполнители, дальше собственного носа не видят.

Лишь он, Дубельт, может считаться непревзойденным мастером тонких и деликатных дел. Нет, нет, что за мужицкое слово «мастер»? Сапожник он, что ли, или скорняк? Да он подлинный художник, творящий «дело» с вдохновением истинного артиста. И ночами не спит, обдумывая хитроумные ходы и комбинации, и сомнения подчас гложат, и озарения посещают его гениальную голову — ну чем, скажите, не Пушкин.

Кстати, о Пушкине. Неплохой был поэт, ничего не скажешь. Но — скользкий, в руках не удержишь, так и норовит что-нибудь веселенькое отмочить. Намаялись с ним в Третьем отделении — и с живым, и с мертвым. Чем могли, скажем, закончиться его похороны? Толпы народа, речи, пламенные призывы, еще, не дай боже, преступные действия. Ведь вся

Россия бурлила, а в особенности столица. И что же придумал он, Дубельт? Двадцать «синих тюльпанов» с ним во главе вынесли ночью гроб с телом поэта — и ни одна живая душа не видела. А отпевали где? Не в Исаакиевском соборе, как полагалось бы по чину, а в крохотной церквушке конюшенного ведомства. Такой вот, нате вам! — фокус-покус! А потом гроб — в ящик, рогожкой обернули — и понай в Михайловское, подалее от столицы! — и вам, Александр Сергеевич, и нам так будет спокойнее!

Да разве только Пушкиным он занимался? Так или иначе, но вся русская литература прошла через его руки с тщательно отполированными ногтями. Кто, например, Лермонтова на Кавказ выдворил? А Достоевского на каторгу? А Плещеева в солдаты? Не кто иной, как он, Леонтий Васильевич Дубельт.

Конечно, надо честно признать, были и промашки. Например, с Герценом. Обдурил его хитрюга Искандер, вокруг пальца обвел и дал тягу за кордон. Мало того, что сей ба-стард на свет божий явился вне закона, он и живет, мерзавец, не считаясь ни с кем на свете. Пишет оттуда, подлец, пасквиль за пасквилом — на государя императора, на правительство, подстрекает народ русский к бунту. Он, Дубельт, владеет тремя тысячами десятин леса, миллион деревьев — а вот такого гадкого дерева, чтобы повесить эту тварь, и не найдется.

Еще одна опрометчивость — это, безусловно, шевченковское дело. Сколько раз в этом уютном кабинете он подолгу беседовал с арестованным. Сам, лично. Утощал сигарами, обращался с ним как с благородным человеком. И все, выходит, на ветер: волчья натура, все в лес тянет. Другие малороссияне, с которыми ему, Дубельту, довелось работать — Кулиш, Костомаров — утихомирились, подняли лапки, а этого даже мертвая пустыня укротить не в силах. Ну ничего, сколько веревочке не виться... Этот магистрик, на след которого они напали, как нельзя кстати: с его помощью можно будет не только Шевченко, но и всю эту свору бунтовщиков единым махом — лась! — и растереть подошвами! Какой потрясающий политический процесс можно учинить по этому делу! И он,

Дубельт, будет его тайным дирижером! Награды, ордена, отличия! Дух захватывает!

Леонтий Васильевич так размечтался, что лишь сейчас увидел перед собой стоящих навтыжку жандармских полковников Станкевича и Левенталя — они явились по его вызову. Дубельт коротко изложил им суть дела, операция назначена на 16 июня. Его темные с желтизной глаза пылали хищным огнем, как у волка, который загнал свою жертву и прикидывает, как наилучшим образом ее схватить за горло.

— Поясняю обстоятельства. Есть вещи деликатного свойства. Левицкий проживает в особняке княгини Голицыной. Ее сиятельство, безусловно, вне подозрений. Работать аккуратно, шума не поднимать, принести княгине извинения за причиненное беспокойство. Думаю, что с арестом Левицкого проблем не возникнет. Дело простое, поручаю его полковнику Станкевичу.

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

На круглом, с отвислыми свинячими щеками лице полковника не промелькнуло и тени обиды за то, что он отстранен от более сложных оперативных действий.

Но Дубельт не упустил повода лишний раз напомнить Станкевичу о его ужасающей оплошности в предыдущем деле.

— Задержание магистра, Платон Ефграфович, поручить вам не могу, так как помню еще ваш ляпсус, а проще сказать — натуральное головопательство, которое вы допустили при разработке петрашевцев.

— Виноват, ваше превосходительство, — опустил голову Станкевич. — Перевернули тогда весь дом: и чердак, и погреб, и сараи... Где они типографию эту чертову прятали, ума не приложу.

— И печатный станок, и типографский шрифт были там, на Кировой улице, а теперь ищи свищи, — укоризненно покачал головой Дубельт, — Так что не обессудьте, дорогой Платон Ефграфович.

Дубельт расправил свои длинные седые усы и сказал с прищуром:

— Тайная типография теперь находится в другом месте. А где именно, нам скажет... — Он самодовольно усмехнулся, выдерживая длинную паузу. — Нам скажет магистр. Именно у него ключ от того помещения, где теперь спрятано типографское оборудование.

— Доверьте, ваше превосходительство. Коль упал, встать дозвольте, — взмолился униженный Станкевич.

— Рисковать вторично? Увы, голубчик, такого права у меня нет. Магистр будет брать полковник Левенталь.

— Рад стараться, ваше превосходительство! — радостно выкрикнул тот.

— Агент сообщил, что магистр вооружен. Это первое. В квартире есть черный ход, его следует заблокировать. Это второе. Кроме того, перед дверью стоит лестница на чердак, тоже надо иметь в виду. Эта каналья может выкинуть любой фортель, предупреждаю. Его нужно взять живым. Все ясно, господа офицеры? Тогда с Богом!

Оба полковника оставили кабинет. Дубельт взглянул на часы и велел подать экипаж. После напряженной работы следует непременно расслабиться. Прочистить мозги, освежиться душой и телом.

Кучер, даже не спросив, повез Леонтия Васильевича в театральную школу Гедеонова. Одна из воспитанниц, юная Веронька Кудрина, была на протяжении последних двух месяцев утехой седоусого генерала.

16.

Разве даст уснуть белая июньская ночь? Любой сон разгонит, сияние ее льется сквозь ажурные гардины, заливают всю комнату причудливым сказочным светом.

Спит или не спит Ася — она и сама не знает. Словно едет куда-то на почтовом дилижансе, склонилась на чье-то плечо, то и дело подбрасывает ее на выбоинах, а тот, кто сидит с ней рядом, улыбается и нежно гладит ее волосы.

Кто он? В дилижансе темно, но Ася знает, что это Николай. «Куда ты везешь меня, милый?» — спрашивает она. —

«В тридевятое царство», — отвечает он. «А что мы там будем делать?» — «Звезды считать, я научу тебя... Заберемся на крышу родительского дома...»

О чем он говорит дальше, она уже не слышит: плывет перед глазами другое видение. Они с Николаем стоят на высотах Исаакиевского собора, над ними бесконечная глубь звездного неба — бескрайний океан, в темных волнах которого плывут, купаются далекие мигающие огоньки.

Да это не сон, такое действительно было! Вместе с другими обывателями они любовались отсюда звездным петербургским небом. Магистр захватил с собой маленькую подзорную трубу, дал ее Асе.

— Гляди сюда, левее. Видишь оранжевую звезду? Это Арктур, самая яркая в созвездии Волопаса. А справа... Нет, нет, следи за моим пальцем... Видишь, сколько звездочек у ног Волопаса. Это, милая, Волосы Вероники — ты спрашивала о них.

— Какие же это волосы, — разочарованно произнесла Ася. — Просто маленькие звездочки, как тысячи других.

— Ты что? Это же ее роскошная золотая коса, которую она отдала богам.

— Зачем?

— Чтобы ее любимый возвратился с войны живым. Такой обет дала.

— Великое диво — коса! — пожала плечами Ася. — Новая отрастет, да и только.

— А ты бы смогла? — тихо спросил он.

— Я? — на минутку задумалась и тут же ответила. — Нет.

— Вот видишь, — в его голосе было разочарование. — Поэтому и нет на небе созвездия Волосы Анастасии.

— Если бы я дала такую клятву, — прошептала она, — там, на небе, были бы не волосы, а мое сердце...

Сказала самой себе, как же он услышал? Упал на колени — такой вроде бы сдержанный, серьезный человек — и начал покрывать ее трепещущие пальцы пылкими поцелуями. Благо в темноте никто, кроме всевидящих звезд, этого не заметил.

Что же это было? Какая-то минутная эйфория или признание в любви? Ася открыла глаза, сладкий сон исчез. Но воспоминание еще жило в душе. «Завтра поедем в Харьков, к родителям», — сказал тогда Николай, прощаясь с ней. Но ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц они никуда не поехали. Станный все же человек: он никогда даже не вспоминал о том чудном вечере, будто его и вовсе не было. Поэтому и дилижанс, и счастливое путешествие, и головка на плече любимого — не что иное, как ночное видение, которое влетело в ее комнату с потоком колдовского лунного света.

Ася вздохнула, и именно в этот момент послышался какой-то шум за дверью. Она накинула халатик и вышла.

Боже милый! С третьего этажа спускались двое жандармов, крепко схватив под руки ее брата.

— Сергей! — мигом кинулась она к нему. — В чем дело?

И к жандармам:

— Отпустите его! Куда вы его тащите?

Офицер грубо оттолкнул ее — едва не упала.

Сергей вцепился в перила, крикнул:

— Асенька, спасай меня! Я ни в чем не виновен!

Губы его дрожали, он жалобно всхлипывал.

Жандармы силой потащили его вниз. Тяжелые дубовые двери закрылись за ними, и сразу же послышался цокот копыт по брусчатке.

Ошеломленная, ничего не понимающая, Ася продолжала стоять на лестнице. Что делать, куда бежать, кого умолять о помощи? И главное — как предупредить Николая? Она догадывалась, что арест брата напрямую связан с его хлопотами за Шевченко. Чьи-то уши подслушали разговоры, которые велись в ее комнате. Значит, опасность угрожает и Николаю. Но как добраться до него? Когда-то магистр сказал, что живет у Покрова, в Коломне. Но где именно, она не знала.

— Вы меня слышите, барышня?

Только сейчас Ася увидела перед собой горничную княгини Екатерину. Губы ее едва заметно улыбались.

— Я уже два раза сказала, что вас желают видеть ее сиятельство.

В спальне, где лежала княгиня, стоял едкий запах камфоры. Видимо, ночной визит жандармов вызвал у старухи сердечный приступ. Она тихонько постанывала. Но, увидев Асю, завопила истошным голосом:

— Вон из моего дома! Заговорщики! Бунтовщики! Карбонарии! И вы, и ваш братец! Что скажет государь император, когда ему доложат, что под моей крышей таилось тайное малороссийское общество! Прочь отсюда! Прочь!

Но Ася уже не слышала последних слов разгневанной княгини. Опрометью бросившись к себе, она поспешно собирала вещи.

17.

Тем временем казенная карета везла арестованного Сергея Левицкого на набережную Фонтанки, в Третье отделение. Занимался хмурый рассвет. Экипажей на улице почти не было, кучер гнал резвых лошадей что есть силы. С Большой Морской свернули на Итальянскую.

Полковник Станкевич, который задержал Левицкого, ощущал гордость, даже, можно сказать, маленький триумф: операция была проведена безупречно. Теперь он смочит то маленькое пятнышко на своем мундире, которым при каждом удобном случае укорял его генерал Дубельт.

Сергей сидел позади Станкевича, рядом с жандармским фельдфебелем.

Конец, конец, думал он, видя перед собой могучий, кровью налитый затылок полковника. Пропал, сгубил себя. Впереди допросы, мучительные пытки, смерть...В лучшем случае бессрочная каторга. Боже праведный, за что? Ведь он хотел только облегчить участь талантливого, ни в чем не повинного человека, на которого свалилась тяжкая беда. Святое дело, а его втянули в политику, зачем она ему? Молодой, еще тридцати нет — мог бы жить и жить. «Что же делать? Как спастись? — бешено стучало в его висках. — Бежать! И немедленно! Это последний шанс! Толкнуть двери — и... пусть попробуют догнать!»

Карета быстро приближалась к широкому мосту. Через Мойку в те времена было переброшено три деревянных моста, окрашенных в разные цвета. Их так и называли : Красный, Зеленый, Синий. Мост, по которому они сейчас ехали, назывался Синим.

Когда лошади уже были посередине моста, дверь кареты неожиданно распахнулась и Сергей кубарем вытолкнулся наружу. Жандармы оцепенели. Сергей стремительно подбежал к невысоким перилам, ловко перебросил одну ногу, другую...

Полковник Станкевич и жандармский фельдфебель уже бежали по мосту за ним.

— Остановись! — крикнул полковник. — Стреляю!

В ту же секунду фельдфебель дал на ходу предупредительный выстрел в воздух.

«Из-под самого носа сбежал, мерзавец, — пронеслось в голове Станкевича. — Теперь Дубельт котлету из меня сделает, отставки не миновать! Живым уже не возьму, пусть хоть сдохнет, подлец!»

Станкевич вытащил пистолет и выстрелил. Попал или нет?

Сергей по-птичьи взмахнул руками и прыгнул головой вниз в темные воды Мойки.

18.

Белыми ночами магистр работал без свечей, расположившись на широком деревянном подоконнике, залитом светлым сиянием луны.

Несколько дней тому назад в книжной лавке на Садовой он обратил внимание на небольшую, неприхотливо изданную книжечку. Какой-то Джакомо Леопарди, стихи. Отдал полтинник, принес домой, стал читать.

И сразу же, с первых строк, ощутил родственную душу. Словно увидел в зеркале самого себя. Этот Джакомо тоже одинок, тоже сторонится шума и суеты, мечтатель и звездочет

В степи печальной вижу я
Как в небе темном блещут звезды,
А отраженья их мелькают в волнах моря.
Когда на них я устремляю взор,
Мне кажется, что это мириады капель
Далеких и среди них Земля
С ее морями и материками
Лишь крохотная капелька,
Летящая в бездонной пустоте...

Этот Джакомо, как и он, мог жить только в двух измерениях: среди звезд и среди книг. Остальное — тлен, прах, пустота. Ибо мир — это юдоль скорби.

Постой, постой, Джакомо, а любовь? Разве это не та соломинка, за которую можно схватиться, чтобы не пропасть?

Николай Алексеевич часто вспоминал тот вечер, когда они с Асей стояли на площадке Исаакиевского собора. «Не волосы, а мое сердце было бы там, на небе», — эти слова он не мог забыть. Отдал бы, кажется, все за счастье всегда видеть перед собой синие очи-мотыльки.

Ну и отдай, в чем же дело? И физику, и поляризацию света, и Форбса с Френелем! К черту! Поехать к родителям, в Харьков, жениться, жить, радоваться солнцу и зеленой травке... Как все...

Как все? Да разве ты имеешь на это право? — осадил он себя. — Семья, детишки, травка и солнышко — это не для тебя. Ты же человек обреченный, забыл? Бомбочка под сердцем взорвется в любой момент, хоть завтра. А что тогда? Сделать добрую нежную девушку молодой вдовой?..

Но ведь харьковский доктор мог ошибиться, и бомбочки нет. Тогда, выходит, все будет хорошо? Нет, милый, все равно: не создан ты для семейных утех. Кто это сказал, кажется, Шопенгауэр: «Жениться — это значит лишиться половины своих прав и удвоить свои обязанности».

Что же делать? Сердце говорит одно, разум — против. Раздвоение, гамлетизм какой-то. Но ведь ты всегда больше слушался разума. А он велит укротить сантименты. И дело не

только в бомбочке под сердцем. А ключ от тайной типографии? А листовочки, которые ты думаешь оттиснуть? Ведь жандармские ищейки рано или поздно отыщут тебя и потянут на расправу, ты ведь знаешь, что начал игру с огнем. Можешь ли ты рисковать асиной жизнью? Своей — сколько угодно, ты ее хозяин. Но девушку не губи.

А как сказать ей об этом? Как исчезнуть из ее жизни? Сколько раз пытался он начать этот разговор, но не получалось, откладывал на завтра, на послезавтра, на потом.

Но сегодня, этой лунной июньской ночью, когда переводил с итальянского Джакомо Леопарди, вдруг стукнула в голову мысль: а что, если написать ей письмо? Прекрасная идея! Глаза-мотыльки не будут глядеть на него с удивлением и укоризной. Немедленно писать!!

Он отложил стихи итальянца, положил перед собой чистый лист бумаги.

«Дорогая Анастасия! Говорят, что белые ночи созданы Творцом для признаний в любви. К моему горькому сожалению, я вынужден сказать Вам иные слова. Поверьте только, писать их Вам — чистейшая мука. И все же... Мы с Вами никогда больше не должны видеться, Асенька. Не старайтесь разыскать меня, забудьте даже, что существовал такой человек — Николай Головко. Я ухожу из Вашей жизни ради Вашего счастья, ибо я не тот человек, который...»

Он на минуту задумался.

И эти слова были последними, которые он написал в своей жизни.

— Откройте! Полиция!

Убогая дверь сотрясалась от грохота ударов.

Магистр нисколько не удивился, он всегда был готов к визиту «синих тюльпанов». Вот и явились.

Головко отворил дверь и впустил двух жандармских офицеров — полковника Левенталя и квартального надзирателя Столярова. За ними, на лестничной площадке, стояли на смерть перепуганные домохозяин Людвиг Францевич и его супруга. Они были приглашены, очевидно, как понятые.

— Головко? — гаркнул прямо с порога полковник.

Магистр наклонил голову.

— Имя, отчество?

— Николай Алексеевич.

— Тебе объявлен арест, — с удовлетворением сказал полковник и помахал листком бумаги. — Собирайся, едем.

— Моя одежда в соседней комнате, — сказал Головка спокойно, будто ждал этих слов. — Могу я пройти?

Левенталь молча кивнул.

Квартальный надзиратель прошел за магистром в спальню, а полковник в присутствии понятых начал обыск. Книги, тетради, письма — все, что было в ящиках бюро, он бросал на пол. Этим хламом займутся другие. Придут люди из первой экспедиции, все заберут, перепишут, расшифруют и подадут начальству для дальнейшего изучения. Его, Левенталья, задача привезти на Фонтанку задержанного и найти ключ от тайной типографии. Первое выполнено — магистр в его руках, а вот ключа нигде нет.

Полковник вошел в спальню. Головка в белой накрахмаленной сорочке не торопясь завязывал перед зеркалом синий атласный галстук. «Матерый злодей, — подумал полковник. — Ни один мускул не дрогнет, вот каналья».

Опытным глазом он окинул комнату и направился к одежному шкафу. И тут произошло неожиданное: одним прыжком магистр очутился возле шкафа, живо вытащил нижний ящик, и оба жандарма, онемевшие от неожиданности, увидели наведенные на них пистолеты.

— Брось оружие! — закричал Левенталь.

Магистр нажал на курок и выстрелил в полковника. Тот успел пригнуться — пуля прошла мимо.

— Хватай его, чего стоишь?! — приказал Левенталь квартальному.

Тот бросился к Николаю Алексеевичу, но в этот момент магистр поднес второй пистолет к своей груди. Прогредел выстрел. Николай Алексеевич упал. Кровавое пятно залило белую накрахмаленную сорочку.

С гибелью магистра дело, которое так старательно плели в Третьем отделении, развалилось. Ни одного из «тысячи бунтовщиков» не удалось найти, тайная типография также не обнаружена. На докладной записке по поводу скандальных событий 16 июня государь император собственной рукой написал: «Полковник Левенталь и Столяров распорядились бестолково, так как не следовало его допускать схватить оружие».

Все надежды, которые руководство Третьим отделением возлагало на новый политический процесс над «тайным мало-российским обществом», с треском провалились. Исследования книг и бумаг покойного магистра, которые теперь были на вечном хранении в канцелярии «синих тюльпанов», тоже ничего не дало.

Нет, будь жив магистр Головкин, этих вещественных доказательств с лихвой хватило бы, чтобы наложить клеймо «государственного политического преступника»: запрещенные стихи Шевченко, записки петрашевцев, книги французских социалистов. Это был бы солидный компромат, украшение задуманного дела. А теперь — кому это нужно, когда черный возок уже отвез на окраину Петербурга завернутое в мешковину тело магистра. Туда, где хоронят без отпевания бродяг и самоубийц.

Были еще, правда, надежды, что повезет со вторым злодеем. Сергей Левицкий содержался во внутренней тюрьме Третьего отделения, во дворе жандармерии. Несколько раз его вызывали на допрос к самому Дубельту. После «купания» в Мойке Сергей застудил легкие — непрерывно кашлял и сплевывал мокроту в замызганный платочек.

Леонтий Васильевич сразу же понял, что перед ним безвинный и очень напуганный человек, который случайно, по прихоти судьбы, очутился за решеткой. Никакого тайного общества малороссов нет в Петербурге, заявил подследственный Левицкий. Магистр Головкин, действительно, говорил ему о тысяче тех, которые готовы поднять оружие против правительства, но кто они такие и где их следует искать, ему неизвестно.

Левицкий письменно признал недопустимость своих действий, осудил свое знакомство с магистром Головки, а также письмо, направленное в Оренбург Тарасу Шевченко, и закончил заискивающей просьбой о помиловании. Приглашенные в Третье отделение господина Свидерский, Шпигоцкий и Белошицкий, знакомые Сергея, подтвердили «безукоризненную моральную устойчивость г-на Левицкого и его неспособность к преступным намерениям».

— Ступай, сокол, — сказал ему Дубельт на последнем допросе, когда Сергей подписал все необходимые бумаги.

Левицкий боязливо глянул на генерала:

— Куда, ваше превосходительство?

— Куда угодно, — ответил Дубельт и насмешливо прибавил. — Хоть снова башкой в Мойку. Гляди только, чтобы больше не попадался. Понял?

Слезы выступили на серых, поблекших от невзгод глазах Сергея. То ли от едкого кашля, который вдруг схватил его за горло, то ли из благодарности этому седоусому генералу, который подарил ему жизнь.

Ася Левицкая, сестра Сергея, по слухам, посвятила себя Богу. В том же году она приняла постриг в одном из женских монастырей на Киевщине.

20.

Роковой выстрел, который в ту июньскую ночь раздался в квартире магистра, отозвался на судьбах многих людей, так или иначе причастных к о «Делу Т. Г. Шевченко».

Государь император повелел покарать всех должностных лиц, виновных в ослаблении режима политического преступника Шевченко. В отставку был отправлен командир Отдельного Оренбургского корпуса генерал Обручев. Василию Лазаревскому, который вел переписку с поэтом, было отказано в назначении на более высокую должность советника Оренбургской пограничной комиссии.

Были сурово предупреждены и другие друзья Шевченко, которые переписывались с ним: Андрей Лизогуб и княжна Варвара Репнина.

Варвара Николаевна, которой шеф жандармов лично посоветовал «меньше вмешиваться в малороссийские дела», больше не написала ни одного письма Шевченко. Боялась, но не столько за себя, а чтобы не навредить ссыльному поэту.

Но тот уже свое получил сполна. В соответствии с приказом военного министра Шевченко был отправлен этапом в Новопетровское укрепление, где ему суждено было провести еще семь самых тяжелых лет солдатчины.

Часто, в минуты безысходной тоски, когда отчаяние душило до слез, он вспоминал слова магистра математики и верил, радуясь, что где-то есть та тысяча людей, которые готовы встать за все то, к чему он звал.

Головко, Головко...Нет, он не знал такого. Но как только дадут ему волю — ну доживет же он, дотянет все-таки до этого счастливого дня! — он во что бы то ни стало разыщет этого мужественного человека, этого неизвестного магистра математики, и по-казацки, от всей души расцелует его...

Тамбурмажор
Повесть в новеллах

Части речи

Кто предложил, не помню. Изгладилось, выветрилось из памяти. Да и какая разница — всем сразу пришлось по кайфу, консенсус в квартире был полнейший. Договорились собираться на кухне, в два тридцать пополудни, когда все пообедавши и еще сериалов вечерних по телику не втюхивают.

Муська рыжая отхватила себе глагол — попробуй, не дай! «Божественный глагол» — сказал поэт. Самое лучшее. Карболкин, полковник в отставке, забрал прилагательные. Числительные никто не хотел брать — обойдемся, мол, без них. Долго базар вели по существительным, желающих было много, но дали Арону Копеловичу. Чтоб не скулил, что еврейскую национальность опять гнобят. Райка выпросила местоимения. А Игорь — он тоже к нам подключился, без работы ведь, делать нечего, дома кантуется, получил наречие. Я лично, чтоб думать меньше, не напрягаться, оставил себе междометия. Но обязали писарем быть. Такое вот распределение было.

В первый день, когда сошлись на кухне, получилось так.

— Начнем! — сказала рыжая Муська. — Трепаться не дам. Дальше все по регламенту.

Долго и вдумчиво все мы, собравшиеся, молчали. Кто губами шевельнет беззвучно, кто от нервов ногой дрыгнет, кто очечки снимет, а кто, наоборот, наденет. Друг на друга глядим украдкой и глазки отводим, будто в уборной встретились за неприличным занятием.

Каждый боится муть ляпнуть и долболобом прослыть. А время идет в томлении и тишине. Слышно, даже как зеленые мухи бессовестно по кухне барражируют, выпучив свои фасеточные глазки на небывалую в нашей кухне молчанку.

Вдруг Игорь кашлянул. Все на него — ну, начинай, мол, ты же самый юный, тебе и лажануться извинительно по молодости лет. А Игорек и вправду рот раскрыл, еще разок перхнул и произнес:

— Вчера...

Точно сказал, как обусловлено было — он ведь ответственный за наречие! И от этого простого слова, не вру, легко нам и свободно стало. Оживились мы все, задышали, заерзали жопами на табуретках, заулыбались друг другу. А потому что умное слово придумал, живое как родничок — из него любая история истечь может. И записал я его в тетрадочку, слово это, с превеликим удовольствием: «Вчера».

Опять помолчали мы, но уже совсем капельку, разминаясь мыслями.

— Студент Шишечкин, — вдруг пальнул мудряга Копелович, победно оглядывая всех нас.

Мы закивали ободряюще: в точку! Два слова, но ведь существительные оба. И уже герой обозначен. Студент. И фамилия улыбочивая, нестандартная. Записал я и чувствую: завязывается история. Так, наверное, и настоящие писатели пишут: словцо к словцу цепляют и получается огромный романище.

Полковник Карболкин, убив злобную муху на щеке, поднял руку — просил слова. Дисциплинка у старика, порядок в танковых частях! Муська как председательша милостиво потрянула рыжими лохмами: давай, мол, ждем.

— Молодой, высокий, широкоплечий, — браво выпихнул из усатого рта целых три прилагательных отставной полковник. — Через запятые, не забудь — бросил он писарю, то есть мне. Глаза его светились радостно. А мы сразу мозгами завяли. Молодой — ладно. Высокий — ну, допустим. А насчет плеч — перебор, таким в армии место, на правом гвардейском фланге, нетипично для студента.

Но перечиться не стали — каждый своей частью речи располагает, как полный ее хозяин, чего мелочиться?

Муська тут же вперед двинула, выводя фразу на смысловую дорожку. Брякнула глаголом и прожгла наши сердца неожиданным словесным сюрпризом:

— Подскочил ...

Ну и выдала лахудра! Уставились мы гневными глазами сперва на нее, потом в пол — от смятения в душе. Ну что она этим «подскочилом» имела в виду? Думаем, башку себе раскалываем. Каждую ерунду на облезлых досках старательно вы-

искаваем. Где тараканчик дохлый, скрючив лапки, на спинке лежит. Где штукатурка сыпанулась. Думаем, вроде бы. А что сказать дальше, никто не знает. Творческий тупик, собой программы. Чего этому молодому, высокому, широкоплечему подскакивать?

Постойте, мыслю я, может, он баскетболист? В спартаковской красной майке, с перебинтованным коленом. Тогда и этот «подскочил» подходит. А чтобы мяч в корзину зашвырнуть! Здорово придумал я, логично: нашел этому Шишечкину достойное дело. А вот сказать не могу: междометиями что опишешь? Минута проходит, другая. Старик Копелович, еврейская голова, черепушка лысая, вдруг брякает:

— На кровати.

Получается вроде по логике, складно: подскочить на кровати можно. Записал я арончиково словцо, но с мучительным авторским сожалением. Ведь сгинул мой спартаковский баскетболист, прыгнул в уме, да так и не дотянулся до корзины. Уложил его Арончик в постель. Ну что ж, его право. Постель так постель. Может, с девкой лежит сей Шишечкин? Стал я дальше развивать мысль. Зимнюю сессию спихнул, куча времени. Чем же заниматься молодому и широкоплечему, если не сексом? Отлично, братцы!

Поставил я после *на кровати* точку и вздохнул облегченно: уф! Одолели первую фразу! Лихо закручивается, с первых слов любовь, как классики нас приучали в школьные годы: «Все смешалось в доме Облонских». Помните? Только дальше как? Почему «подскочил» на кровати студент Шишечкин? От удовольствия любви? От дикого оргазма? Но, насколько помнится из молодых незабвенных лет, мужик после этого дела в бессилии откидывается на подушки, а не подскакивает, как петух. Это отступление от реализма. Можно, правда, предположить, что подскочил он, не прерывая текущего момента, а чтобы сменить сексуальную позицию? Нет, стоп, это уже «Камасутра». А мы обусловились: без порнухи. Забрать девуку, не место ей у нашего Шишечкина. Отвлекает, сучка, от учебы. Предположим лучше, что он всю ночь зубарил, скажем, термодинамику, хвост у него, и лег на рассвете. В постели лежит,

накрывшись с головой одеялом. Рисую себе в мозгу картину и радуюсь. Придумал я здорово, но как же это выразить междометиями?

И тут меня осенило. Разразился на всю кухню звукоподражательной частью речи:

— Дзынь — дзынь — дзынь...

Повеселел народ. Понял, что увел я студента от ночного разврата, разбудил, чтобы в институт бежал. Порадовался я, что выбрал междометие. «Дзынь» — и фраза закруглилась. Надо третью начинать.

Райка, сделав очередную петлю, положила на колени сиреневое свое вязанье и произнесла нежно:

— Он...

Все верно, местоимение заменило молодого, высокого, широкоплечего студента Шишечкина двумя буквами. Научились мы владеть словом! Краткость — сестра таланта! Пошли дальше, ребята!

— ...нажал, — догадалась рыжая Муська, памятуя о звенящем до сих пор будильнике.

— ...кнопку будильника, — незамедлительно подхватил Арончик.

— ...и быстро... — уместно вставил наречие Игорь.

Тут Муська разошлась, показала всю силу глагольного слова:

— ...умылся, побрился, оделся и выскочил...

— ...на улицу, — добавил существительное Арончик. И тем благополучно закончил третью фразу.

От напряжения устали мы, решили передых сделать. Полковник Карболкин принес полбанки деревенского самограя, Райка — котлет, Игорь пару соленых огурчиков. Выпили за первую фразу, потом бахнули за вторую, за третью. Писательское дело — оно требует подзарядки. Очень нам понравился этот студент Шишечкин, которого мы произвели на свет Божий.

— Зима, мороз лютует, — вздохнула сердобольная Райка. — А мы его на улицу погнали.

И мы тяпнули еще по маленькой, за студента, чтобы согреться ему.

— Мороз не мороз, а что дома сидеть, задницу чухать? — вразумительно сказал полковник.

— Ему гранит грызть надо, — наставительно произнес Арон Копелович. — Научный, я имею в виду. Мой Левка, вы же все помните Левку, академиком мог стать, скажете нет? Так они его в аспирантуру не приняли, на стройку коммунизма прорабом отправили. А у Шишечкина с пятой графой полный ажур. В первом томе кандидатскую защитит, во втором — докторскую.

— А сколько томов будет? — уныло спросил Игорь. — Меня ж на работу взять могут.

— Томов, думаю, десяток, не меньше, — сказала Муська. — Вон как хорошо началось. А жизнь у Шишечкина большая будет и интересная, как сто сериалов.

— Если учиться не пожелает, я его в армию отправлю, — сказал полковник Карболкин. — Контрактником, в горячую точку.

— Ты отправишь! Хозяин нашелся! — вскипела Муська. — Как все решим коллегиально, так оно и будет.

— Не надо в армию, он способный, наше дело помочь ему, — чувствительно зашептала Райка. — Я его уже, знаете, люблю, Шишечкина нашего! Как одинокая на всем свете женщина, я вот решила: кофту распущу, на фигу мне она, лучше свитер свяжу. Ему. Теплый, под горло. Ты, Муська, когда глаголами своими шарахала — *умылся, мол, побрился, оделся* — а во что оделся, на улице минус восемнадцать, между прочим. Голову наотрез, что у него свитера нет. Я прислушивалась — не было свитера. Вытурили бедную Шишечку нашу на лютый мороз.

— Это Арончик зевнул. Чтобы одеть, существительные нужны, — отбивалась Муська. — Ты, подруга, пробовала одними глаголами одеться? То-то.

Копелович признал свою промашку.

— Дубленку ему дам, пожалуйста, — заторопился он. — Шарф махеровый вокруг горла, «жириновочка» с козырьком

на голове. Чем плохо? А ты все допиши, прошу, — обратился он ко мне. — Шишечкин еще из подъезда не вышел.

— Он зубы, между прочим, не почистил, — сказал Игорь, укоризненно глядя на Муську. — А идет в институт. Тоже Муся Зеликовна упустила. — Игорь слыл в квартире аккуратистом по части мелочей туалета и этикета. Это было наглядно видно по его выхоленной, как ангорская кошка, бородке.

— Я сказала «умылся», — убийственным голосом, не допуская возражений, отрезала Муська. — Значит, и зубы его туда вошли, в мытье. Ладно, кончаем базар. Строгаем четвертую фразочку. Фейхтвангер — такой писатель был, может, слышали, про безобразных герцогинь писал — в день по тридцать страниц надиктовывал. Один — и по тридцать страниц. Да еще на немецком, по-моему. А у нас, позор, целая бригада. За полтора часа три фразы!

Права Муська, ничего не скажешь. Взались — значит, вкалывать надо. Тем более — сериал мексиканский скоро, разбежимся по комнатам.

Кто же начнет? А? Повертели мы шеями и в задумчивости остановились на Игоре. Снова на нем. Опыт есть, выкатывай, мол, наречие, мужик, и пойдем по четвертой фразе.

Игорек прикрыл самодовольные глаза веками, провел ласковой ладошкой по шелковой ангорской бородке и выпустил на свет наречие, короткое и внезапное, будто банка огурцов взорвалась.

— Вдруг... — сказал он. И обвел всех победным взглядом.

Все приготовились, раскатали мозги. После такого внезапного слова что-то не совсем обычное должно случиться. Начали думать.

И в это самое время раздался звонок. Мы переглянулись, написав на своих отвлеченных от житейской суеты лицах досадливое недоумение.

— Катька это, с третьего этажа, — вздохнула Раиса, успевшая уже размотать половину кофты на нитки. — Ну надо же, именно сейчас приспичило.

— За луковицей, — насмешливо сказал Арончик. — Или алкоголь учуяла.

— Не открывать! — гаркнул полковник Карболкин. — У нас творчество.

В дверь позвонили еще раз, потом, с настойчивостью, еще и еще.

— Похоже, что милиция, — сказал Игорь. — Надо бы открыть, Муся Зеликовна. Могут пришить сопротивление властям.

— Никаких условий для творческих людей, — возмутилась от всей души Муська. — Кошмар! Что ж нам, в Переделкино бежать?

Арончик, сидевший ближе всех к входной двери, испросил глазами позволения открыть и двинулся в прихожую.

А через минуту в дверях кухни стоял, отряхивая снег с меховых отворотов дубленки, рослый плечистый парень, улыбаясь красными от морозной стужи щеками. Мы обомлели.

— Во-первых, разрешите представиться, — сказал он и стянул с головы шапку-«жириновку», — ибо вы меня не знаете и по правилам хорошего тона...

— Знаем! Знаем! — завопили мы дружно, как на стадионе, когда гол забьют, и втащили удивленного парня в кухню.

— Может ли мать не знать свое чадо? — загадочно закатила глаза бездетная по жизни Муська.

— Ты — Шишечкин, студент. Благодаря мне явился на свет, — гордо повел хилыми плечами Арон Копелович. — Они все подтвердить могут, спроси, пожалуйста.

Гость перевел глаза с Муськи на Копеловича, улыбнулся всем нам мягко и сказал:

— Простите, товарищи, тут какая-то путаница. У меня и папа, и мама... В Астрахани живут. А вас я вижу, извините, в первый раз...

— Садись, парень, садись. Потолкуем! — командовал полковник Карболкин.

Игорь тут же подставил табуретку, усадил гостя.

— Фамилия твоя Шишечкин? — продолжал допрос полковник.

— Ну, Шишечкин.

— Без всяких «ну». Я в разведуправлении танкового корпуса служил. Отвечай по форме. Понял?

— Понял.

— Ты студент?

— Как вам сказать... Вообще-то я учусь, на третьем курсе. Но подрабатываю в риэлторской конторе. Позвольте мне объяснить цель моего прихода.

— В конторах теперь сплошные мошенники. А мы тебя в аспирантуру готовили, слышишь? — заглянул к нему в глаза Арончик. — Мой Левка ввиду тяжелой пятой графы три года отработал на Севере, потом за бабками погнался. А голова была светлая, как палата мер и весов, но сильно доверчивый до людей был. И кинули его по этой причине, вот так.

— Мы на вас возлагаем такие горячие надежды, — изогнув томные брови, произнесла Раиса. — Вы уж нас не подведите, с учебой-то.

— Гранит грызть будешь, — зашептал ему на ухо Копелович, — академиком станешь. Мы тебя на Нобелевскую выведем. Вот увидишь.

— Но не раньше десятого тома, — строго оговорила Муська. — Путь в науку тернистый, Нобелевку надо заслужить.

Студент Шишечкин обвел внимательным взглядом всех нас, потом покосился на стол с опорожненной поллитровкой и размазанным на тарелках закусоном. Понимающе улыбнулся и сказал:

— Я, может быть, не во время, товарищи. У вас, вижу, какое-то торжество сегодня.

— Да, — сказала Муська с гордостью. — Празднуем день зачатия.

Шишечкин сделал вид, что улыбнулся:

— Не буду мешать, товарищи, зайду в другой раз.

И он рыпнулся, чтобы встать.

— Сидеть! — рявкнул полковник Карболкин и положил властную руку на плечо студента. — Отвечай : зачем пришел? Кто послал?

— Да я... Послушайте, я ведь и хотел с этого начать, — сказал Шишечкин и поспешно, обрадовавшись, отщелкнул зам-

ки коричневого кейса. — Риэлтор я, фирма «Альфа и омега». Слышали? Нет? Ну, неважно. У меня для вас чудесное предложение... Можно мне столикком воспользоваться? Спасибо, я тут с краешку. Вы даже не представляете, как вы сейчас обрадуетесь. Наша фирма послала меня, чтобы всех вас осчастливить. Да, да! Сейчас, мои дорогие, я все вам объясню...

Он захлебывался в словесном потоке, перебирая бумаги и выкладывая их на клеенку стола, а мы, окружив его, смотрели, скажу вам честно, только в кейс, пытаюсь увидеть там обандероленные, как в кино показывают, купюры зеленых бумажек. Тех самых, которые должны принести нам счастье. Но их там не было.

— Вот вы, Муся Зеликовна, — продолжал между тем Шишечкин, — живете в комнате 11 квадратных метров. Так?

— Ну, допустим, — сурово набычилась Муська. — Кому какое дело, сколько метров. Это моя личная жизнь. И откуда вам известно, между прочим, как меня зовут? Мы с вами на пляже рядышком лежали или на Кавказских минеральных водах нарзанные ванны принимали?

Мы грохнули: вот отмочила! Но Шишечкин не растерялся:

— А у нас на всех жильцов данные. И план всей вашей квартиры № 6 тоже имеется.

Он развернул чертежную синьку и ткнул пальцем в какой-то квадрат.

— Здесь товарищ Копелович проживает, четырнадцать с половиной метров. А эту комнату занимает полковник Карболкин... Синицына Раиса Федоровна, вот, угловая комната с окном во двор...

— Хватит, — сказал полковник. — Вы вторглись в нашу квартиру и нарушили закон о неприкосновенности жилища. Я вызываю милицию.

— Погодите, — сказала сердобольная Рая. — Мы ведь не дали ему договорить. Только у меня не окно, а маленькое окошечко, исправьте. Чуть побольше форточки. Воздух совсем не доходит.

— Ладно, ближе к делу, — оборвал ее Игорь. Он был огорчен тем, что кейс закрылся. — Покажите, любезный, где наше счастье.

— Охотно! — воскликнул Шишечкин и взял со стола лист бумаги. — Вот ваше счастье, Игорь Анатольевич. Подпишите бланк заявления и получите изолированную квартиру с балконом на проспекте имени Николая Щорса.

— Я?

— Да. Именно вы и каждый из жильцов вашей квартиры.

— Не верю! — воскликнула Райка надрывным голосом режиссера Станиславского. — И с балконом?

— Да, Раиса Федоровна, именно с балконом. Вы, например, на Каштановой, 13.

— Дорогой мой,.. Да я всю жизнь мечтала... Чтoб отдельно жить... — прослезилась Райка. — Разрешите с вас мерку снять. Я вам свитер теплый свяжу.

— Спасибо, Раиса Федоровна. Я зайду к вам завтра, возьму подписанные заявления. И тогда обмерите меня. Договорились?

Шишечкин встал, надел «жириновочку», стал прощаться с нами — каждому персонально протягивал ручку.

— А кто здесь проживать будет? — поинтересовался полковник Карболкин.

— Никто. Салон здесь будет дамского белья. У вас тут центр, первый этаж, парковка отличная, удобно. И дамскому белью, и вам. Все в выгоде. Рад, товарищи, что мы нашли с вами общий язык. До завтра! Пока!

И сквозанул этот Шишечкин так же вдруг, как появился.

А у нас тут как началось! Игорек две бутылки по ноль семь приволок из гастронома, консервов, куру загриленную. За сбывшуюся мечту пили, за каждую одинарочку с балконом и совмещенным санузлом, за салон исподнего дамского белья, за благотельную фирму «Альфа и омега» и, конечно, за нашего дорогого Шишечкина, которого мы породили, отдав ему самое лучшее, что было во всех нас. Арончик — мудрую еврейскую голову. Полковник Карболкин — армейскую выдержку и дисциплину. Муська — языкатость свою и способ-

ность выкручиваться из ситуаций. От Игоря, аккуратиста нашего, перешла к Шишечкину, как мы это видели, забота о своем внешнем облике, умение обходительно вести деловую беседу. Раиса передала Шишечке свою нежность (не считая обещанного вязаного свитера из теплой овечьей шерсти).

Когда все восхищенные слова были торжественно озвучены, а питья, само собой, уже не оставалось, разобрали мы заявочные бланки, стали вертеть их во все стороны в своих непослушных, как у пьяного человека, руках. И отметили с большим удовлетворением, что все графы каллиграфически заполнены, а нам только паспортные данные осталось проставить и подписью собственноручно скрепить. Молодчага Шишечкин! Деловой мужик! Мы старательно слили из трех литровых бутылок остатки, каждому нацедились на посошок и отметили доброту сердца нашего новоявленного коллективно-сыночка, позаботившегося о своих как бы настоящих родителях.

— Каштановая улица в зелени утопает, я знаю, там у меня подруга живет, — с мечтой в глазах сказала Райка. — Буду на балконе вязать, на свежем воздухе.

— На Щорса «семерка» ходит или шестнадцатый? — спросил Игорек, но ему никто не ответил, каждый занимался своим новым местожительством.

Арон Копелович и Муська оказались соседями — обоим выделялись квартиры на бульваре Мичурина, только в разных домах.

— Ура! — воскликнула Муська. — Каждый день друг к другу — чай гонять. Правда, Арончик?

— И не только чай, — загадочно произнес Копелович, блеснув лысиной.

— В гетте будете жить, по благу, — буркнул совсем без антисемитского душка Карболкин. — А мне с Третьей Песчаной как до вас добираться? Автобусом два часа, не меньше.

— А вы «газелью», — сказал Игорь, — маршруткой в смысле.

— Кувыркаться они любят, «газели» эти. Я в танке под огнем шел — ни один мускул не дрогнул. А «газелей» этих, чест-

но скажу, остерегаюсь — ну их. Из-за ваших чаев Богу душу отдашь.

Полковник встал и прошелся по кухне возмущенным строевым шагом. Вдруг челюсть у него отвисла, глаза ошарашенно выкатились. В чем дело, думаем. А Карболкин громовым голосом:

— А кто скажет мне, господа хорошие, что с творчеством нашим теперь будет? А?

Мы обомлели.

— Конец, значит, хенде хох? — презрительно сощурил глаза, добивал нас полковник.

— А ведь десять томов задумали... — произнесла Муська. — Теперь что же — псу под хвост?

— Какого черта его сюда принесло? — сказал Копелович.

— Кого? — спросил Игорь, хоть всем было ясно, что речь шла о Шишечкине.

— Неприятный тип, барыга, — сказал Арончик. — Мы его в институт, а он к нам, бабки заколачивать.

— Поссорить нас пришел, — сказала Муська. — Мерзавец.

— Нос у него какой-то длинноватый — раздумчиво произнес полковник Карболкин. — Пусть наши евреи не обижаются, но... Довериться ему нельзя. Неискренний, лживый, скользкий какой-то. Хоть мы его сами и сотворили, но... Уж я людей насквозь вижу. Вы как хотите, но я лично...

И при этих словах полковник разорвал свое заявление и бросил клочки на стол.

— Вы знаете, — сказал Арон Копелович, — я тоже потерял к нему всякий человеческий и писательский интерес. Проще дыга, мошенник. Какой он, извините, нобелевский лауреат! Присоединяюсь к вам, товарищ полковник. Как еврей и гражданин.

Через минуту груды бумажных обрывков лежала на мокрой клеенке.

— Зачем же я кофту распустила? — сказала в тишине Райка.

— Завтра заявится, — сказал Игорь. — И что мы ему скажем? А?

И тут еврейская лысая голова, наш Арончик, сказал мне:
— Вырви страничку. Даю существительные. Студентка Вероника Ершова...

— ...молодая, красивая, стройная... — не промедлил ответственный за прилагательные полковник Карболкин.

И мы понеслись, наверстая упущенное время. До мексиканского сериала оставалось еще сорок пять минут.

То холодный, то горячий...

Вся квартира помогала Муське. Делали все от сердца, старались, как для самих себя. Позабыли обиды, которые, может, имели место в непростой коммунальной жизни, затерли в памяти споры-раздоры. Короче говоря, сплотились в кучу, как когда-то советовала любимая партия.

Игорь заделал трещину у двери и закрыл ее политической картой мира. Райка повесила на окна цветастые занавески — убогое муськино жилье сразу же заиграло, запело солнечными брызгами. Полковник Карболкин притащил бамбуковую этажерку с затрепанными детективными книжонками. Правда, Арон Копелович тут же забраковал их как низкопробное чтиво, и дело чуть не закончилось дракой. В конце концов из детективов оставили только Агату Кристи, а рядом с ней заняли место сочинения Хемингуэя, три тома малой советской энциклопедии и 64-й том Льва Толстого. Чтобы гость почувствовал, что Муся Зеликовна серьезный и эрудированный человек.

Ванной занималась Наташа, сестра Игорьька, приехавшая недавно из удаленного от цивилизации рабочего поселка. Отдраила ржавчину с эмали, почистила кафель на стенах. А вот душ, хоть убейся, по-прежнему не работал. То кипяток струей пустит, то вообще фырчит и ни капли. Кошмар полный! Сделали заявку в ЖЭК, пришел сантехник Сережа. Да вместо дела начал Наташке шуры-муры глазами строить. Открутил что-то, закрутил, а потом сказал:

— Смеситель накрылся, девушка.

— Так замените его, — в простоте души сказала Наташа.

— А вы купите, попробуйте, — засмеялся Сережа издевательским смехом. — Их в «тысячах мелочей» уже полтора года напоказ нету.

— А что же делать? — чуть ли не плача спросила Наташка, — нам позарез нужно понимаете, искупать важного человека, который приехать должен.

— Ваш человек мне по барабану, — сказал Серега и ухмыльнулся. — Купайте его хоть в медном тазике для варенья.

А вот для вас, цветочек душистых прерий... — Он многозначительно поглядел на Наташку, — разобьюсь и найду. Польский, сантехника высший класс.

Муська с тяжелым вздохом согласилась, отстегнула бабки.

— Мы тоже скинемся, — сказал Арончик. — Хотя такие, как твой племяш, наверное, в джакузях моются.

И положил мятый червонец. Спорить никто не стал, дали кто сколько мог. Муська просила Серегу не тянуть кота за хвост, сделать как можно скорей.

— А когда этот чмур приедет? — спросил Серега, сунув деньги в боковой

карман.

— Летит ласточка, — сказала Муська. — Все зависит от «Аэрофлота».

Беда состояла в том, что никто, даже она сама, ничего не знали, когда ждать этого Павлика, о скором прибытии которого извещала загадочная телеграмма, все еще лежавшая на столе. «ДОРОГАЯ ТЕТЯ МУСЯ ЗПТ Я К ТЕБЕ НА КРЫЛЬЯХ МЧУСЯ ТЧК ЧМОКИ ЧМОКИ ТВОЙ ПЛЕМЯШ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ГАРМАШ».

Муська ни разу не видела этого Павлика. Не делала с ним эти чмоки-чмоки. Но знала, что где-то в отдаленных северных просторах, где обитают, по слухам, не то ханты, не то манси, а может, еще дальше, есть у нее родная кровиночка, сынок ее непутовой сестрички Фенечки, недавно скончавшейся от злокачественной раковой болезни. Знала, когда еще обменивались с сестричкой редкими письмами, что сынок ее Павлик оказался на редкость смышленным, окончил институт с красным дипломом и, как только перевернулась власть, не растерялся и затеял собственное дело.

— Не иначе как олигарх, — в задумчивости произнес полковник Карболкин. — Готовь, Муська, оркестр и красную дорожку.

С этих шуточных слов и начался в Муськиной комнате аврал с нервотрепкой.

— Еще телохранителя с собой прихватит, где ты их двоих положишь? — забеспокоилась Райка. — В крайнем случае,

подруга, рассчитывай на меня. Диванчик у меня раскладной за ширмой стоит.

— Какой он, к черту, олигарх, если будет в нашей хибаре жить, — сказал мудрец и прозорливец Арончик. — Ему подай номер люкс из пяти комнат и минибаром.

— А если он с тетей хочет повидаться? На фиг ему этот минибар, — сказал полковник.

Муська согласилась с полковником:

— Это точно. Мы же с ним никогда не виделись, есть о чем потолковать. Вывернем последние подштанники, а кремлевский прием устроим.

«Подштанники» эти вовсе не были метафорическим выражением в муськином поэтическом духе. Именно в грязном белье, среди старых лифчиков и штопанных чулок, куда без противогаза, как полагала она, ни один вор не сунется, хранились муськины тайные сбережения. Предназначены они были для неминуемого и достойного ухода из этой человеческой жизни.

Из этих «похоронных» денег Муська взяла почти одну третью часть, утешив себя, что еще молоды ее года и Господь продлит ее жизнеспособное время, чтобы она успела доложить в свои «подштанники» сколько нужно на гробик и даже на маленький оркестрик с печальной музыкой от самого двора до центрального городского кладбища.

Принять гостя по высшему разряду был ее долг. Конечно, не для племянша Павлика, которого никогда в глаза не видела, а ради памяти несчастной сестрички Фенечки, которую преступная связь с уголовником занесла к чертям на куличики, где живут только эти самые ханты и манси.

Поскольку в телеграмме не указывалась ни дата, ни номер рейса, Павлика ждали каждый день. И с минуты на минуту. Холодильники соседей были уже набиты сплошным блатным дефицитом, который Муська и Раечка натаскали из близрасположенных гастрономов. И твердокопченая колбаска была, и тамбовский окорок, и корейка, и балычок. Каждый предмет изобилия был перевязан суровой ниткой, чтобы никому не было повадно продегустировать его самостоятельно и досрочно.

Наташа достала через редакцию, где она временно работала, две бутылки армянского коньяка. Полковник Карболкин настоял на клюковке самогон. В общем, было все для того, чтоб могли позавидовать даже вожди Кремля.

— Пойдите, пойдите! — вдруг осенило мудрую голову Арончика Копеловича. — А рыба фиш?

Действительно, о фаршированной рыбе никто не подумал.

— На кой черт ему этот фиш, — как всегда резко рубанул полковник Карболкин. — Мы же православного человека встречаем. И самих нас в процентном отношении больше...

— Но Павлик приезжает ко мне, а я еврейка в третьем колене, — сказала вдруг Муська настоятельно и твердо. — Арончик прав, нечего стыдиться своей законной графы, которая досталась нам от наших родителей после исхода из Египта. Сейчас другое время, не «дело врачей», можем жить открыто и не ховать свои национальные блюда. Тем более Фенечка, царствие ей небесное, тоже была чистокровной и обожала рыбу-фиш.

— А сожитель ее? — не сдавался полковник. — Не Абрам же он, а самый распоследний русский алкаш Колька Свист. А этот Павлик его сынок.

— Наполовину он Свист, а вторая половина муськина, — влезла в спор Райка, оторвавшись от своего вязания. — Нехай этот Павлик знает, что приехал не в цыганский табор, а к своей еврейской тете и поест у нее рыбу фиш. И мы тоже попробуем.

Спор грозил перерасти в религиозную междоусобицу. Как всегда, выход нашел тот же Арончик, который и замутил всю эту кашу с рыбой фиш.

— Фаршируйте, а выставлять или нет, посмотрим по обстановке. У меня в холодильнике еще найдется местечко. И все будет в полном порядке.

— Если ты половину не схаваеть, — буркнул полковник Карболкин.

И вот в субботу в нашей изнуренной от ожидания квартире появился, наконец, долгожданный племяш. Лучезарно радостный, светлоглазый, в кожаном плащике с погончиками,

с ребячьей открытой для всех улыбкой. Сбросив мигом сумку, он кинулся обниматься с Раечкой, которая стояла ближе к нему и которую он ошибочно принял за дорогую тетю Мусю.

Впрочем, в скорости разобрались, ху из ху. И приступили. Сдвинули в кухне столы и за этой неровной плоскостью, накрытой китайской скатертью с лотосами и кружевами, начался праздничный кремлевский пир.

Племяш, правда, вначале хотел искупаться, все же с дороги, но по причине неготовности сантехники его быстро удалось отговорить. Тем более, как сказал он, еще вчера вечером, перед самым вылетом, он хорошенько пропарился в русской баньке, «аж сердце зашло».

Вначале все мы были заняты дружным чревоугодием, в кухне стояла непривычная зловещая тишина. Глаза Павлика и наши собственные были беззастенчиво опущены на блюдечки и тарелочки с кружочками сухой колбаски и ломтиками корейки. За дамами ухаживать было некогда, каждый занимался исключительно собой. Так как всего было с избытком, рыбу фиш решили оставить на проводы. И только когда стали собирать грязную посуду перед сладким, народ наш, успокоившись и обтирая губы, принялся обстоятельно беседовать с новоприбывшим.

После коньячка и балычка племяш Павлик показался нам еще более обаятельным и симпатичным. Лицо бесхитростное, живое, всех запомнил по имени отчеству, на любой вопросик готов ответик. Не таясь рассказал нам, как сколотил небольшой капиталец, а ведь начал с того, что разносил на себе щиты с рекламой пиццы. «Я ее с тех пор в рот не беру», — сказал он и подцепил с тарелки пару последних кусочков окорока.

Потом, говорит, купил на пару с приятелем то ли трубу, то ли вышку и начал качать. Бобло появилось — по-вашему, значит, денежки. Только живи и радуйся. А приятель дело забросил, заметил с девками, закладывать стал без меры и разбился на своей «Тойоте» в блин.

— Хотел было его долю продать, а потом передумал, буду, думаю, димкино дело продолжать, — говорил племяш. — А две трубы — и заботы двойные.хлопоты, суета в суете, личной жизни нет — сплошной геморрой. А чего сюда приехал? Не скрою. У вас тут завод уникальный, агрегаты специальные делает для этих труб. Чтoб они в два раза быстрее качали. Вот и приехал о поставках договориться. И тетю мою дорогую по-видать и чмоки-чмоки с ней сделать.

Рыжая Муська вся зарделась от этого напоминния, с игривостью подставила щечку племяшу, и чмокались они с ним много-много раз, пока Раечка, которой грустно стало, не поставила на стол торт «наполеон», испеченный собственными руками. А в это время как раз вернулась с работы Наташка — она подрабатывала вечерним корректором в редакции газеты «Время Новостей». И села с нами за стол.

— Где же твой смеситель? — шепнула ей Муська, грозно сдвинув брови. — До сих пор племяш некупанный. Кошмар!

— Сережа мне звонил в редакцию, Муся Зеликовна. Купил смеситель, все в порядке, завтра придет ставить.

После «наполеона» наступила полная расслабуха. Расходиться по своим комнатам было как-то неприлично, вроде как собрались, чтобы только нажраться. Полковник Карболкин, задремывая, затяжно зевал, прикрывая беззубый рот ладонью. Арончик затынул было «Розпрягайте, хлопцы коней...», но его никто не поддержал. Племяш Павлик, возле которого неотступно сидела Муська, лениво листал газету. Это был завтрашний номер «Времени Новостей», которую Наташа принесла из типографии. Никому ничего не хотелось, народ пребывал в блаженном послеобеденном состоянии.

И вдруг Павлик вскрикнул. Вскочил, будто подброшенный пружиной. Мы все мигом очнулись, не можем понять, что с ним произошло. Бегаёт по кухне с газетой в руке, глаза сверкают. Может, думаем,кто-нибудь из вождей досрочно помер?

— Павлик! Павлик!

Молчит. Лупанул пару рюмах с клюковкой и выскочил из квартиры.

Мы застыли в бессловесном шоке. Никто ничего не мог уразуметь.. Смотрим друг на друга как рыбы из аквариума. Бессмысленно и тупо.

Первой очнулась Муська, подбежала к окну. За ней полковник Карболкин и Раечка. Остальным уже было не протиснуться.

Племяш стоял возле мусорных контейнеров, окруженный дворовой ребятней..

— Толкует им что-то, — сообщил полковник.

— Может, он припадочный, — предположил Арончик, так и не пробившийся к окну.

— Сам ты припадочный, — рявкнула Муська. — Нажрался, напился, а теперь гостя моего дорого обзываешь.

— Смотрите, смотрите! — заверещала Раечка. — Он им денежки дает.

— Башка поехала от твоего «наполеона» — предположил полковник.

— Дурак вы, товарищ полковник, — отгрызнулась Раечка. — Все свежайшее!

— Тихо! Идет назад! — закричала Муська..

Все наблюдатели вмиг отлетели от окна. Смотрим на двери, ждем Павлика.

Появился он, надо сказать, с видом победившего полководца древности Юлия Цезаря. С гордо поднятой головой. Только без лаврового венка на ней. Обвел всех нас ясными пронзительными глазами и сказал:

— Товарищи граждане! Нальем боевые сто грамм! За успех нашего дела! Сейчас все расскажу.

Он потряс газетой, раскрыл ее на последней странице и показал всем. Мы сначала ничего не поняли. Большущий, на целый разворот, кроссворд. Клеточки, вопросики. А причем тут мы?

— Это, друзья мои, наш золотой шанс, — сказал племяш, снисходительно улыбаясь ввиду нашей непонятливости. — Суперкроссворд по случаю дня вашего города. — Проводит шведская турфирма. С офигенными призами: круиз на двоих

по Скандинавии, машина «Вольво»... И трехкомнатная квартира в высотке на набережной. Ну как, орлы?

— Афера! — коротко сказал полковник Карболкин.

— Тут тысяча вопросов, — добавил Игорек. — Слабо нам.

— Что, заржавели мозги? — захохотал племяш. — А дивиденды хочется заработать?

— Я бы в Африку поехал, дикарей посмотреть, носорогов. А на кой черт мне эта Скандинавия? — сказал полковник. — Чего я там не видел? Камни одни.

— Минуточку! — сказал племяш. — Тут примечание есть. Можно взять и бабками. Вам что, полковник, не нужны деньги?

— Еще как, — сказал Карболкин. — Мост нужно сделать, чтобы мясо жевать и с дамой говорить. — И он открыл свой беззубый рот.

— Я бы мебель поменяла, — задумчиво произнесла Раечка. — Гедеровский гарнитур бы купила.

Муська помолчала, но мысленно представила себе, как отложит в «подштанники» и на лакированный гроб, и на мраморную плиту, чтоб вечная память о ней долго держалась на земле.

— Не дрефьте, ребята, — сказал племяш. — Я и в рулетку, и у одноруких бандитов выигрывал. Не все же время трубами заниматься.

— В принципе, если все гуртом, то можно, — раздумчиво произнес Арончик Копелович. — Но сколько этих газет напечатали, представляете?

— Тридцать пять тысяч тираж, — сказала Наташа.

— Ничего себе! Сколько конкурентов! Тридцать пять тысяч!

— Ни одного! — сказал племяш. — Наливайте. Этот экземпляр самый первый и единственный.

— Как так? — спросила Раечка. — А остальные? Завтра утром их в каждом киоске навалом будет.

— А вот и нет, — хитро сказал Павлик. — Мы их купим.

— Как купим? Все, что ли?

— До единой газетки. Моя молодая гвардия уже готова к бою.

Он показал на окно и обвел всех нас долгим гипнотическим взглядом.

— Ну что, друзья, с Богом. Приказываю. Работа авральная, никто не спит. Объявляется всеобщая романтическая ночь. Завтра утром предьявим редакции. Самые первые и единственные.

— Какой ты у меня головастенький, племяшек мой, — воскликнула Муська, обнимая Павлика. — Чмоки-чмоки, моя радость, кровиночка дорогая.

Дело было организовано четко, по-штабному. Племяш сделал в ближайшем КБ ксерокопии и раздал всем, чтобы каждый отвечал за свое направление. Полковник Карболкин стал ответственным за военную технику и машиностроение. Раечка взяла на себя реки, озера, вулканы и вообще всю географию. Когда-то она преподавала ее в начальных классах. Наташке досталось сельское хозяйство и химия (ничего себе раздельчик!). Игорьку, любителю истории, поручили все от Древнего Рима до полета Гагарина. Мне выделили спорт со всеми олимпиадами и чемпионами. На Муську возложены были кулинария плюс звезды кино и шоу-бизнеса. Арончик Копелович, учитывая его изворотливый еврейский ум, получил философию, астрономию и хитроумные выражения, на которые, бывает, не то что ответить трудно, а и сам вопрос иной раз не поймешь. Окончательное решение принимал племяш, он же и вписывал ответ в клеточки кроссворда.

Работа понеслась, сказал бы Гоголь, как птица-тройка. Мы и не подозревали, что такие умные. Это было пиршество интеллектуализма. Щелкали все эти вопросы буквально на ходу. Томы энциклопедии летали от одного к другому. К справочным материалам прибавился еще «Словарь иностранных слов», которым, как вспомнила Раечка, она подпирала диван, заменяя тем самым сломанную ножку. Работали дружно, советовались, никто не отгораживался от других. Общий труд, как и говорили классики марксизма, объединял людей в едином трудовом порыве.

Шло время, приближалось утро. Павлику все реже приходилось братья за ручку. Во-первых подустали, не буду скрывать. Во-вторых, остались только каверзные вопросы. Скребешь мозги, напрягаешься. Ругаешь последними словами этих идиотов, придумавших кроссворд. Ну можно ли догадаться, скажите, что «Гора муз» — это Геликон. Мы-то думали, что это духовой инструмент. Или вопросик: «Берег» у Пушкина? Поди догадайся, что это «Лукоморье». Не буду скрывать, приходилось среди ночи звонить то одному, то другому городскому интеллектуалу и выслушивать вместе с ответом их проклятия.

Остался в конце концов один вопрос. Ломаем свои головы, бьемся в бессилии, а допереть не можем. Не вопрос, а загадка. Да еще какая, ужас:

«То холодный, то горячий, то лежащий, то стоячий».

И три клеточки оставлено, для трех букв. Поняли? Три буквы и посередине «У». Что же это выходит, люди добрые! Матерное ругательство, самое что ни на есть похабное, помещено в кроссворде? Придумали эти чертовы шведы, мало им под Полтавой дали. Развращать наших дети и юношей хотят! Да еще в праздничном номере! С ума посходили там или ошибка вышла? Поубивать бы этих составителей, лишивших людей и сна и покоя.

Ходим по кухне, понуриив голову, злые, сонные. Натыкаемся друг на друга, мычим это слово из трех букв, которое и холодное, и горячее, и лежачее, и стоячее. И ничего в мозги не приходит.

А тут уже действительно ночь истекла, трамваи зазвенели, утро началось. Звякнул и дверной звоночек — пацаны принесли первые кипы газеты. Павлик глаза отводит, хмурый такой, молчит, думу думает. Муська в свою комнату ушла, закрылась — стыдно за племяша стало. А тут еще звонок — снова газеты принесли. И еще, и еще, весь коридор уже завалили, стали эти кипы в кухню носить. Что дальше делать?

— Не открывать! — распорядился Павлик, когда в очередной раз забренькал наш дверной звоночек.

Мы притихли.

— В бизнесе всякое бывает, ребята, — тихо сказал Павлик. Или ты или тебя. Миллионеры из окон кидаются, читали?

— Хорошо, что мы не миллионеры, — глубокомысленно произнес Арон Копелович.

А полковник Карболкин открыл перед исцарапанным кухонным зеркалом свой безнадежно пустой рот, сказал «а-а-а» и пошел в свою комнату.

Между тем звонок еще несколько раз брякнул, а потом настойчивый посетитель стал колотить в двери руками и ногами.

— Эй, люди! — закричал кто-то знакомым голосом. — Открывайте, какого хрена!.. А то дверь выбью!

— Это же Серега, сантехник! — спохватилась Наташка. И побежала открывать дверь.

И точно. С обшарпанным старым чемоданчиком, распрстраня вокруг себя легкий запах дешеревого вина, появился с веселой усмешечкой сантехник Сережа.

Муська и полковник вышли из своих комнат, натужено заулыбались ему. Серега деловито достал ключи, прокладки и нечто завернутое в промасленную упаковочную бумагу.

— Вот он, красавчик, — сказал он, развернув пакет перед Наташкой. — Для тебя, цветок душистых прерий. Из самого города Кракова. Сейчас поставим его на боевое дежурство. Снимайте, штаны, граждане, будем по очереди мыться-подмываться.

Через полчаса он вышел из туалета и, подойдя к столу, налил себе полстакана карболкинського самогона.

— Полный порядок, прошу проверить. Душик работает как часы. В любом режиме: и холодный, и горячий, и лежачий, и стоячий!

— Душ! Это душ! — закричал Арончик.

— Вот оно, проклятое, из трех букв! — гаркнул полковник. — Зашифровали, собаки.

И мы все начали целовать и обнимать друг друга. Прыгали, как дети.

— Да вы купайтесь, что вы как психи дергаетесь, — сказал Серега, ничего не понимая. — Как ты тут живешь с ними, цве-

ток душистых прерий? Айда ко мне. У меня насчет сантехники все круто, полный ажур.

Так закончилась эта история. Первый приз — круиз на двоих по Скандинавии мы получили. Остальные призы отменили — не было других отгадчиков. Думали — брать деньги или не брать. И решили дружно, всей квартирой с примкнувшим к нам Павликом. Взяли круиз. Для Сереги и Наташки, как наш свадебный подарок. Пусть медовый месяц запомнится им на всю оставшуюся жизнь.

Тамбурмажор

С тамбурмажором великой французской армии Антуаном Леруа мы познакомились совершенно случайно. Благодаря нелепейшему и совершенно дикому случаю, который произошел в нашей квартире.

16 сентября 2005 года где-то около двух часов ночи Муся Зеликовна зашла по большой надобности в наш коммунальный санузел. Надо сказать, что еще с утра ее мучило, подташнивало и что-то как бы ворочалось в животе. Муся Зеликовна грешила на вчерашние котлеты из несвежего, купленного на прошлой неделе фарша. И хотя срок годности, указанный на целлофановом пакете, еще не закончился, фарш ей сразу же не понравился — мясо было не розовым, а с зеленушными вкраплениями и пахло кислой капустой. Но не выбрасывать же так, за здорово живешь, 800 граммов ценного и калорийного продукта! Муся Зеликовна решила не привередничать — купила все-таки не на рынке, где могут запросто ошельмовать, а в гастрономе, сама лично вынув этот пакет из холодильного прилавка и нажарила целую сковородку котлет.

И вот к ночи одна из них выпустила все-таки свой коварный яд. Муся Зеликовна сделала несколько попыток освободиться от пакости, но безуспешно. Наконец, около двух часов ночи, как уже было сказано, делая последнюю попытку перед звонком в скорую помощь, Муся Зеликовна вновь зашла в заветное местечко. И, водрузив свое пышное тело на старинный купеческий унитаз, который мы за причудливую роспись на пузатых боках называли «супницей», сделала глубокий вдох и продолжительный выдох. И вот здесь случилось то, о чем я ни разу в своей жизни не слышал. Унитаз под вздохом Муси Зеликовны качнулся, дал крен и рухнул вниз. А она, бедная, провалилась в бездну вместе с ним, в темный подвальный этаж нашего дома. То ли древняя супница отслужила свой век, то ли Муся Зеликовна так напряглась, но катастрофа произошла.

Весь ужас был в том, что никто из нас не услышал ни страшного грохота, ни пронзительного вопля летящего в пропасть тела. Мы продолжали беспечно спать, не шевельнувшись, не открыв даже глаз, будто ничего в мире не произошло. И вдруг — это было уже на рассвете — истошно, по военному, завывла сирена, и в квартиру ворвались пожарные ребята в касках.

— Кто барабанил? — кричат. — Где пострадавшая?

Мы в полнейшем недоумении, никак врубиться не можем: какая пострадавшая, какой, к черту, барабан. Пионеры мы, что ли? Делать больше нечего, как барабанить по ночам! И только когда пожарные выбили двери туалета, увидели мы за их спинами, что вместо пола и унитаза зияет пролом, а вокруг торчком остатки плит и перекрытий.

Примчалась скорая — тоже, как оказалось, барабаном их вызвали. А мы как бараны-бекаем, мекаем — откуда этот барабан, понять не можем Тем временем четверо в касках на широких брезентовых поясах подняли бережно, как рояль Steinway, нашу бедную Мусю Зеликовну.

Мы к ней: «Муся!.. Мусенька!..» А она дышит, но глаз не открывает, значит, находится без сознания. Санитары нас отогнали и через минуту ее увезли. Уехали и пожарные, оставив нам на память серьезную сургучную печать на дверях туалета. Тем самым нам угрожающе предписывалось забыть об удобствах цивилизации и перестроить свой быт по образцу пещерного века. Причем немедленно, ибо, как только навесили печать, всем сразу захотелось... Каждый стал выпутываться, как мог, чтобы спастись. Раечка помчалась срочно навестить свою любимую тетю Клаву, которую не видела уже почти полгода. Арончик Копелович проделал все свои надобности в НИИ агрохимии, где когда-то служил экспедитором. Полковник Карболкин вспомнил о дощатом туалете в парке имени Горького и провел там с десятков минут рядом с матерящимися мужиками. Больше всех повезло Игорю — он неделю как устроился в конторе с кафельным туалетом. Как знал, что у нас случится.

Освободившись кое-как от своих неотложных дел, мы помчались в семнадцатую горбольницу провести Мусю Зеликовну. Ее уже перевели из реанимации в обычную палату. Она лежала под капельницей, выпростав из-под одеяла руку со впившейся в нее иглой.

Глаза Муси смотрели на нас строго и недоброжелательно.

— Муся, Мусенька, ну как ты, дорогая? — бросились мы к ней.

— А вам какой интерес ко мне? — резко сказала она, сразу же погасив наши улыбки. — Зачем пришли, кто такие?

— Нравятся мне эти хохмочки! — пожал плечами Арончик. — Ты что, с крыши съехала, соседей не узнаешь?

— Соседи? Чьи это вы соседи? — удивленно спросила она.

— Твои. Может, паспорт предъявить? — спросил Арончик Копелович.

— Удивил! Сейчас и звезду героя купить можно, не то, что паспорт. А вот эту бабку я точно где-то видела.

— Я Раечка, — обрадовалась Раечка. — Вот тебе тюльпаны. Ты же их всегда любила. — Яблок мы еще накупили, — сказал Карболкин. — И бутылку кефира.

— А ты кто такой? — исподлобья глянула на него Муська.

— Полковник Карболкин, — щелкнул каблуками полковник.

— Офицер, значит?

— Так точно, офицер.

— Не верю. Офицеры дамам ручку целуют.

— Он же в Советской Армии служил, — сказал Арончик. — Их там марксизму-ленинизму обучали. А я вот, Мусенька, с дорогой душой. Позвольте свободную ручку.

— Слушайте, устала я от вас. Скажу, чтоб вас больше не пускали.

Мы вышли удрученные. Той, прежней Муськи, не было. Шальная, заводила, что же с ней стало?

Дождались доктора.

— Сильный нервный шок. Плюс сотрясение мозга. Есть и еще кое-какие симптомы.

Обследуем, будем лечить. Не волнуйтесь.

Вечером мы вернулись к своим проблемам.

— На повестке дня вопрос, извините, с нашим говном, — открыл заседание полковник Карболкин. — Оно хочет идти своим ходом, а вот куда его девать?

— Ремонт могут сделать за две недели. Нужны какие-то плиты для перекрытий, а их нет, — сказал Игорек.

— Был бы туалет во дворе, — мечтательно сказала Раечка, — можно было бы перестроиться — мы люди привычные.

— Ходите в парк Горького, — сказал Карболкин. — И прогуляетесь заодно.

Арончик Копелович вскипел:

— А что если вам, полковник, вместо ваших хохм, прогуляться не в парк Горького, а к председателю городской администрации. Наденьте свой мундир с висюльками — и вперед.

— Вы же почти генерал, — ухватилась за эту мысль Раечка. — Обрисуйте им, как люди мучаются. Тем более, в скором времени мы выпишем потерпевшую калеку, инвалида труда Мусю Зеликовну.

Полковнику пришлось согласиться. Провожали его, как на войну. Отглаженный, причесанный, с начищенными до блеска орденами и медалями, он и впрямь выглядел браво и осанисто. «Считайте меня коммунистом» — были его последние слова.

«Неужели откажут?» — колотились весь день наши сердца.

Наконец, к вечеру он возвратился. Подмышкой небольшой пакет. Мы были в полном недоумении. А полковник, сияя лицом, развернул его и вынул пять детских горшочков... С мишками, попугайчиками и чебурашками.

— От городской администрации и от детского сада «Солнышко», — сказал он с гордостью. — Нам, ветеранам войны и труда. А выносить нашу в продукцию разрешили напротив, в кафе «Кристалл».

Через пару недель выписали нашу Мусю. Надо сказать, в значительно улучшенном состоянии. Но все же не та она была, что раньше. Долго и настороженно вглядывалась в каждого из нас, блуждала туда-сюда по коридору, пока, наконец,

не нашла дверь своей комнаты. Через полчаса, как мы и рассчитывали, ее потянуло... Забитая наглухо дверь с сургучом повергла ее в шок.

Раечка выдала ей ночной горшок и изложила ситуацию.

— Тебе самый лучший оставили, с крышечкой и буратиной, — сказала она.

Муся Зеликовна обвела всех нас обжигающим презрительным взглядом.

— Рабы! — сказала она. — Горшочники! Над вами издеваются, а вы терпите.

Головы им рубить нужно, властям.

— Прости, Мусенька, в каком это смысле? — спросил полковник.

— В прямом! Чик и в корзину. Мелки дайте, чем писать.

Раечка услужливо принесла ей разноцветные мелки.

И на заколоченной двери нашего туалета появились три разноцветных слова:

Liberté, Égalité, Fraternité.

— И что это, позвольте спросить, означает, — спросил полковник Карболкин.

— Узнаете. Это великие слова, — сказала Муська, глядя на нас с превосходством профессора, окруженного недоумками. — Магические. Свобода, равенство и братство... Меня один человек научил.

— Они имеют отношение к проблеме нашего туалета?

— Самое прямое.

Мы хором гаркнули эти три слова. Арончик дернул несколько раз двери, но они не открылись.

— Кроме слов, дела нужны, — сказала Муська. — Значит так. Ничего не жрать, ничего не пить, сдерживать свои выделения по мере сил.

То есть, голодовка, — сказал Игорек.

— Политическая акция. Борьба за свои человеческие права, — поправила его Муська.

— А кто узнает? Долежимся, пока вынесут вперед ногами, — мрачно сказал Арончик.

«И никто не узнает, где могилка моя...» — выпустив слезу из глаз, пропела Раечка.

И все же мы подчинились Муське. Залегли на своих кроватях, укрывшись одеялами. Сперва было тихо, а потом мы слышали, будто вдали затарахтели барабаны. Сначала частая дробь, потом все громче и громче.

— Всем лежать! — отдала второй приказ Муся Зеликовна. — *Liberté, Égalité, Fraternité!*

Сдерживая накопившиеся чувства и ругая эту чокнутую Муську, мы продолжали лежку. А чуть свет, хоть верьте, хоть не верьте, прибыло несколько грузовых машин, дюжие парни в комбинезонах стали спешно выгружать плиты, доски и прочий строительный материал. Застучали топоры, завизжали дрели, засверкали искры электросварки. В сопровождении отборного русского мата эта трудовая симфония была к вечеру закончена. Прикатил какой-то начальник или депутат, принял работу, торжественным жестом распахнул двери туалета и каждому из нас, улыбаясь до самых ушей, вручил набор продуктов питания и по два мотка туалетной бумаги. Горшочки в тот же день были возвращены детсаду «Солнышко».

Мы изводили себя вопросами: что же все-таки произошло, откуда взялись эти барабаны? Но Муська хранила тайну, переводила разговор на другие темы. Закатив по самую грудь рубаху, она охотно, уже как своим, показывала места своих увечий, оставшиеся после того страшного падения:

— Вот тут ребро треснуло, смотрите. До сих пор на полную силу дыхнуть не могу. Башку в трех местах зашивали. Нога правая была разодрана аж до кости. Чудом жить осталась. Если бы не он, не было бы с вами Муси Зеликовны.

Она улыбнулась мечтательно и нежно:

— Он меня Мусильон называет.

— Кто он? — не удержавшись, спросил Арончик.

Муська молчала.

Полковник Карболкин встал и, выпятив свою воинскую грудь, заявил:

— Вот что, Муся, нас как твоих соседей и бывших советских граждан интересует, с кем ты тайную дружбу водишь.

Что это за барабанщики? Может быть, террористы из восточного мира. Или шпионы из западного.

— Или черти потусторонние, — добавила Раечка.

— Позвольте, это моя интимная жизнь! — отбивалась Муся Зеликовна. — Вы не имеете права!

— Никакой интимной жизни в коммунальной квартире нет и быть не может, — сказал Карболкин категорическим тоном. — Извини, но наш долг требует предать твои пашни огласке.

— Ваши огласки мне до лампочки, — сказала Муська. — Мой друг всем вам бошки поотрывает. Ладно, расскажу подружески. Только никому, поняли?

Мы сдвинули на кухне столы, на них поставили все, что требуется для душевного разговора. И вот Муся Зеликовна начала рассказывать.

В ту страшную ночь, когда она провалилась в подземелье и, безжизненная, вся в липкой крови, лежала под обломками кирпичного мусора, ей послышался странный, с акцентом, тихий незнакомый голос: «Мадам... вы живы?» Она находилась в таком глубоком обморочном забытии, что не было сил ни шевельнуться, ни открыть глаза. Ни, тем более, ответить. Касаясь легкими холодными пальцами, неизвестный человек обтер тряпочкой ее лицо и руки одеколоном. Этот резкий запах помог ей очнуться. Перед ней стоял странный, одетый как старинные оловянные солдатики, человек, улыбаясь в широкие пшеничные усы. На груди его висел большой цветной барабан, солдат с силой ударил палочками по коже. — Тум-тум-тум! — раздался барабанный бой, напряженный, как сигнал об опасности. Она закрыла глаза, словно снова провалилась в черную глухую бездну, и очнулась только в больнице.

Муся Зеликовна описала этого солдата с такими подробностями, что мы поверили ей. Оказалось, что это тамбурмажор, то есть старший барабанщик великой армии Наполеона. В те годы каждый полк шел в атаку под бой барабанов. Музыканты двигались впереди, как на параде, увлекая за собой пехоту. Солдаты, подчиняясь ритму барабанов, шли мерным

шагом, не отклоняясь и не отступая, невзирая на рвущиеся вражеские снаряды и редеющие от картечи ряды.

Звали муськиного знакомого Антуан Леруа. Он был родом из Льежа. В составе великой армии участвовал в египетском походе, в австрийской компании, был дважды ранен — под Иеной и Бородино. Но самым страшным было отступление из Москвы. Обмороженные, голодные, они стучались в крестьянские избы и гибли, занесенные сугробами. Антуан попал в плен к казакам. «Эти страшные люди были с пиками и в шароварах», вспоминал он. И чтобы не возиться с пленным, продали его в богатый крестьянский двор за 55 копеек в рабство. Два года пришлось ему выгребать навоз на скотном дворе, спать, зарывшись в солому, на птичнике. Из лесу, надрываясь, он волочил тяжеленные стволы осин, распиливал их на дрова и топил печи. Хоть он и старался, но работа была ему не по силам, и хозяин решил, что он даром ест хлеб и продал его в барский дом, где Антуан занимался более приятным делом — учил французскому детей помещика. Мечтал о том, как вырваться из плена и попасть в свой родной Льеж. Но здоровье было подорвано, кровоточили ноги и мучили приступы тяжелой астмы, которые и привели его к смерти. Он жил когда-то в этом доме и остался в нем.

— Ты хочешь сказать, Мусинька, что ты в здравом уме и трезвой памяти имеешь дело с давно умершим человеком? — допросным тоном спросил полковник Карболкин.

— Да.

— И что он спас тебя и починил нам туалет?

— Да.

— И ты понимаешь, Муся, что таких людей, которые беседуют с мертвыми как вечно живыми, отвозят на лечение?

— Что я могу делать, если я вижу его как вас и беседую с ним как с вами?

— Может быть, это призрак? Или приведение?

— Возможно.

— Тогда покажи его нам.

Муся Зеликовна задумалась.

— Хорошо. Я поговорю с ним.

Прошло несколько дней и Муся Зеликовна оповестила нас, что завтра в половине двенадцатого ночи она покажет нам своего тамбурмажора.

Весь день прошел в хлопотах.

— Он как, употребляет?

— Без понятия, — сказала Муся.

— На всякий случай, французский коньячок надо выставить, — сказал Арончик. — Хотя бы за туалет отблагодарить.

— Скажи, Мусенька, икру из синеньких он любит? — спросила Раечка. — Как трудно принимать гостя, когда не знаешь его вкусов.

Полковник Карболкин достал из ящика именной пистолет, зарядил его и положил во внутренний карман пиджака.

В одиннадцатом часу все собрались на кухне.

Напряжены. Прислушиваемся. Муся Зеликовна вынула из сумочки несколько конвертов с надписанными адресами, наклеила на них марки.

— С кем это ты переписываешься? — улыбнулась Раечка. — Стоп! Да это же пустые конвертики.

— Пока пустые, — сказала Муська. — Это для Сомова, банкира, помните, который вкладчиков своих ограбил и замок в Шотландии купил. Это мэру нашему, который свою любовницу в Крушевель повез на наши денежки. Это маньяку Сергачеву, который девчущку убил и закопал в лесу.

— Так его же оправдали.

— Отмазался, сволочь. От нас с Антуаном не уйдет.

— А причем тут Антуан?

— Он приглашения на казнь развозит. На гильотину. Liberté, Égalité, Fraternité! Свобода, равенство и братство! Мой тамбурмажор еще безусым мальчишкой в музыкантской команде служил. Он был этот самый... я... я...

— Якобинец, — подсказал Игорек.

— Точно! Он во время казни в барабан бил. «Слушайте все!», команда такая была. Тогда в Париже всех олигархов под нож пускали.

— Ты что затеяла, Муська? — ужаснулась Раечка. — Головы сечь будешь?

— Да мы их только пугаем. Чтобы все ворованное отдали.

— И сколько таких вы приговорили? — спросил Арончик.

Муська вытащила из сумки несколько листов, соединенных скрепкой.

— Читай.

— «Список Квасницкой Муси Зеликовны», — прочитал слабым голосом Арончик. Двадцать три пункта...

— По материалам прессы. Я в больнице из газет все ворье выписала. Поименно.

Тамбурмажора мы так и не дождались. А к вечеру по телевидению передали, что нашего мэра грохнули у подъезда собственного дома.

— Не захотел на гильотину, — сказала Муська.

Последние слова перед тем, как ее увезли в санитарной машине.

Содержание

Пертурбация	3
Финита ля комедия.....	37
Обвиняется в убийстве.....	55
Ковыляя во мгле.....	76
Госпожа Пышечка.....	86
Слон.....	105
Дядюшка Христофор.....	111
Эх, яблочко.....	127
Предсказание. <i>Легенда</i>	136
Папоротниковые сны.....	148
Цирк Свиней.....	156
Мусорный домик на окраине Парижа.....	169
Две госпожи Квислинг. <i>Любовно-политический роман</i>	185
Смерть магистра. <i>Жандармский детектив</i>	281
Тамбурмажор. <i>Повесть в новеллах</i>	353

Зиновий САГАЛОВ

Родился в 1930 году в г.Тбилиси. Образование высшее (Харьковский госуниверситет, факультет журналистики). Работал в газетах, издательствах, на телевидении и в театре.

Член Союза писателей России (СПБ отд.), Украины и Международной федерации русских писателей. Драматург, прозаик, поэт. Автор более 20 пьес, поставленных театрами России, Украины, Германии и Израиля. Опубликовано 15 книг. Отдельные произведения печатались в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Молодежная эстрада», «Нева», «Радуга», «Север», «Невский альманах», «Порт-Фолио» и др.

С 2001 года живет в г.Аугсбурге (Германия).

Книги :

«Три жизни Айседоры Дункан», сборник пьес
«Седьмая свеча», сборник пьес
«Однажды», стихи
«Прелюдия к Нюрнбергу», документальная повесть
«Клип, или Забавы мертвецов», трагифарсы
«Сестры Джоконды», пьесы
«Дело «Джойнт», или Шуба для палача», роман
«Действующие лица», воспоминания, очерки, рассказы
«Всемирный заговор любви», комедии
«Королевство Тру-ля-ля», стихи для детей
«Город мыльных пузырей», поэма для детей
«Путешествие в страну коллекционеров», очерки
и др.

Спектакли в театрах:

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новоуральск, Владикавказ, Саранск, Архангельск, Тула, Новосибирск, Ташкент, Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Сумы, Полтава, Минск, Витебск, Augsburg, Stuttgart, Bremen, Tel - Aviv и др.

Премии и награды

«Действующие лица 2005» по итогам Всероссийского конкурса по драматургии за пьесу «Не верьте г-ну Кафке!»
«Звезда театрала» 2013 – приз зрительских симпатий за спектакль «Полеты с Ангелом. Шагал» в московском театре им. Ермоловой



Im Werden Verlag
München 2014

